

Мурлок Радже Анандо

A 64

P28020

ЖУЛИ



М



О РОМАНЕ «КУЛИ» И ЕГО АВТОРЕ

Индийский писатель Мульк Радж Ананд взял темой своего романа жизнь индийца-кули.

Кули — китайское слово. Его буквальный перевод — «горькая сила», в смысле горький, непосильный труд. С середины XIX в. это слово постепенно вошло в европейские и многие азиатские языки. В ту пору двукратно побежденный Китай был вынужден удовлетворить еще одно требование европейских и американских капиталистов, предоставив им право вывозить китайских рабочих за пределы страны. Китайские эмигранты-кули были обычно связаны кабальным контрактом о долготлетнем найме. Ими торговали как рабами, с ними обращались как со скотом. Они гибли тысячами на золотых россыпях Калифорнии, алмазных копиях Трансвааля, оловянных рудниках Британской Малайи, сахарных и каучуковых плантациях Индонезии. На их костях строились японские железные дороги в Корею и американские крепости на Гавайских островах. Чем шире и прибыльнее становилась новая работоторговля, тем быстрее термин «кули» обретал права гражданства в важнейших языках мира, не исключая индийских.

Вместе с тем своеобразный ход капиталистического развития в колониальных и полуколониальных странах повсеместно приводил к образованию весьма многочисленной прослойки «своих», местных кули. Не только в

Китае, но и в Индии, да и во многих других порабощенных странах именем кули стали все чаще называть наиболее обездоленных, забитых рабочих из коренного населения.

Кули перебивается случайным заработком, он вынужден братья за любую работу при самой ничтожной оплате. Большинство кули не имеет постоянного жилища, у них часто нет и семьи, мостовые городов нередко служат им местом ночлега. Кули — батрак и поденщик в деревне, грузчик, носильщик, рикша, чернорабочий, домашняя прислуга в городе. Сегодня кули выполняет самую тяжелую черную работу на фабрике, завтра он нанимается к помещику или кулаку на время сбора хлопка или за объедки с хозяйского стола помогает по кухне и дому. Свыше миллиона кули заняты на чайных плантациях Индии и Цейлона. Руками кули проложены 43 тыс. миль железных дорог в Индии. Кули строили кирпичные громады дворцов Нового Дели, недолговечной столицы Британской империи в Индии. Безвестные могилы индийских кули остались во Фландрии, Египте, Ираке, где кули рыли окопы, строили мосты и дороги в годы первой мировой империалистической войны.

Когда совсем нет работы, кули подбирает кал людей и животных, чтобы потом выручить у крестьянина жалкий медяк за корзину навоза. Кули просит милостыню, кули бродяжничает, кули поступает солдатом-наемником в ряды англо-индийской армии, если его физические данные, происхождение и национальность удовлетворяют требованиям вербовщика.

Всякого европейского буржуа, попавшего в первый раз на колониальный Восток, невольно поражает и необычайная дешевизна человеческого труда, и его чудовищная растрата, казалось бы, несовместимая с интересами капиталистической эксплуатации. Любой английский бюрократ средней руки в Индии имеет десятки

слуг—больше, чем иной американский миллионер. Функции прислуги строго разграничены. Один наливает «белому сахибу» (господину) только чай, другой только вино, а третий отгоняет мух. Особый слуга подает по утрам воду для бритья, чистит обувь и платье, помогает одеваться. При спортивном инвентаре хозяина состоит еще один слуга, но для подачи мячей во время игры в теннис дополнительно нанимают нескольких подростков. Кроме того, штат прислуги включает рассыльного (чапраси), повара и конюха, их помощников. Рослый индеец, превращенный в одушевленный прида-ток к теннисной ракетке или бритвенному прибору чиновника-англичанина, невольно воскрешает в памяти картины русского крепостного быта, блаженной памяти Обломова, окруженного десятком дядек, нянек и мамок.

Пресловутая «дешевизна» колониального труда ска-зывается на каждом шагу. Вот гордость Индии—оборудованные по последнему слову техники домы металлургических заводов Тата в Джемшедпуре. Но их загрузка ведется вручную. Чужеземный капитал превратил Бомбей, Калькутту и Карачи в порты мирового значения, их великолепные набережные и причалы мало чем уступают Марселю и Гамбургу. Но погрузочные работы ведутся почти без всякой механизации. Ее за-меняет тот же кули. Вместо транспортера и подъемно-го крана, живая цепь согнутых, задыхающихся грузчи-ков-кули. В качестве рикши кули нередко заменяют лошадь и автомобиль. В угольной шахте, на тяжелых подземных работах мускулы кули действуют вместо отбойного молотка и врубовой машины. В этом вынуж-денном и безнадежном соревновании человека и маши-ны, автомобиля и рикши, ручного (чарка) и парового ткацкого станка, кули и подъемного крана наглядно проявляется огромная отсталость поработенной Индии, выгодная чужеземным правителям и погому всячески

сохраняемая ими. Империализм создал в Индии такую явную и скрытую безработицу, такую «резервную армию труда», каких не знает и не может знать ни одна капиталистическая страна.

Англичане правят Индией почти полтора столетия. Они исподволь и систематически подорвали самую основу существования индийского крестьянства как класса феодального общества. Они разрушили деревенскую общину, отняли у крестьянства землю и передали ее помещику, присвоили себе леса и недра, покончили с натуральным хозяйством деревни, разорили ее ремесла и кустарные промыслы. По-старому крестьянин жить не может. А по-новому не дает жить тот же империализм. Мощь беспощадной политической власти империализма, его экономического и культурного превосходства направлены к тому, чтобы индийский крестьянин оставался покорным, темным и забитым, гнулся в три погибели перед помещиком, жрецом и английским чиновником. Чем тягостнее помещичий гнет и феодальная эксплуатация, чем большую часть урожая выкидывает крестьянин на рынок, чтобы оплатить тяжелые государственные налоги и кабальные проценты ростовщику, тем дешевле обходится индийский хлопок, пшеница и джут английскому империализму. Неудивительно, что сочетание старой феодальной и новой капиталистической эксплуатации привело индийскую деревню к невиданному разорению. Миллионы людей умирают от голода, эпидемий чумы и холеры. Очередной экономической кризис, засуха, наводнение и другие бедствия выбрасывают новые миллионы «лишних ртов» из деревни. Таков первый и основной источник дешевой колониальной рабочей силы. Второй причиной является слабое развитие национальной промышленности.

Бомбей — конкурент Манчестера, Джемшедпур — молодой, но опасный соперник Бирмингема, но, вместе с тем, Индия до сих пор остается огромным рынком

сбыта для промышленных товаров метрополии. Поэтому империализм душит развитие национальной промышленности, проводит в Индии такую таможенную, кредитную, валютную политику, которая подрезает крылья местной буржуазии и тормозит рост производительных сил страны. Неудивительно, что в Индии до сих пор девять десятых национального дохода дает сельское хозяйство, а промышленность лишь одну десятую. Неудивительно, что в стране мало фабрик и заводов, что спрос на рабочую силу ничтожен, а предложение ее огромно. Так создается баснословная, специфическая колониальная дешевизна наемного труда. И если спросить, кто же, собственно, уготовил десяткам миллионов людей в Индии, Китае, Индонезии и на Филиппинах «горький труд» и тяжелую долю кули, то нужно прямо ответить — это империализм.

Место и время действия

Из современных индийских писателей Мульк Радж Ананд один из первых смело ввел кули в литературу. Действие романа, как можно установить по ряду упомянутых в книге исторических событий, происходит в 1928—1929 гг. Глазами своего героя-кули автор стремился увидеть и оценить Индию, какой она была накануне мощного революционного подъема, потрясавшего страну в течение ряда лет, начиная с весны 1929 г. И Муну — так зовут главного героя романа — пришлось увидеть и пережить многое на своем корогком веку. Уроженец Каңгры, одного из глухих пригималайских округов провинции Пенджаб, сирота Муну уже тринадцатилетним мальчиком вынужден покинуть родную деревню, «итти в люди». Сначала он слуга, вернее, домашний раб в семье состоятельного индийца в соседнем пенджабском городке Шам-Нагаре. Затем —

рабочий на кустарной фабричке, грузчик и кули в Даулатпуре, одном из старинных феодальных городов Соединенных Провинций. Затем он рабочий-текстильщик в Бомбее, крупнейшем промышленном центре Индии. Наконец — слуга и рикша в Симле, горном курорте и летней столице правительства Индии; таков путь Муну.

Роман начинается отъездом Муну из деревни; сельская Индия очерчена лишь несколькими беглыми штрихами. Однако такое построение сюжета дает возможность развернуть широкую картину современного индийского города, вернее, индийских городов различного типа. Сопоставление Даулатпура, еще погруженного в феодальную дремоту, пролетарского Бомбея, охваченного всеобщей стачкой, и «европейски-корректной» Симлы, резиденции английского вице-короля и колониальных «полубогов», полно поучительных контрастов.

Муну — пытливый, одаренный, тонко чувствующий подросток. О подобных ему индийцах русский путешественник Салтыков писал еще сто лет тому назад, что «они более смыслены и подвижны, чем итальянцы».

С первых дней самостоятельной жизни мальчик убеждается в том, что традиционные взгляды и представления, внушенные ему воспитанием и средой, не соответствуют действительности. Этот мотив борьбы старого и нового в сознании людей проходит через всю книгу Ананда.

Старое и новое

Если в экономике страны основой феодальных пережитков является помещичье землевладение, то в быту и общественной жизни индеец столь же зловещую роль играет институт касты. Именно на примере касты лучше всего можно проследить цепкую, хотя слабею-

ную власть мертвых над живыми, традиции над разумом.

Кастовый строй восходит к седой индийской древности. Взятая сама по себе, каждая каста представляет и сейчас замкнутую наследственную группу. Членом данной касты может быть только человек, рожденный в ней. Браки между членами различных каст либо вообще запрещены, либо обставлены такими трудностями, которые обычно непреодолимы. Сложные правила регулируют общение между людьми разных каст. Лишь между некоторыми кастами допускается совместное принятие воды и пищи, пользование общей посудой. Тень человека низшей касты, хотя бы случайно упавшая на пищу, оскверняет последнюю в глазах представителя высокой касты. Вкусить такую пищу считается грехом. Для членов многих каст исключается не только общая трапеза, но даже пребывание под одной кровлей с членом низшей касты.

Каждая каста имеет свои праздники, своих богов-покровителей из бесчисленного сонма индусских богов, свои особые знаки внешнего отличия.

Кастовый строй устанавливал непреодолимый барьер между привилегированными (жречество и дворянство) и «простым народом», требуя слепого повиновения эксплуататорам со стороны трудящихся. Кастовый строй вместе с тем превращал людей одной профессии в наследственно замкнутую группу, наказывая каждому индийцу из поколения в поколение следовать занятию и образу жизни своих родителей и предков. Сила закона и авторитет религии стояли на страже перегородок касты. Жрецы объявили ее вечным божьим установлением. Государственная власть сурово карала за нарушение правил и запретов касты.

Ни в одной стране мира, кроме Индии, кастовый строй не достиг столь полного развития, охватывающего буквально все стороны человеческой жизни. И

только в Индии он вместе с тем обнаружил поистине изумительную силу консервативной устойчивости, дожив до наших дней.

Однако, даже в условиях весьма застойного индийского феодализма, кастовый строй не смог сохранить свою полную неподвижность и неизменность. В середине XVIII века, то есть накануне английского завоевания Индии, касты уже давно не соответствовали ни сословному делению индийского общества, ни его профессиональному расчленению.

Развитие капитализма и рост национального самосознания народов Индии-колонии нанес новый удар кастовому строю. В вагоне железной дороги, в давке трамвая или автобуса сами собой отпадают многие запреты касты. Влияние богатого индийца — участника акционерного общества или члена торговой палаты — определяется не его кастовой принадлежностью, а его капиталами. В политических партиях, в крестьянских организациях, в профессиональных союзах все больше стираются кастовые различия. Кастовые предрассудки сгорают в огне забастовочной борьбы, уступая место узам классовой солидарности пролетариев. Под знаменами гневных антиимпериалистических демонстраций становятся индийцы без различия пола, касты, религии. Даже в отсталой индийской деревне против помещика и сборщика налогов крестьяне разных каст также выступают совместно, хотя одни из них еще именуют себя «людьми чистой касты», а другие пока вынуждены соблюдать позорные ограничения, наложенные на париев.

Так постепенно и незаметно изменение производства и материальных условий существования подготавливает переворот в сознании людей. Без всякой предвзятости Ананд раскрывает это на примере Муну.

Муну из касты кшатриев. Бывают минуты, когда он не без гордости вспоминает о своей «голубой крови» и врожденной доблести. Родители Муну — крестьяне-

бедняки, сам он кули, и среди кули он встречает немало выходцев браманской и кшатрийской каст, таких же нищих, как он сам. Выходит, что деньги все, а каста ничто. Муну делает свой первый, пусть еще наивно выраженный, вывод:

«Я кшатрий, и я беден, и Барма, браман, тоже слуга, потому что беден. Нет, каста не играет роли.. на свете, видимо, существуют только два рода людей: богатые и бедные».

В дальнейшем Муну познает радость дружбы с товарищами по работе, в нем пробуждается чувство классовой солидарности, и его больше не удивляет равнодушие пролетарской среды к кастовым делениям. Было бы преувеличением утверждать, что индийские крестьяне и ремесленники зашли столь же далеко на пути своего духовного раскрепощения. Но весь роман правдиво показывает, как глубоко подорвана та основа, на которой зиждилась каста и весь связанный с ней комплекс идей, а именно — пассивная покорность судьбе, непотворение злу, уход от жизни.

Здесь необходимо вспомнить, что за борьбой идей стоит борьба классов. Индийская национальная буржуазия не случайно и здесь выступает сторонником половинчатых, «постепенозских» мероприятий. Так, ее пророк Ганди высказывается за сохранение касты, правда в подновленном, реформированном виде. Подлинным представителем и собирателем сил реакции, разумеется, является империализм. В его прямых интересах удерживать народы Индии во власти религиозных суеверий и кастовой раздробленности. К сожалению, Аңанду не всегда удается раскрыть эту связь между империализмом и индийскими реакционерами и мракобесами. Так, например, автор срывает покров «святости» с жрецов-браманов, показывает невежество, жадность и сластолюбие этих торговцев «загробным спасением». Но их хозяин — империализм — целиком остается за сценой.

Национальный гнет и национальное движение

Реакционная и насильственная сущность колониального режима гораздо ярче обнаруживает себя на тех страницах романа, где англичане непосредственно выступают в качестве поработителей и эксплуататоров индийского народа. И в Шам-Нагаре, и в Даулатпуре, и в Бомбее Муну видит великолепные, окруженные тенистыми садами, здания «европейского» квартала, обособленного от остального города. И подросток-кули невольно сравнивает уют и роскошь английских жилищ со смрадными лачугами и полуразвалившимися зданиями, где ютится многочисленное население так называемого «черного» или «туземного» города. Жизнь ближе сталкивает Муну с недоступными и таинственными «белыми сахибами». Пусть среди них попадаются люди, не лишенные сердца и добрых чувств, но все они одинаковы в своем отношении к индийцам как «низшей расе». Разница лишь в том, что одни грубее, а другие менее резко проявляют это. Так, Ацанд показывает, что зло не в личных качествах английских чиновников и фабрикантов, а в том режиме, который наделяет их деспотической властью над миллионами колониальных рабов. Полному бесправию индийцев, даже принадлежащих к состоятельным слоям населения, соответствует дерзкий полицейский произвол и всевластье чиновников. Бюрократ-англичанин, высаживаясь на набережной Бомбея, знаменитом «Апполо Бандер», первом куске индийской почвы, на который обычно ступает нога европейца, как бы по мановению волшебного жезла забывает о буржуазно-демократических установлениях своей родины. Жестокость, высокомерие и полная безответственность — таковы отличительные качества трех тысяч английских бюрократов, повелителей трехсот пятидесяти миллионов населения Индии. Колониальный ре-

жим не только угнетает, но и развращает индийцев, воспитывает в них раболепие и низкопоклонство.

Полный боли и гнева, Ананд как писатель, любящий свою родину, показывает Индии всю тяжесть ее унижения, всю глубину ее позора, чтобы тем сильнее пробудился патриотизм народа и его готовность бороться за свободу. И все же нарисованная Анандом картина страдает некоторой односторонностью. Он показывает национальный гнет, но оставляет в тени антиимпериалистическое движение. Он ставит к позорному столбу индийцев, пресмыкающихся перед колониальными властями, но не считает нужным противопоставить им других индийцев, патриотов и борцов за независимость страны. Правда, в последние годы суровой реакции (1928—1929), о которых повествует Ананд, наиболее ярко проявилось соглашательство Ганди и руководителей Всеиндийского национального конгресса. Поэтому и сам Конгресс, наиболее массовая и популярная антиимпериалистическая организация, потерял как раз в ту пору значительную долю своего прежнего влияния в народе. Нельзя отрицать и того, что народные массы были плохо организованы и не имели тогда революционного руководства, и их протест нередко выражался в отсталых средневековых формах. Но народ не забыл и не мог забыть ни восстания 1857 г., ни революционного подъема 1906—1908 гг., ни антиимпериалистической кампании 1919—1922 гг., в которой принимали участие миллионы людей. Тяжелые жертвы и опыт этих боев не пропали для Индии даром.

Между тем Муну удивительным образом ни разу не встречается с людьми из народа, которые прямо участвовали бы в антиимпериалистическом движении или во всяком случае были его очевидцами. Он не слышит и разговоров на эту тему. Он даже не подозревает о том, что была какая-то борьба. За два года самостоятельной жизни сам он также не столкнулся с ма-

лейшим проявлением протеста или активного недовольства на национальной почве. В тех случаях, когда классовая и антиимпериалистическая борьба тесно переплетены между собой, — например всеобщая стачка бомбейских текстильщиков, — Муну подмечает лишь одну сторону, и автор ничем не дополняет его. На страницах книги национальное движение мало чем проявляет себя в народе и выступает перед читателем как верхушечное и буржуазное.

Пролетарский Бомбей

Центральное место и в личной судьбе Муну и во всем романе, безусловно, занимает всеобщая стачка бомбейских рабочих. Автор художественного произведения, разумеется, не связан необходимостью придерживаться абсолютно точной передачи исторических фактов и событий. Так и Ананд соединил в одну две грандиозные стачки бомбейских текстильщиков 1928—1929 гг. Первая из них началась 16 апреля и продолжалась до 4 октября 1928 г. Вторая имела место в 1929 г. (с 26 апреля по 18 сентября). Трудность слияния этих двух событий в одно, при сохранении художественной правды, состояла в том, что основное действующее лицо — бомбейские текстильщики, не были в 1928 г. тем, чем они стали в 1929 г. Между началом первой и второй забастовки в рабочем движении произошел качественный перелом. В 1928 г. рабочие, как правило, оставались на почве экономических требований. В 1929 г. они выступили с развернутыми политическими требованиями. В начале 1928 г. деятельность бомбейских коммунистов главным образом ограничивалась агитацией и пропагандой, а в рабочих организациях преобладали буржуазные реформисты. В начале 1929 г. массовое рабочее движение шло под знаком

революционного марксизма, деятели левого крыла и коммунисты завоевали ведущее место в профессиональных союзах Бомбея. В 1928 г. влияние пролетариата на общий ход антиимпериалистической борьбы еще не проявляло себя открытым и явным образом. А в 1929 г. даже империалисты были вынуждены признать, что пролетариат является застрельщиком общего революционного подъема, что именно пролетариат и в первую очередь его старая гвардия—бомбейские текстильщики—раскачали всю страну, показали Индии, «как это делается».

Эту параллель между 1928 и 1929 г. можно продолжить дальше, но и сказанного достаточно. Если Ананд счел возможным перенести в 1929 г. отдельные события и факты, имевшие место во время забастовки 1928 г., то, во всяком случае, было бы нарушением исторической перспективы снижать достигнутый в 1929 г. уровень сознательности и дисциплинированности рабочего движения Бомбея до уровня 1928 г. Между тем, автор «Кули» не избежал этой ошибки. Более того, он не уловил некоторых особенностей, которые всегда выделяли пролетарский Бомбей среди других промышленных центров Индии. Бомбейские текстильщики и до событий 1928—1929 гг. являлись передовым отрядом индийского пролетариата. Еще в 1908 г. они провели свою первую всеобщую политическую забастовку. Ленин отметил ее международное значение в своей знаменитой статье «Горючий материал в мировой политике». «Пролетариат и в Индии дорос уже до сознательной политической массовой борьбы, — писал Владимир Ильич 5 августа 1908 г., — а раз это стало так, песенка английско-русских порядков в Индии спета!»¹

Бомбейские рабочие имеют за своими плечами славные традиции десятилетий революционной борьбы. За годы 1908—1928 они четыре раза объявляли всеобщую

¹ Ленин. Соч., т. XII, стр. 306. Здесь «русских» в смысле самодержавно-кнутабойных порядков.

забастовку, они в 1921 г. ознаменовали прибытие английского наследника престола постройкой баррикад и трехдневными уличными боями. Их многотысячные дисциплинированные демонстрации, под черными флагами национального траура и красными флагами революции, встретили в 1927 г. семь избранников английского парламента, семь деспотов, назначенных решать судьбы конституции для трехсот пятидесяти миллионов индийцев, гневными криками: «Долой комиссию Саймона», «Долой саймоновскую семерку», «Да здравствует независимость Индии», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Правдиво рисуя чудовищный режим эксплуатации на английских и индийских фабриках Бомбея, автор «Кули» невольно преувеличил стихийность рабочего движения Бомбея в ущерб его сознательности. Текстильщики проявляют себя как совершенно неорганизованная, недисциплинированная масса, крайне неустойчивая, легко поддающаяся первому импульсу и совершенно лишенная выдержки. Данную Анандом характеристику, и то с известной поправкой, можно было принять лишь в отношении наиболее отсталых элементов рабочего движения. Однако Ананд не показывает нам наряду с отсталыми рабочими — передовых рабочих, тех, кто входили в фабрично-заводские и стачечные комитеты, составляли ядро отрядов рабочей самообороны, вели героическую борьбу с штрейкбрехерами во главе рабочих пикетов и в своих кружках изучали, пусть по складам, «Коммунистический манифест», работы Ленина и Сталина и, зажав дыхание, внимали докладам о стране, где нет эксплуатации, о стране, где победил социализм. Без показа рабочего актива и опоры в массовом рабочем движении не могла получиться правильная картина отношений между коммунистами и рабочим классом. «Что мы можем сделать, господин, — говорит один из текстильщиков коммунисту Сауди. — Вы умный человек и похожи на сахиба. Поэтому вы можете бороться с

другими сахибами, а кто мы, чтобы протестовать». Так, по Ананду, типичный средний бомбейский рабочий, участник забастовок 1928—1929 гг. Думается, что автор, пусть невольно, перенес в Бомбей обстановку сравнительно отсталого рабочего движения Северной Индии, более знакомой Ананду на основе его личных наблюдений. Вместе с тем автор показывает, что Индия не одиока в своей борьбе, и противопоставляет английским чиновникам и фабрикантам англичанина-коммуниста, солдата непобедимой армии международного рабочего движения.

Религиозная вражда

Среди методов борьбы империализма против героического пролетариата Бомбея Ананд выдвигает на первое место разжигание розни между рабочими-индусами и рабочими-мусульманами, провокацию резни на религиозной почве. Муну становится очевидцем жестоких столкновений между индусами и мусульманами Бомбея, и этим событием несколько неожиданно обрывается его пребывание в городе. Читатель не узнает больше ничего о дальнейшем ходе забастовки, и у него может возникнуть неправильное представление, что провокация колониальных властей увенчалась полным успехом, повела к срыву всеобщей забастовки. Но это еще полбеды. Беда же заключается в том преувеличенном значении, которое невольно приобретает религиозный момент в рабочем движении.

Совершенно прав Ананд, когда он обнажает позорную роль империализма как провокатора индо-мусульманских погромов. Не случайно вооруженная внутренняя охрана на фабриках в Бомбее вербуются из мусульман различных патанских племен. Большинство же рабочих — индусы по религии. Недовольство рабочих бесчеловечным обращением, вымогательством и побоями патанской стражи английские власти и фабриканты стремятся пе-

ревести в русло индо-мусульманской вражды. С этой же целью не раз делались попытки противопоставить штрейкбрехеров-мусульман забастовщикам-индусам и наоборот, в зависимости от обстановки. Аианд также показывает гнусную роль некоторых из продавшихся империализму мусульманских буржуазных лидеров, также разжигающих пламя религиозного фанатизма между индусами и мусульманами. Таков выведенный в книге Шаукат Али, в прошлом видный участник национального движения. Шаукат Али историческая, а не вымышленная личность. О его последующей деятельности достаточно сказать, что по его инициативе многие мусульманские политические организации стали украшать трибуны своих съездов английским «Юнион Джек» вместо национального флага Индии. В Лондоне Шаукат Али однажды заявил, что больше верит обещаниям английского короля, чем Всеиндийского национального конгресса. Повторяем: Аианд, в общем, верно показал те рычаги и средства, которыми прямо и косвенно пользовались империалисты, чтобы вызвать индо-мусульманские столкновения в Бомбее. Но он переоценил успехи этой провокационной политики и недооценил силу отпора, которую она встретила у рабочих Бомбея во время забастовок 1928—1929 гг. Тогда из индусов и мусульман были созданы отряды рабочей самообороны, сделавшие в десять раз больше для ликвидации индо-мусульманских столкновений, чем переговоры Национального конгресса с мусульманскими буржуазными лидерами. Именно тогда наглядно обнаружилось, что испытанная империалистическая политика «разделяй и властвуй» не может прорвать фронта классовой солидарности бомбейских рабочих — индусов и мусульман. Колониальным властям пришлось «перестраиваться на ходу», и они поспешили обрушить на рабочее движение ряд репрессий, начиная с расстрелов пролетарских демонстраций и ареста всех виднейших руководителей за-

бастовки по обвинению их в дутом «коммунистическом заговоре» (апрель 1929 г.), кончая принятием целой серии законов, направленных против политических и экономических организаций рабочего класса. Все это административное творчество английских чиновников получило в Индии меткое название «антирабочего законодательства». Однако империалистический террор и «антирабочее законодательство» также не сломили бомбейских текстильщиков, как раньше оказалась бессильной империалистическая провокация. Неожиданно сбывая, и притом на самом интересном месте, героическую эпопею бомбейской забастовки, Ананд невольно обошел эту, на наш взгляд, наиболее важную сторону событий. Мы меньше всего собираемся упрекать автора в отсутствии хроникальной точности в передаче фактов и деталей. Но жаль, что, как художник, он не уловил всего драматизма рожденья в Индии той могучей силы, которая умеет давать отпор империализму. Пусть до конечной победы еще остается долгий и трудный путь. Но нет никаких сомнений, что людей, которые так боролись, нельзя долго удержать в позорном рабстве, ибо внутренно они уже свободны. Бомбейские текстильщики, 4½ месяца боровшиеся против соединенных сил империализма и фабрикантов-индийцев, дали своей родине такой пример героизма, перед которым бледнеет прославленная доблесть «ворчунов» Наполеона, кричавших при Ватерло врагу: «Старая гвардия умирает, но не сдается».

Финал романа

Конец романа, по замыслу автора, очевидно, должен был строиться на контрасте между адом пролетарских кварталов Бомбея, скотскими условиями существования их обитателей и сытой, роскошной жизнью английских чиновников и офицеров в Симле. Но этот контраст по-

лучился скорее внешним, не связанным с внутренним развитием сюжета. Действие ненужно осложняется любовными похождениями новой хозяйки Муну — англичанки. Превращенный своей хозяйкой в рикшу, сломленный всем, что он перенес и выстрадал, у подножья снеговых Гималаев, среди душистых сосен и альпийских лугов Симлы угасает Муну. Сама медленность этого угасания и красота природы, окружающей Муну, должны увеличить трагизм его кончины. Но Ананд не нашел достойного финала своему роману. Пусть люди, раздавленные несчастьем, а к числу их принадлежит Муну, внушают нам жалость и сочувствие, вызывают отвращение к виновникам их гибели, к той страшной системе, которая покупает миллионами трупов колониальные сверхприбыли господ империалистов. Образом цветка, раздавленного ногой, по существу завершается роман Ананда. Но этот образ, конечно, не может, как говорится, «мобилизовать читателя», ибо только борьба, готовность биться до последнего дыхания, ненависть, столь же сильная, как и породивший ее гнет, возвращает жертвам империализма их человеческое достоинство, превращает их из бессловесного объекта унижений и эксплуатации в настоящих людей, внушает внутреннюю уверенность, что они победят.

Писатель-реалист

Появление романа Ананда свидетельствует о силе новых веяний в индийской литературе, связанных с выходом пролетариата на широкую арену политической борьбы. Это новое течение не только стремится отобразить жизнь трудящихся — кули, рабочих, крестьян, ремесленников, — внести социальную тематику в литературу, оно выделяется прежде всего своим реализмом, силой и выразительностью своего художественного письма.

Нельзя сказать, что Ананд выступает в «Кули» как писатель, полностью выработавший свой стиль. Наряду с преобладающей реалистической струей в этом произведении отмечаются значительные влияния современной буржуазной европейской литературы. В поисках надуманных психологических усложнений, в попытках расчленения и дробления переживаний человека на мельчайшие их составные элементы, в преувеличенном значении, которое придается обычным физиологическим отправлениям нашего организма, нетрудно уловить влияние буржуазного модернизма. Вместе с тем богатая образность и красочность языка, изобилие и пышность метафор неразрывно связывают Ананда с традициями индийской литературы. Многие из образов Ананда навеяны великими произведениями индийского народного эпоса — Махабхаратой и Рамаяной. В этом отношении наиболее характерным, пожалуй, является описание бури, принесшей Бомбею урочные дожди летнего муссона. Но это придает роману индийскую специфику, в то же время чуждую какой-либо экзотики. Ананд решительно и смело порывает с мистической туманностью и явной идеализацией индийского только потому, что оно индийское, с умиленным любозаньем средневековой гнилью, столь характерных для индийских писателей-гандистов. В этом огромная заслуга Ананда. Он, во всяком случае, развеял легенду о пресловутом мистицизме Индии, о постном духе самоистязания и самоумерщвления, якобы исконно присущих индийскому народу. Дан Гопал Мукерджи, мистик и гандист, один из одаренных индийских писателей, не устает проповедывать, что народ находит радость в страданиях, что невежество и нищета Индии являются своеобразной оранжереей, где растут чистые плоды непорочности и непротivления. Ананд, в противоположность ему, показывает, что каста, суеверия, мистика являются препятствием для борьбы народов Индии

за свободу и счастье. Пусть герои Ананда еще не научились отвечать ударом на удар, — за этим дело не долго станет. Как писатель-реалист, глубоко понимающий и чувствующий жизнь, Ананд-художник во многом преодолевает известную тенденциозность и ограниченность некоторых своих политических оценок. Поэтому познавательная ценность романа Ананда для советского читателя весьма велика. После Рабиндраната Тагора это первый перевод книги современного индийского писателя, который выходит у нас. Наш читатель сумеет оценить огромную разницу между Индией Тагора и Индией Ананда. Это сравнение весьма наглядно продемонстрирует огромные изменения в социальной, политической и культурной жизни страны, что убеждает нас в торжестве дела, за которое борется Ананд.

Путь писателя

Ананд родился в 1905 г. в североиндийском городе Пешавере, крупнейшей английской крепости на границах Афганистана. Отец писателя сначала работал гравером по металлу, а затем поступил в англо-индийскую армию, где дослужился до офицерского чина. Следуя за отцом по гарнизонным стоянкам в различных городах, главным образом, Северной Индии, наблюдательный мальчик видел много народного горя. Закончив среднее образование в Индии, Ананд в двадцатилетнем возрасте поступил в английский университет. Он блестяще защитил свою диссертацию бакалавра на тему «Философия Юма».

О многосторонних дарованиях Ананда свидетельствует его увлечение изобразительным искусством: Свою первую книгу он пишет о персидской живописи. Широкую известность Ананду доставил, однако, его роман «Пария», посвященный жизни «неприкасаемых».

самой отверженной и социально приниженной прослойке его соотечественников. Уже в этом романе Ананд выступает как писатель, горячо любящий свой народ, болеющий его страданиями. Вышедший в 1936 г. роман «Кули» знаменует новый этап творчества Ананда, переход его к широкой социальной тематике, к постановке тех проблем, которые больше всего волнуют страну. Следующий роман Ананда «Два листка и почка» рисует чудовищную эксплуатацию индийских кули на английских чайных плантациях Ассама.

Но Ананд не ограничивается чисто литературной деятельностью. Совместно с передовыми писателями он основывает в 1935 г. «Всеиндийскую ассоциацию прогрессивных писателей». В своем учредительном манифесте Ассоциация провозгласила: «Священный долг всех, кто любит культуру, присоединиться к тем силам нашей родины, которые борются за политическое освобождение Индии и помогают своим творчеством и всеми своими моральными и материальными средствами делу борьбы за свободу народов Индии».

Ананд понимает тесную связь, которая существует между борьбой поработенных колониальных народов и силой мирового пролетариата. Ананд неоднократно высказывал свое восхищение СССР, оплоту мира и неприступной крепости социализма. Ананд был в Испании, где близко подружился с бойцом Интернациональной бригады, англичанином Ральфом Фоксом, писателем и коммунистом, вскоре погибшим на фронте. Ананд посвятил героическим борцам за свободу Испании и своему покойному другу несколько статей и рассказов («Союз парикмахероз», «Памяти Ральфа Фокса»).

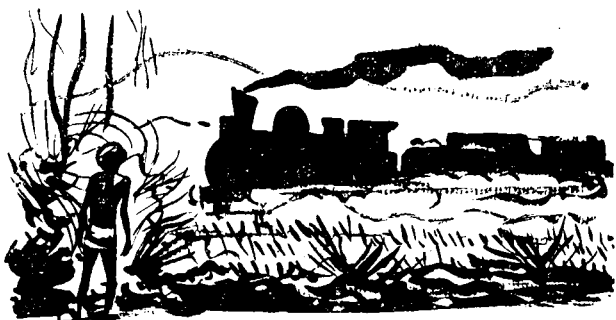
Вернувшись из Испании, Ананд закончил первую часть задуманной им трилогии — это роман «Деревня». В своем письме в редакцию журнала «Интернациональная литература» (№ 5, 1938 г.) он писал:

«В этой работе я стремлюсь показать ухудшение

жизненных условий крестьянских масс Индии с развитием капиталистических отношений в стране. Вторая часть трилогии, «Цивилизация», рассказывает о войне 1914 г., которая коснулась и Индии, поскольку она изменила лицо индийского общества. Третья часть, «Все люди равны», показывает нарастание недовольства среди крестьянских масс, которое проявляется в героических восстаниях крестьян под руководством тех, кто имел счастье слышать о Великой Октябрьской революции».

Таков жизненный и творческий путь Мульк Радж Ананда, писателя, патриота и борца, одного из передовых деятелей современной Индии.

И. М. Рейснер



Глава первая

— Муну, охе Муну, о, Мунду! — звала Гэджри с веранды. Хижина, приземистая, крытая соломой, стояла на круче холма, шагах в ста от расположенной в долине деревни. Зоркие глаза женщины всматривались в золотистую полосу пыли над тропинкой, которая вилась среди высохшего кустарника, там, за плоскими деревенскими кровлями, под беспощадными лучами мглистого солнца Кангры. Но никого не было видно.

— Муну, охе Муну, о, Мунду! Куда ты пропал! Куда тебя занесло, звезда несчастья! Иди домой! Дядя твой скоро уходит и тебе тоже пора собираться в город! — продолжала она звать сильным голосом. Ее взгляд устремился вверх манговой рощи к серебряной черте реки Биас и стал гневно обшаривать чащу папоротников, диких трав и кустов, зеленевших по берегам реки на фоне невысоких красноватых холмов.

— Муну, охе Мунду! — Теперь она вопила вне себя от раздражения. — Где ты? Куда ты

пропал, сирота проклятый! Иди домой и убирайся навсегда!

Пронзительное сопрано далеко разнеслось по долине, слова дошли до Муну со всем их зловещим смыслом.

Он слышал, но не отозвался. Он только вышел из тени дерева, под которым сидел, и увидел, как вдали красное платье исчезло за дверью хижины. Мальчик пас скотину на берегу реки Биас и только что начал играть, а буйволы и коровы вошли в болото и улеглись на неглубоком дне, пережевывая жвачку и наслаждаясь скудной свежестью воды, хоть немного смягчавшей нестерпимый зной утреннего солнца.

— Тебя твоя тетя зовет, — сказал Джей Сингх, сын местного землевладельца, чистый и опрятно одетый мальчик, и толкнул локтем голого Муну. — Разве ты не слышишь? Видно, тебя не учили вежливости, дикарь! Его тетя охрипла от крика, а он и не думает отвечать! — Джей Сингх и Муну оспаривали друг у друга главенство над Бишамом, Бишамбаром и другими деревенскими мальчиками. Джей знал, что Муну сегодня уходит в город, и хотел как можно скорее избавиться от него.

— Подожди, не уходи, — просительно сказал толстяк Бишам, — тетка просто хочет за чем-нибудь послать тебя. — Затем обернулся к Джею Сингху и вызывающе заявил: — Ты его дикарем обзываешь за то, что он не идет, когда тетка зовет его. А когда тебя мать просит не выходить из дома в полуденный зной, ты как отвечаешь ей? Ты и в школу-то не ходишь, хотя отец дает тебе каждый день две анны на карманные расходы. А мы ходим

в школу. И по праздникам скотину пасем. И чего ты тут шляешься, скажи, пожалуйста? Лодырничаете? У тебя даже храбрости не хватает наворовать плодов манго. Вот эти все собрал Муну, так дай ему хоть съесть их на прощанье.

— Я не ворую плодов манго, — заявил Джей Сингх, — а покупаю их. — И продолжал, оправдываясь: — Я ведь только сказал — пусть идет домой. Его тетка такая грубая, она и нас заругает, зачем мы не пускаем его. А ему надо уходить со своим дядей в город.

— Ты, правда, уходишь в город? — порывисто спросил маленький Бишамбар.

— Да, нынче же утром, — ответил Муну, и у него тоскливо засосало в животе.

— Но ведь тебе только четырнадцать лет! И ты еще только в пятом классе! — воскликнул Бишамбар.

— Тетя хочет, чтобы я начал зарабатывать, — сказал Муну, — и она говорит, что ей пора уже иметь собственного сына. А дядя говорит — я большой и должен сам себя кормить. Он устроил мне место в доме бабу, который служит в банке, в Шам-Нагаре.

— В Шам-Нагаре, верно, очень весело, — заметил Джей Сингх. Он уже завидовал удаче Муну, которому предстояло жить в городе, где люди отлично ели, отлично одевались и где к их услугам были отличные игрушки.

Муну только улыбнулся на его слова, но улыбка эта как бы говорила: «Не будь сегодня последний день, я бы так съездил тебя по зубам. что у тебя пропала бы охота командовать».

Несмотря на свою молодость, Муну отлично понимал, кто виновник всех его несчастий.

Разве не отец Джея Сингха, помещик, отобрал те пять акров земли, которые принадлежали его отцу, когда тот, в год скудных дождей и плохого урожая, не смог внести процентов по закладной под арендную плату? Муну знал и то, что отец его постепенно угас от горя и обиды и оставил без всяких средств жену с грудным ребенком и подростка-брата. Образ матери, размалывающей зерно между шершавыми жерновами, которые она, с помощью деревянной ручки, вертела все кругом и кругом, кругом и кругом, то правой, то левой рукой, день и ночь, навсегда запал ему в душу. И лицо ее в тот день, когда она лежала на земле, мертвая, с застывшим выражением ужаса и печали, неизгладимо врезалось ему в память — лицо, полное трагического достоинства и безропотной покорности.

— Скажи, ты сюда больше никогда не вернешься? — приставал к нему Джей Сингх.

— Нет, никогда, никогда, — ответил Муну; горькое чувство подсказало ему этот ответ, хотя он и рад был бы подразнить Джея Сингха. Правда, тетка постоянно бранила его, поминутно посылала куда-нибудь, приказывая сделать то одно, то другое, и была чаще, чем он свою скотину, но ему вовсе не хотелось уходить в город. По крайней мере теперь не хотелось.

Конечно, грезил и он обо всех чудесах, о которых так увлекательно рассказывали их односельчане, побывавшие в городе, — о важных господах, лалах, бабу и сахибах, живших по ту сторону черных вод, об их шелковых одеждах и лакомых кушаньях. Особенно же его занимали машины, о которых он читал в

хрестоматии для четвертого класса. Но он предпочел бы уйти в город тогда, когда сдаст все экзамены, чтобы потом самому научиться делать машины.

А пока хорошо было и здесь, с товарищами, мальчиками его возраста, наворовав плодов во время утренних скитаний со стадом, поедать их потом в сырой благовонной тени фиговых деревьев.

В каждое время года можно было найти какие-нибудь плоды. Весной с веток падали зрелые желтые манго, и их легко было спрятать в траве и в сене. Все лето в изобилии сыпались на землю пунцовые и бледнорозовые ямсы и продолговатые плоды шелковицы, и дети складывали их на широкие банановые листья. А зимой они воровали сахарный тростник и проносили под самым носом у мирно дремавшего сторожа, который принимал его за простые палки.

А потом играли в «можешь поймать меня только в воздухе, но не на земле и не на дереве», и то залезали на деревья, то соскакивали на землю. Муну лазил замечательно. Словно обезьяна, взбирался он по стволу, карабкался на четвереньках по толстым сучьям, раскачиваясь, закидывал тело на более тонкие ветви, как на трапецию, и отважно нырял в пустоту, чтобы опасным прыжком перебраться с одного дерева на другое.

Здесь дул прохладный ветер, изгонявший из тела усталость и смягчавший раскаленный зной, — ветер снегов, — вот он успел уже подняться и сейчас, пока Муну сидит здесь, уставившись на акации, а вокруг трещат в зарослях цикады, квакают лягушки в болотах

и трясилах, поют птицы, трепещут бабочки над полевыми цветами и жужжат пчелы, собирая медоносную пыльцу.

Сердце мальчика Муну билось в лад со всей этой щедрой природой. Хорошо, если бы желанные машины сами явились сюда к нему и он мог бы не отрываться от песчаных берегов тихой заводи, где привык играть. Но...

— Муну, охе Муну, о, Мунду, — снова донесся до него голос тетки.

В сознании мальчика пронеслось лицо тетки — тяжелая челюсть, блестящие глаза с красными уголками, острый нос, тонкие губы, все ее лицо в рамке злобно змеящихся черных волос.

Он встал.

Все мальчики, даже Джей Сингх, поднялись.

Он собрал свое стадо.

Мальчики тоже созвали своих буйволов и коров. Поджарые, костлявые, большерогие животные вылезли из воды, разбрызгивая грязь, роняя хлопья пены, и, под градом ударов и брани, которыми их осыпали на обратном пути маленькие пастухи, безмолвно и уныло поплелись домой, на этот раз — чуть быстрее, чем обычно.

Глава вторая

— Ну, шагай живей, шагай живей, сын суки, — гремел дядя Дайя Рам, рассыльный Имперского банка Индии.

На Дайя Раме был алый суконный, обшитый галуном мундир и аккуратно повязанный

тюрбан; он молодежато маршировал крупным солдатским шагом по круговой горной дороге, проложенной ангреси саркаром, и сам как бы перевоплощался в ангреси саркара, когда величаво и гневно простирал руку, приглашая своего племянника Муну поторопиться.

Мальчик только что присел после пройденных десяти миль, чтобы дать отдых сбитым и измученным босым ногам. Солнце яростно жгло, и он весь вымок от пота в тяжелой бумажной куртке дяди, которая закрывала его всего, точно плащ. Бурая пыль от лениво плетущихся повозок, стоявшая над спиралями дороги, набилась ему в ноздри. Его оливковое лицо пылало, темнокарие глаза покраснели от резкого света. Ему казалось, будто вся кровь его молодого, гибкого тела испарилась вместе с потом и все в нем высохло.

— Шагай живей, иначе я опоздаю в банк! — снова загредел Дайя Рам. Не могло, конечно, быть и речи об опоздании, так как рассыльный на этот день был отпущен, но ему хотелось поразить племянника и встречных прохожих важностью своей должности у ангреси саркара.

Слезы выступили на глазах Муну, когда он взглянул на свои стертые ноги, и его охватило чувство острой жалости к себе.

— У меня ноги болят, — всхлипнул он в ответ на окрики дяди.

— Идем, идем, — раздраженно продолжал Дайя Рам и деревянно выпрямился всем своим длинным тощим телом. — Я потом достану тебе башмаки из твоего первого жалованья, — добавил он несколько снисходительнее.

— Да не могу я итти, — сказал Муну, ус-

лышав скрип тормозов и увидев, что впереди, там, где дорога, спускаясь, делала поворот на высоте семисот футов над бурлящей Биас, остановилась повозка. — Возчик подвезет меня, если вы попросите.

— Нет, нет, он потребует денег, — сказал Дайя Рам громко, чтобы возчик услышал и предложил подвезти мальчика бесплатно. Он считал, что ему в его мундире не пристало просить этого человека об одолжении.

— Напрасно вы так задаетесь, хоть вы и чапраси! Посадите-ка лучше мальчика вот тут сзади, — решительно заявил возчик в ответ на заносчивый тон Дайя Рама, — да и вы можете сесть в повозку, верно, тоже запарились в вашем суконном мундире.

— А ты чего лаешь? Я не с тобой говорю, — огрызнулся Дайя Рам. — Поезжай, поезжай себе, а не то живо сядешь куда следует! Ты разве не видишь, что я правительственный чиновник?

— Ну да, и вам приятно, чтобы бедный мальчонка босиком бежал, мучитель! — отозвался возчик и поехал дальше.

— Вставай, ублюдок несчастный! Вставай, или я убью тебя! — и белые зубы Дайя Рама угрожающе сверкнули. — Из-за тебя приходится дерзости выслушивать!

Муну вскочил, так как знал по опыту, что угрозы дяди обычно кончались побоями. Он отер рукою слезы и, втайне бранясь, снова поплелся по раскаленным камням.

Уходя от диких пустынных гор, извилистая дорога спускалась в беспредельные пространства равнин.

Сердце Муну ныло от страха, голову ло-

мило от непривычных мыслей. Но вот он почувствовал, что ноги уже легче переносят обжигающее прикосновение земли. Он старался избегать камней, обходя их кругом, и время от времени шел на цыпочках, давая отдых ступням. Скоро, на его счастье, им пришлось идти прохладным туннелем в полмили длиной. Мальчик совсем повеселел, когда перед ним у подножья холма заперело множество больших домов с плоскими кровлями, расположенными прихотливым узором вокруг минаретов из красного камня и золотых куполов. Близкий конец путешествия заставил его забыть о трудностях пути.

Солнце, стоявшее над долиной, изливало лаву своих лучей на город, который был словно омыт серебристым блеском. Все его разнообразные детали вырисовывались ясно и отчетливо. И постепенно этот невиданный город заслонил для Муну бесконечные цепи пустынных гор. Новый мир, в который он вступал, эти храмы, дома и улицы вызывали в нем радостную возбужденность.

Широко раскрыв глаза и разинув рот, глазел он на всевозможные диковинные экипажи — двуколки, похожие на ящики, бамбуковые тележки и тонги, четырехколесные фаэтоны, ландо и громадные чернобрюхие громоздкие повозки на резиновых шинах, пронесшиеся мимо него и особенно удивительные тем, что они без лошадей катились по широкой дороге. И, о, дивное диво, — вдали появилось черное железное чудовище с двумя круглыми черными горбами, как у верблюдов пустыни, таща за собой вереницу коричневых домиков с зеркальными окнами; чудовище

мчалось вперед, извергая вонючий дым и испуская душераздирающие вопли. Вдруг оно пронзительно свистнуло, и сердце Муну замерло.

— Что это за животное? — подбежал он к дяде с вопросом, ибо спокойствие дается только знанием.

— Это паровик, по железной дороге ходит, — ответил дядя немного мягче, так как возвращался в тот мир, где он уже не мог выдавать себя за хозяина, каким держался в горах, а должен был снова стать рабом чиновников из Имперского банка.

Мальчик пристально смотрел на черное чудовище, которое в последний раз хрипло заревело и, пыхтя, остановилось у платформы, прилегавшей к большой, внушительного вида хижине. Из хвоста чудовища выскочило множество женщин, одетых в легкий муслин, белоснежные ткани и шелка таких разнообразных оттенков, каких Муну, живя среди холмов Кангры, и не видывал. «Удивительная штука, — подумал он про себя, — удивительная!»

— Дядя, а где же скот этих людей и где поля, которые они пахут?

— Здесь нет ни стад, ни пашен, — сказал чапраси, снова деревянно выпрямляясь. — Только в деревне пасут скот и пахут землю!

— А как же они добывают себе пищу?

— У них есть деньги, — важно ответил Дайя Рам. — Они держат в моем банке кроны и рупии. А деньги они зарабатывают так: покупают пшеницу у крестьян и продают ангези саркару или скупают хлопок, выделывают из него ткани и тоже продают с прибылью. Некоторые из них бабу, они работают

конторах, как тот бабу, у которого ты будешь слугой.

— Вот странно! — сказал мальчик. И пошел сзади, поглощенный видом огромных мисок, выставленных в окне закусочной и издававших необыкновенно вкусные запахи. В кондитерских до потолка высились ярусами сладости, и с них так и капал сироп. Прилавки магазинов пестрели резиновыми мячиками, розовыми куколками и пушистыми зверьками вроде кроликов. Владелец ларька выкрикивал: — Мороженое, прохладительное мороженое! — Содержимое конических жестяных формочек он выкладывал в чашечки из сухих листьев и вручал сидевшим на деревянной скамье покупателям.

Муну очень хотелось попробовать этого мороженого, но он не осмелился попросить дядю купить ему порцию. Его внимание было отвлечено дребезжащим голосом, тоскливо завывавшим какую-то песню. Голос исходил из ящика, на котором кружился черный диск. Муну улыбался, слушая, как голос тянет заунывную песнь, но голос захрипел, и Муну испуганно отскочил. Он, однако, скоро успокоился и снова подошел к ящику.

— Идем, идем, а то еще потеряешься, — откуда-то издали крикнул дядя.

— Кто это поет? Как может человек залезть в такой ящик и петь оттуда? — спросил он.

Владелец ящика засмеялся и с презрением посмотрел на Муну.

— Скорее, скорее, болван! — сердился Дайя Рам. — Это граммофон. Никакого человека в ящике нет, а говорит машина.

Мальчик не решился спросить, как может машина говорить. Он с трудом оторвался от созерцания чудесного ящика.

Едва он прошел несколько шагов, как его взгляд был привлечен удивительным зрелищем: по дороге бежало несколько игрушечных собачек. Продавец что-то крутил в них, а затем ставил на землю, и они бежали, как живые.

Динь-динь-динь, — вдруг зазвонил звонок позади Муну, и не успел он опомниться, как увидел стремительно несущегося на него двухколесного стального коня.

— Осторожней, ты, щенок, — крикнул молодой человек, сидевший верхом на этом коне.

Муну едва успел отскочить, иначе он был бы сбит с ног и сброшен в канаву.

— Ублюдок несчастный! Ведь тебя убьют! Идиот! — и дядя, ринувшись обратно, излил на него целый поток ругательств.

Подбежал продавец игрушек и, отведя Муну подальше от дороги, сказал миролюбиво:

— Он, видишь ли, хотел на своем велосипеде обогнать моих собачек. Но он не предупредил меня, что бега начались. Ничего. Все в порядке. Никакой беды не случилось. А ругань — что: в одно ухо впустил, в другое выпустил.

Мальчик улыбнулся.

— Ты опять отстал, негодяй! Говорю — тебя убьют, если ты не будешь осторожен! — закричал дядя и ударил его по лицу.

Муну заплакал. Он поплелся дальше, сердитый и унылый, в его сердце кипела ненависть к дяде. Но тут он увидел, что парень

на стальном коне — виновник его наказания — чуть не задавил тележка, разгуливавшего среди мужчин и женщин, которые толпились перед фруктовыми палатками. Мальчик продолжал путь, немного утешенный, и, хотя еще не мог преодолеть вполне свою рассеянность, все же соблюдал теперь осторожность: одним глазом посматривал на дядю, шедшего впереди, другим — на ряды магазинов, а иногда и назад — не бежит ли откуда-нибудь опять стальной конь, или велосипед, как его назвал продавец игрушек.

Узкие улицы с тесными рядами лавок и ровной линией тентов над ними, которая прерывалась то неожиданной лощинкой тенистой тропы, то ярким клином солнечного света, казались ему великолепными, особенно, когда проходил мужчина в шелковой куртке и дхоти, в расшитых золотом туфлях или лениво проплывала группа женщин, на ходу покачивая локтями и развевая зеленые, розовые и пунцовые покрывала. И до того отличен был этот мир от мира, окружавшего его в родных горах, что ему чудилось, будто он идет во сне через какую-то яркую раззолоченную страну.

Но он изумился еще больше, когда, углубившись в город, стал встречать людей, очень похожих на него самого: они были бедно одеты, тащили на спине тяжести и напоминали ему жителей его деревни.

Нет, этот новый мир был ему непонятен.

Дядя, наконец, остановился, поджидая его. Муну увидел величественное мраморное здание, и сердце мальчика забилось трепетным предчувствием.

— Салям, Пир Дин, — сказал Дайя Рам, войдя в высокий, украшенный колоннами холл Имперского банка.

— Салям, салям, как вы поздно. Бабу сахиб разгневался, оттого что некому было в полдень принести ему пищу, — сказал Пир Дин, глухо кашляя и поглаживая огненную, выкрашенную хной бороду, падавшую на такой же, как и у дяди, красный, обшитый золотыми галунами мундир. Муну решил, что это, должно быть, и есть старший надзиратель, о котором не раз говорил дядя.

— Значит, бабу здесь? — спросил Дайя Рам более уверенным тоном; бабу, видимо, крайне нуждался в слуге, и, значит, место его племяннику обеспечено.

— Да, да, здесь, — буркнул Пир Дин, нетерпеливо махнув рукой. — Но пора отправлять мешки с деньгами по округам, кроме того сегодня день английской почты, и от посетителей отбоя нет. Поторопитесь.

— Да, миан сахиб, — сказал Дайя Рам, льстиво величая своего коллегу титулом, которым называют обычно только магометан-аристократов.

Затем стал торопить племянника:

— Идем, идем.

Они очутились в обширной прохладной комнате, миновали решетку, возле которой толпились люди, казалось, жадно ловившие блеск и звон серебряных рупий и шелест новеньких банкнотов, и вошли в следующую комнату. Под двумя быстро вращающимися опахалами, подвешенными на железном пруте к середине потолка, перед огромным столом сидел в необычном кресле тщедушный человек с не-

дерзким, невыразительным лицом, на котором выделялись только плоский нос, белые пятна скул и жидкие, свисающие вниз черные усы с отдельными торчащими волосками.

Войдя, Дайя Рам стряхнул пыль с ног, сложил руки и сказал: — Склоняю перед вами чело свое, бабуджи.

Бабу оторвался от лежавших перед ним бумаг, поднял голову, но промолчал.

— Скажи же: «Бабуджи, склоняю перед вами чело свое» или «Да будет жизнь богов долга», — сердито прошипел Дайя Рам на ухо Муну.

Муну пролепетал оба приветствия, смущенный этим странным миром звенящих монет, шуршащих банкнотов, медных решеток, столов, кресел, ковров и быстро вертящихся опал. Однако он не поднял головы, чтобы взглянуть на человека, которого приветствовал. Наступило неловкое молчание. Бабу, видимо, находил в этом что-то забавное, он едва уловимо улыбнулся, затем его губы скривились усмешкой презрения. Муну заметил ее и снова опустил глаза, испуганный и растерянный.

— Махараджа, — подобострастно сказал Дайя Рам сидевшему перед ним величеству, — я привел вам моего маленького племянника, он будет служить вам.

— Этот? — спросил бабу, ткнув пальцев в сторону Муну.

— Да, хузур, — услышал Муну ответ дяди и затем его приказ: — Сложи руки перед бабу, деревенщина!

Муну стоял, склонясь перед бабу в неловкой и смиренной позе, рассматривая его тор-

чащие из-под стола черные сапоги, и пытался представить себе то время, когда он сможет купить себе такие же сапоги.

— Да будет жизнь богов долга, — вдруг выпалил он, складывая руки, слишком поздно, однако, чтобы его благоговейную позу заметил его будущий хозяин; внимание бабу было привлечено рядом быстрых звонков, застрекотавших в какой-то черной коробке на правой стороне стола.

— Да, сэр, да, сэр, нас неправильно соединили, — коверкая английский язык, отвечал бабу трубке, прижав ее устье с витым шнурком в левому уху. Муну очень хотелось узнать, это ли и есть язык ангрези, которому, по словам их сельского учителя, должны научиться все, кто хочет стать бабу. Затем он решил, что, наверное, это так.

Подивившись языку будущего хозяина, он перешел к восхищению его одеждой: высоким жестким белым воротничком, гигантским тюрбаном, обернутым вокруг круглого пирамидального кула из красного бархата, расшитого золотыми нитками, курткой хаки с огромными карманами, напоминавшими кошельки для денег, широкими бумажными брюками и сапогами, сапогами, черными сапогами! «Будь у меня такие сапоги, — сказал себе Муну, — я и шел бы скорее и не сбил бы себе ноги».

— Хорошо! — услышал он голос бабу. — Отведите его в мой дом и сдайте его бибиджи.

Даяя Рам, сложив руки, подобострастно склонился перед бабу. Оторвав мальчика от созерцания сапог, он потащил его через прилежавший к Имперскому банку опрятный, чо-

порный квартал, вверх по крутой, извилистой дороге.

Они достигли кучи домов, скорее лачуг без окоп, самого разнообразного вида и размера, в беспорядке притиснутых друг к другу, но все же претендовавших на какую-то пригородную респектабельность, как ни противоречили этому наваленные повсюду груды мусора, где битые бутылки, ржавые промасленные жестянки и дырявые ведра валялись вперемежку с гниющими овощами, пожелтевшей бумагой, кучами булыжника и разбитых, замшелых кирпичей.

В самом дальнем конце этого поселка находилась резиденция бабу, одноэтажный квадратный дом с верандой и — по примеру Запада — с дверной дощечкой, где английскими буквами белым по черному восточному цивилизованному миру возвещалось славное имя хозяина: *Бабу Нату Рам, помощник счетовода, Имперский банк в Шам-Нагаре.*

Вид нескольких светлокоричневых бунгало, стоявших выше, на краю извилистой горной дороги, перенес Муну в какой-то новый загадочный мир; эти строения были ограждены зоной прохладных тенистых деревьев и аккуратных изгородей. Карликовые пальмы в зеленых кадках, ковры ровной травы и множество ярких цветов. Интересно, кто там живет...

Но скоро его взгляд был отвлечен от этих недосыгаемых высот появлением человека с широким красным лицом, казавшимся еще краснее под странным, цвета хаки, головным убором в виде корзины; на краснолицем тоже был воротничок, который охватывал его тол-

стую багровую шею, удивительная куртка, правда, немного смешная, так как она не прикрывала ни большого круглого брюха, ни грузных ляжек, бесстыдно обтянутых бриджами цвета хаки, и странные, очень странные коричневые сапоги до колен. «Верно, ангрез», — решил Муну.

— Салям, хузур, — сказал дядя, стукнув правой ногой об левую и став навытяжку.

Муну не осмелился взглянуть на ответные действия мрачного существа, но, заметив угрожающий блеск его трости, предпочел устремить свой взор вниз, туда, где под горой пестрели плоские городские кровли.

Когда человек, спускаясь с горы, отошел на достаточное расстояние, Дайя Рам, в ответ на вопросительный взгляд племянника, сказал:

— Это бара сахиб из банка, — и сделал жест, выражавший одновременно страх, покорность и благоговение, а затем торопливо подошел к дому бабу и постучал в дверь.

Они стояли некоторое время выжидая. Дайя Рам постучал снова, ударяя щеколдой о ветхую скобу, чтобы усилить звук. Прошло еще несколько минут. Дайя Рам крикнул:

— Бибиджи, откройте дверь!

Где-то сбоку брякнул крючок, и из боковой двери появилась женщина. У нее было смуглое подвижное лицо без определенных очертаний. Запоминалась только усталая улыбка тонких губ, острый нос, прищуренные карие глаза и покатый лоб в морщинах. Ее сухой плоский стан был завернут в муслиновое сари. Муну не видел, чтобы женщины в торах так носили сари, кроме матери Джей

Сингха, жены землевладельца, которая родилась в городе, ну, а она, по словам деревенских кумушек, просто кривляка.

Муну остановился в отдалении, заметив удивленный взгляд своей будущей госпожи.

От этой женщины и от всего в этом доме — от столов с полированными углами, от стульев и картин — на него веяло чем-то враждебным и чужим.

— Бибиджи, — сказал Дайя Рам, сложив руки, — я привел вам моего маленького племянника, он будет служить вам. Вот он. — Затем, сердито сверкнув глазами, сказал Муну: — Сложи руки, боров, и скажи бибиджи: «Припадаю к вашим ногам».

Муну сложил руки, но едва успел сказать: «Припадаю...», как откуда-то из внутренних покоев донесся пронзительный вопль ребенка. Бибиджи пошла к двери и крикнула жестким скрипучим голосом:

— О, дитя, ты съела мою жизнь! Ты не можешь помолчать, даже когда я говорю по делу с кем-нибудь! Чтоб ты пропала! Чтоб у тебя печень высохла! Чтоб ты истлела, звезда несчастья! Ну, что такое? Чего ты хочешь? Ты...

И она продолжала бы еще без конца, такой злой и длинный у нее был язык и такой неисчерпаемый запас дыхания, если бы Дайя Рам не спросил:

— Значит, все в порядке, бибиджи, и я могу оставить его здесь?

Муну с тревогой ждал ответа. Сердце его сжималось. Он видел только длинную шею женщины — как у курицы.

— Нет, подождите, Дайя Рам, — закричала

она, возвращаясь из комнаты, в которую выходила, чтобы завершить свои проклятия пощечиной, отчего ребенок заревел еще громче. — Вы сказали бабуджи?

— Да, бибиджи, я сначала зашел с мальчиком в банк, — пояснил Дайя Рам, — и бабуджи сказал, чтобы я отвел его сюда и сдал вам.

— Хорошо, но к ужину надо принести с базара овощей. Не будете ли вы...

Тут ребенок в задних комнатах, видимо потеряв надежду привлечь к себе внимание ревом, стал пронзительно визжать, и женщина, убегая к нему, разразилась новым потоком брани.

Муну испытывал чувство какой-то опустошенности и растерянности. Ему вспомнилась тетка: нет, от нее он не слышал такой ругани и проклятий.

И его сердце запело песнь одиночества, грустную жалобу, вопрошавшую не настойчиво, но смутным и робким ритмом о том, какова же будет его жизнь в доме этой женщины...

— Не можете ли вы сказать бабуджи, чтобы он купил овощей, когда пойдет со службы, и прислал мне с мальчиком? — вдруг услышал Муну голос своей госпожи.

До Муну не сразу дошел смысл ее слов, но затем его охватило уныние и жалость к себе. Он очень устал после долгого пути через горы. И он был голоден. Он надеялся, что ему дадут посидеть, когда он доберется до места, и что его накормят, согласно обычаю всех индусских семей, предписывающему предлагать пищу гостям и путникам, в какое

бы время дня или ночи они ни прибыли. Вместо этого, его в первую же минуту послали с поручением. «Может быть, в городе другие обычаи», — тоскливо подумал он.

— Хорошо, бибиджи, — спокойно ответил Дайя Рам. Он слишком привык к капризам своих господ, чтобы обижаться на них, подобно племяннику.

— Пойдем, охе Муну, — сказал он, вновь выходя на дорогу. — Здесь о тебе будут заботиться. И кормить будут досыта. И бабу обещал платить нам три рупии в месяц. Я покажу тебе мою комнату рядом с банком. Заходи в свободный день. И старайся изо всех сил угождать хозяевам, не забудь. Ты их слуга, а они — добрые люди.

Муну слушал дядю, и слезы выступили у него на глазах. А сквозь слезы он видел высокие скалы, громадные гранитные утесы, серые в солнечной мгле, и серебряную ленту реки Биас, с берегов которой его стадо, мыча, бросало вызов земле и небу, странствуя, странствуя в полной свободе за милями миль...

Ночью Муну лежал свернувшись в углу кухни бабу Нату Рама. Он провел эту ночь беспокойно, так как был переутомлен, а сон не скоро приходит к тем, кто измучен. Ему дали рваное коричневое одеяло, под которым он задыхался, несмотря на широкие прорехи, тянувшиеся во всю его длину и ширину. Куртка мальчика заскорузла от пота. Москиты пели над его ухом, и он почувствовал несколько укусов. Рои мух назойливо жужжали и раздражали его, то и дело садясь на лицо.

Даже под утро не удалось ему заснуть, так как в деревне он привык вставать рано.

Напрасно он томился, сон не приходил. Все же мальчик старался не открывать глаз; в новой обстановке ему было не по себе.

Он слышал доносившийся откуда-то громкий храп бабу. Из какой комнаты — он не знал: накануне, едва он успел принести с рынка овощи, как бибиджи позвала его прямо в кухню и дала засохшую оладью, а затем попросила почистить картошку и помочь ей в стряпне. Ужин был приготовлен, но кто его съел и где он был съеден, Муну не видел; сморенный усталостью, он так и заснул в этом самом углу. Единственное, что он помнил, был визгливый голос его госпожи, доносившийся до его слуха, когда он, наконец, пришел в себя, получив несколько пинков в бок: «Эй ты, дармоед! Хорош слуга, засыпает до захода солнца! На что ты нужен, если так будешь спать каждый день! Проснись! Проснись, скотина! Проснись и подавай бабуджи обед! Или съешь, по крайней мере, свой обед, если ты уж не можешь не спать, как мертвый!..»

Муну озирался в слабом утреннем свете, пытаясь рассмотреть предметы, хаотически загромождавшие кухню. Тут были тарелки из луженой меди, бронзовые кастрюли с черными днищами, алюминиевые стаканы, детские игрушки, бутылки, большие и маленькие, пузырьки от лекарств вроде тех пузырьков с сигнатурками, которые он видел в деревенской аптеке, только эти были покрыты пылью, а аптека содержалась в образцовой чистоте; мешки с мукой, объемистые деревян-

ные ящики и жестянки неизвестно с чем; на вбитых в стену крюках висели две грязные рубашки и куртка из альпага, две громадных картины в красках, полускрытые венками из засохших цветов, и большое разбитое зеркало под густым слоем сажи. В одном углу была сложена куча дров, на веревке, протянутой во всю длину кухни, висела грудой старая и новая одежда, с потолка свешивалось несколько узлов с одеялами и простынями. Немного выше, на отдельной полке, был кое-как приткнут поднос, а на нем стояла утварь из чего-то похожего на блестящий мел — маленькие круглые чашки с ручками, большой горшок с носиком в виде поросячьего рыльца и кувшин.

Муну не знал, для чего употребляется эта белая утварь. Но ее блестящая поверхность приковывала к себе его взгляд, что-то в ней смутно сулило ему более удивительные неожиданности, чем откровенное предупреждение ярко блестящей медной посуды, как бы говорившей: скоро узнаешь, как меня чистить!

Все это нагромождение вещей, несмотря на яркие краски и блеск зеркала, угнетало его.

На миг он все же задремал, погрузился в какую-то пустоту, но забыться окончательно мешали волны света, заливавшие комнату. Ему вдруг захотелось встать и посмотреть, каковы остальные комнаты.

В его глазах вспыхнуло то шаловливое любопытство, которое обычно побуждало его отправляться на охоту за птичьими яйцами, скрытыми в листве деревьев и в кустах или

между скал. Его сердце затрепетало легким сладостным трепетом, словно он шел воровать плоды из чужого сада. В нем проснулась жажда приключений.

Ловким прыжком он сразу вскочил на ноги и подкрался на цыпочках к противоположной двери. Приложив глаз к замочной скважине, он увидел крошечную комнатушку с двумя необъятными кроватями, несколькими сундуками и детской коляской. На одной кровати лежал бабу, повернув голову набок, лицом в подушку. Угловатое возвышение на другой кровати, как догадался Муну, была бибиджи, свернувшаяся клубком под простыней.

Словно один его взгляд уже мог разбудить его господ, Муну отошел и заглянул в полуоткрытую дверь справа. Посреди комнаты на чистой белой постели лежал человек почти с такой же белой кожей, как тот сахиб в шляпе корзиной, которому дядя Муну вчера так подобострастно поклонился. Обстановка этой комнаты была более занимательна, и здесь царил порядок: большой стол в одном углу, величественные кресла, напоминавшие те престолы, которые Муну видел на картинках в своих учебниках истории, фотографические карточки, большие и маленькие, календари с черными числами для будних дней и красными — для праздников и игрушки из раскрашенной глины, среди которых преобладало изображение бога Ганеша с головой слона, покровителя здравого смысла, обходительности и богатства.

Муну разглядывал комнату и изучал достижения цивилизации.

Мальчик охотно продолжал бы свои наблю-

дены, но человек, лежавший на постели, видимо младший брат бабу, так как бибиджи упоминала о каком-то Прэме, повернулся на бок и что-то забормотал во сне.

— Вай, Муну, ты уже проснулся?

Сердце Муну испуганно замерло. Неужели топот его ног, когда он побежал к двери, мог разбудить бибиджи?

— Да, бибиджи, я проснулся, — сказал он, стараясь подражать выговору жителей долин.

— Ну, что ж, принимайся за работу, — прозвучал ленивый и немногословный ответ. — Выгреби золу из печи и почишь грязную посуду, которая осталась с вечера. Ты вчера свалился как мертвый и так рано, что даже этого не сделал! Да разожги плиту. Потом поставь в кастрюле воду для чая бабуджи. Я скоро встану.

В это время кто-то всхлипнул. Видимо, проснулась младшая девочка, Ли́ла. Впрочем, она сейчас же снова задремала. Муну спрашивал себя, где же может быть старшая девочка, Шейла. Она отправилась вчера с дядей на ярмарку, и мальчик еще не видел ее.

Муну решил приняться за дело, но он не знал, с чего начать.

В деревне, проснувшись, он бежал в поле, облегался, затем мылся у колодца, возвращался домой и завтракал, перед тем как идти в школу или вести стадо на берег реки.

Тут он не знал, куда пойти за нуждой. Всюду кругом были дома, а на хребте холма строго высились бунгало. И до него доносились шаги людей, идущих по дороге.

Он решительно не представлял себе, куда ходят за нуждой горожане.

Он выбежал из кухни во двор. Возле дома нигде не было видно уборной.

Тогда его охватил ужас.

Он чувствовал, что больше не в силах удерживаться.

Подбежав к наружной стене дома, он присел.

— Где ты? Куда ты пропал, вай Мунду? — донесся до него голос его госпожи.

А вдруг она выйдет и увидит его?

— Вай, ты, пожиратель своих хозяев! Вай, ты, бесстыжее животное! Свинья! Собака!

Гроза разразилась. Не получая ответа на свой зов, его госпожа выбежала на крыльцо, увидела его и, потрясенная столь возмутительным зрелищем, оскорбленно отступила.

— Вай, ты, бесстыжий, бесстыжий, неестественный мужик! Пусть корабль твоей жизни никогда не плавает по морю бытия! Почему ты не спросил меня, куда тебе пойти? Чтоб ты высох, чтоб ты сгорел! Посмотри, что ты натворил! Разве мы знали, что нанимаем животное, дикаря! Что подумают сахибы, которые каждое утро и вечер проходят мимо нас? Бабуджи должен поддерживать свое достоинство перед сахибами! Вай! Какой ужас натворил этот мальчишка перед моею дверью!

Сначала она шипела, потом голос ее стал нарастать вместе с проклятиями и, наконец, сорвался на последней, высочайшей ноте, полной неподдельного отчаяния. Щеки Муну пылали, сознание было затоплено мраком. Ему хотелось исчезнуть с лица земли. Впервые почувствовал он стыд оттого, что его застали отправляющим нужду прямо на землю.

От криков бибиджи проснулся весь дом:

первым явился бабу Нату Рам, кривоногий, сутулый. Он сразу решил, что к нему забрались воры.

Затем уверенной поступью вышел младший бабу, красивый, стройный молодой человек с небрежными жестами. — Что такое? По какому случаю шум?

Последней прибежала Шейла, старшая дочь бабу, тоненькая золотоволосая девочка, с лицом цвета слоновой кости; ее глаза смеялись; лукаво и весело прищурившись, смотрела она на виновника нелепого происшествия.

— Мужик бесстыжий! — снова завела бибиджи со всей выразительностью, на какую была способна. — Нагадить около крыльца моей кухни! Это надо себе представить! Пожиратель своих хозяев! Чтоб ты умер! Хай! Хай! Я...

— Зачем, охе, ты, сын суки... — взвизгнул бабу Нату Рам, подняв тонкую костлявую руку, чтобы успокоить жену и одновременно угрожать Муну. — Зачем ты это сделал?

— Оттого, что не хотел наложить себе в белье, — сказал младший бабу, смеясь и желая подразнить жену брата. — Вель тогда бибиджи пришлось бы стирать его. Ну, да ведь скоро, все равно, придет метельщик.

Шейла фыркнула и повисла на дяде.

— Уходи, Шейла, тебе здесь не место, — сказал Нату Рам. — Разве он не мог пойти в уборную? Отчего ты не показала ему где? — обратился он к жене.

— Ах, ты воображаешь, я позволю ему пользоваться нашей уборной? — отозвалась бибиджи. — Этому неучу — нашей уборной! Ты хочешь совсем избаловать его? Нет у

меня другого дела, как смотреть за ним! Лучше кто-нибудь сходил бы за метельщиком, чтобы он убрал эту гадость!

— Хорошо, хорошо! — сказал спокойно младший бабу. — Не будем запугивать его, а то он еще больше напачкает. Как насчет чая? Что ты думаешь насчет чая, Шейла? Или твоя мать слишком сердита, чтобы напоить нас чаем?

— Неужели ты не можешь подождать, Прэм! — возмутилась бибиджи. — Дай мне сначала разделаться с этим дурацким мальчишкой...

— Ах, — воскликнула она опять с отвращением, вспомнив о его вине. — Мне дурно! Мне дурно! Меня сейчас вырвет!

За ее спиной раздался шорох, она оглянулась и увидела Муну в дверях кухни. Она остановила его воплем:

— Дармоед! Куда?

— Я хотел только помыть себе зад у водопровода, — ответил Муну с бесконечным простодушием.

— Пойди и сначала искупайся, без этого и приближаться не смей к моей кухне, — и она отпихнула его от себя обеими руками.

— Пошел вон отсюда! — услышал он позади себя ее крик. — Некультурный скот!

Он уже давно не мог ее слышать, а она все продолжала ворчать.

— Я-то надеялась, что вот будет слуга, и я смогу хоть немного отдохнуть. А приходится все равно работать, как невольнице! Какой толк иметь в доме неуча! Это обуза, а не помощь. Да еще такого идиота и неряху! Ах, уж эти мужики...

Тебе не следовало бы бранить крестьян, — насмешливо заметил ее деверь. — Ты ведь сама из деревни.

— О, пожалуйста, не дразни меня, — сказала бибиджи. — Мы должны поддерживать свой престиж! Нужно соблюдать приличия, а особенно когда в доме чужой человек.

— Шейла, — громко сказал Прэм Чанд, так, чтобы свояченица слышала, — помнишь стихотворение о чае, которое ты прочла на рекламе Имперской чайной компании на вокзале?

— «Горячий чай в жару отлично освежает», ты про это, дядя?

— Да, походи и продекламируй вслух биби Уттам Каур, — лукаво улыбаясь, сказал он, потягиваясь на кровати.

-- «Горячий чай в жару...», — запела было Шейла.

— Хорошо, хорошо! — визгливо крикнула бибиджи. — Не приставайте ко мне и не поминайте моего имени зря! Сейчас чай будет готов. Твой дядя, может быть, и стал сахибом, оттого что учился медицине в колледже, а ты, маленькая дрянь, где научилась держать себя как мэмсахиб?

Муну чистил золой посуду, сидя на корточках возле стока, служившего одновременно и для обмываний. Сток соединялся с канавой через осклизлое отверстие в стене, где жужжали насекомые и ползали черви. Из отверстия потянуло струей холода и вони, и этот холод, наконец, осушил обильный пот на лице мальчика. Он повернулся на пятках и сел

спиной к отверстию. Перед ним оказалась дверь, из которой несло паром. «Это, верно, и есть уборная, — решил он. — Чудно!»

— Можно мне помочь ему чистить посуду, мама? — спросила старшая девочка Шейла, вертевшаяся в кухне.

— Уйди и не мешай! — прикрикнула на нее мать. — И дай этому дармоеду заняться для разнообразия хоть каким-нибудь делом.

Девочка ушла.

Бибиджи сняла с плиты кастрюлю, где вскипела вода. Затем достала с полки поднос и заварила чай в пузатом кувшине с носиком в виде поросячьего рыльца. Она старалась держать фарфоровую посуду подальше от священных границ очага, — бибиджи была правоверной хинду и не забывала о том, что из этих чашек и блюдец пьют чай друзья ее мужа и деверя — мусульмане.

Муну, которого интересовало каждое ее движение, заметил, с какой заботливостью она старалась не осквернить своей медной посуды, случайно коснувшись ею фарфоровой. Но когда она поднесла медную кастрюлю с кипящей водой к фарфоровому чайнику и наливала в него воду, то, стремясь наполнить его доверху, она все-таки коснулась чайника краем кастрюли.

Она перехватила его взгляд и почувствовала, что он подстерег эту оплошность.

— Работай, работай, нечего глазеть на меня, когда я завариваю чай, — буркнула она.

Прежде чем покорно отвести глаза, он успел увидеть то, что она особенно хотела скрыть от него: желая одним камнем убить двух птиц, она сварила яйца в той же воде,

которая предназначалась для чая. Даже у них в горах это считалось негигиеничным.

Она смутилась. Ее лицо побагровело от гнева.

В довершение беды младшая девочка, Лила, вдруг с криком проснулась.

— О, ты, пожирательница своих родителей, Лила! Чье проклятье на тебе, что ты реवेशь весь день? Я ли не достала тебе амулет от факира! Боже! Когда мне дадут покой! Гнешь, гнешь спину с утра до вечера! Одеться, и то некогда! Ни с соседками посидеть! Ни в магазины сходить! Вчера я со стиркой да уборкой в два часа легла. А теперь... Шейла, бесчувственная, пойди, побудь с сестрой, вместо того чтобы по дому бегать и шуметь. Иди...

Прэм взял младшую на руки, ушел с обеими девочками в гостиную, где он жил, и, чтобы развлечь их, завел граммофон.

Муну, почти покончивший с посудой, услышал музыку, доносившуюся из гостиной, и под тем предлогом, что хочет обмыть посуду у колонки, вышел из кухни.

Бибиджи, забывшая за руганью о гренке, который она поджаривала, сожгла его. Пробормотав проклятие, она отрезала другой ломтик хлеба и стала поджаривать его на спиче.

В течение двух-трех минут весь дом был полон тоскливым ритмом любовной песни.

Бибиджи снова забыла о гренке. Она мысленно прикидывала, удастся ли ей выкроить часок и пойти сегодня на похороны матери бабу Бели Рама.

Муну поспешно ополоснул посуду и побе-

жал обратно в дом, но не через кухню, а через веранду, прямо в гостиную.

— Охе, ты, сын совы, — сказал Прэм, — вытер ли ты ноги перед тем как войти в комнату?

— Нет, бабуджи,—ответил Муну. Он стоял мокрыми ногами на ковре. С его локтя свешивалась корзина с посудой, оттуда капала вода.

— Но тогда, ради бога, сделай это — вытрись вон об ту циновку, — сказал Прэм и шутливо добавил. — Осмелюсь доложить — она для этого и создана.

Муну повеселел. «Все-таки молодой бабу не запретил мне входить сюда», — думал он.

Мальчику хотелось послушать музыку, потрогать удивительную поющую машину — родную сестру той, которая вчера так поразила его воображение на базаре. «Как мне все-таки везет, — продолжал он свои размышления. — В доме, куда я поступил служить, есть такая волшебная машина».

Он поспешил обратно в кухню, чтобы оставить там посуду и освободить руки. Сославшись на то, что хочет выбросить мусор и золу на дорогу, он снова вышел во двор.

К несчастью, музыка в это время смолкла.

— Эй, ты, как тебя зовут?.. Можешь выбросить золу вот на ту кучу, — крикнул ему рослый мальчик, набравший у колонки воду в медные кувшины; два меньших мальчика сидели на земле и наблюдали.

Муну выбросил золу на кучу, указанную ему мальчиком.

— Значит, ты тоже слуга? — спросил он.

— Да, я служу в доме у бабу Гопал Дас,—

сказал рослый мальчик. — Он будет поважнее твоего бабу. А хозяйева вот этих двоих служат в суде. Мы все из Хошиарпура.

— А я из-под Кангры, — и Муну тут же рассказал все, что знал о своем дяде, о том, кто у них первые люди в деревне, и о том, как однажды, когда он был еще совсем маленьким, родители взяли его с собой в Хошиарпур. За несколько минут оба подростка успели рассказать друг другу все о себе — с тем доверчивым простодушием, которое характерно для индусов северных областей.

Внезапно донесшийся из дома веселый мотив снова привлек Муну в комнаты. Он вбежал в гостиную.

— Ланы! Эй ты, мартышка! — загремел Прэм.

Муну в ответ на шутливо-грозный окрик молодого бабу упал на циновку всеми четырьмя конечностями, словно настоящая обезьяна.

Смахнув пыль с ладоней и ступней, он выбежал на середину комнаты и, продолжая дурачиться, начал исполнять фантастический танец: он подражал ученой обезьяне деревенского фигляра, представления которого на перекрестках видел, возвращаясь из школы.

— Смотри, дядя, смотри, — засмеялась Шейла, — как он пляшет!

— Шабаш! Шабаш! — воскликнул молодой бабу, входя в роль скомороха.

Маленькая Лила тоже начала отбивать такт, помахивая головой и хлопая в ладоши.

— А я буду медведь, дядя! — крикнула Шейла.

Муну все еще был вне себя, он плясал, де-

лая неуклюжие, смешные движения, строил гримасы и взвизгивал, словно настоящая обезьяна.

— Что тут за шум? Что за безобразие? Какое право он имеет находиться в гостиной? — раздался голос бибиджи, колючий и жесткий, и, словно ледяная струя, все и всех заморозил; сразу воцарилась тишина.

— Какое право имеет он смеяться вместе со своими господами?

Муну поспешил убраться в кухню. Но он не пал духом. Лицо его сияло счастьем. Выразительные движения и жесты привели его в радостное возбуждение. Дым от очага скрыл румянец его щек и блеск его глаз от бибиджи, которая, сидя на корточках на соломенной циновке, все еще поджаривала хлеб. Иначе она непременно оглушила бы его тирадой, гораздо более неприятной, чем та, которую она разразилась теперь. Это было перечисление его прав и обязанностей:

— Твое место в кухне! И не смей участвовать в играх молодого бабу и детей! Изволь быстрее справляться с работой по дому! Нечего зря терять время! Бабуджи надо в десять часов уходить на службу! Шейле надо идти в школу! Мы наняли тебя не затем, чтобы работа стояла, а чтобы кончать дела скорее! Если тебе платят хорошее жалованье, — а таких денег ты за всю свою жизнь в деревне не видел, таких денег, наверно, ни отец твой, ни мать сроду не видели, — так уж можно было бы, кажется, хоть немного потрудиться! И, предупреждаю тебя, никогда больше не смей ходить за нуждой около моего дома! Когда придет метельщик, попроси его

показать тебе уборную для слуг, вон там, у подножья холма, и не смей никогда прикасаться к моей посуде, не вымыв рук. У тебя тело грязное, и ты трогаешь его. И платье у тебя тоже нечистое! Я видела, как ты вытирал руки об рубашку. И, о ужас! Ты, наверно, после купанья вытерся своей курткой! Бог мой! Отчего ты не попросил у меня полотенце? Животное! Как тебе не стыдно? Шейла, Шейла, пойдн, дитя мое, достань из комода полотенце и дай этому дикарю! Ни к одной вещи в этом доме ты не должен прикасаться, не вымыв рук, слышишь? Теперь скажи, ты трогал что-нибудь грязное после того как искупался?

— Нет, бибиджи, — сказал Муну, которому казалось, что он все еще танцует. Только немногие из слов бибиджи доходили до его сознания.

— Хорошо, но ведь ты чистил посуду? — сказала она.

— Я потом вымыл руки, бибиджи.

— И больше ты ничего не трогал?

— Нет.

— Нет? Не трогал? А мусор?

— Я вымыл руки у колонки, когда выбросил мусор.

— А еще ты ни к чему не прикасался?

— Нет, — соврал Муну, стараясь как-нибудь прекратить этот допрос, хотя отлично помнил, что терся ладонями о цыновку, когда танцевал обезьяний танец, и что цыновка, предназначенная для вытирания ног, едва ли могла быть чистой.

— Ну, так отнеси бабуджи его чай.

Муну не знал, как взяться за дело, нести

ли сразу весь поднос с посудой или одну вещь за другой. Дома он ничего этого не видел. И он решил сначала выяснить.

— Как же мне нести ее? — спросил он, указывая на чайную посуду.

— Как нести! — негодуяще передразнила она. — Как тебе ее нести! Долго мне еще объяснять тебе каждый пустяк? Хай! Ну, не думали мы, что Дайя Рам приведет нам такого дурака. Мы...

Но Муну уже загляделся на белую посуду и, не дав бибиджи окончить, с любопытством перебил ее:

— А из чего она, эта посуда, бибиджи?

— Какая дерзость! Какая наглость! Прерывать меня, когда я говорю! Делай свое дело! Чай стынет!.. Фарфоровая, конечно!.. Из чего же она может быть сделана, по-твоему? Глядите, глядите все, он никогда в жизни не видел фарфоровой посуды! Да не грохни поднос и не побей мне чашки, не то я тебя самого изобью!

Получив ответ, Муну бережно поднял поднос и вышел, балансируя с удивительной ловкостью, а она продолжала изливать свою брань, предостережения и угрозы — неудержимый поток злой и однообразной трескотни.

— Ну вот, дети! — сказал Прэм, хлопнув в ладоши. — Вот и чай! Поздновато, да ничего!

— Чай! Чай! — воскликнула Шейла.

— Я тоже хочу чаю! — всхлипнула Лила, сидевшая на столе, по-детски живая головой в такт музыке.

— Поставь сюда, эй ты, черномазый, — с напускным величием сказал Прэм, коверкая

своей родной индустани, что он иногда делал, особенно перед такими сугубо европейскими предметами, как чайный поднос, или когда бывал одет в английский костюм и хотел подражать тону англичан, разговаривающих со своими туземными слугами. — Поставь на стол, черномазый, о ты, кто облегчается прямо на землю.

— Бабуджи, иди чай пить! — позвала Шейла отца, который лежал в постели, стараясь урвать еще минутку сна среди гама и шума, наполняющих все три комнаты его квартиры.

— Зачем ему вставать? — явила бибиджи. — Ну, зачем ему вставать? ведь он целый день камни ворочает у себя в банке!

Бабу Нату Рам, наконец, принудил себя подняться. Бледный, изможденный, сутулый, боязливо улыбаясь, вошел он в гостиную. Он принадлежал к породе мужей, которых вечно грызут жены, и старался как можно дольше оттянуть утреннюю встречу с супругой.

Мушу благополучно водрузил поднос на маленький столик и отступил к двери. Оттуда он наблюдал за ритуалом, который торжественно совершал молодой бабу: сначала он налил в стоящие перед ним чашки молоко из длинного кувшина, затем чай из пузатого горшка с носиком в виде пороссячьего рыльца, потом положил сахар.

Странно, подумал он про себя. Зачем, казалось бы, наливать молоко из одного кувшина, а чай из другого? Дома его тетка кипятила молоко, чайные листья, сахар и воду, все вместе, в большой кастрюле и разливала по медным кружкам в готовом для питья виде.

И потом — для чего жарить этот смешной масляный хлеб?

Он никогда не видел поджаренного хлеба.

— А где сливки? где сливки? — набросился на него Прэм с шутливым гневом. — Пойди к бибиджи, и пусть она даст тебе масла или сливок.

Это нарушило размышления Муну.

— Вот и сливки и масло, — крикнула бибиджи. — Отнеси им, пусть жрут и жиреют, а я буду работать на них, как невольница...

Муну мгновенно доставил сливки в гостиную. Затем снова встал в раздумьи на пороге, словно его неудержимо притягивало тепло, излучаемое Прэмом. Бара бабу не спускал с него глаз: зевая и потягиваясь, он опустил свой унылый остов на кресло в виде лотоса и стал похож на изнуренного факира.

Младший бабу, казалось, делал все с полной непринужденностью: откусывал хлеб, намазанный маслом, запивал его одним или двумя глотками чаю из чашки, которую держал в правой руке. Бара бабу эти же действия, видимо, давались с трудом, он ерзал на стуле, сорил крошками хлеба себе на колени и на пол, пил с блюдца, шумно дуя на горячий чай, и, время от времени, громко обсасывал усы, облизывая их нечистым желтым языком.

— Поди сюда, вай, ты, пропащий! Где ты там застрял? — закричала бибиджи, вероятно, услышав, что Шейла спрашивает дядю, можно ли дать Муну чаю. — Или тут больше делаешь нечего? Отнес поднос с посудой и думаешь, что уж заработал себе жалованье?

Муну отступил в кухню. Он был тронут

вниманием Шейлы, и ему стало очень жалко себя.

— Пойди и почишь вот эту посуду злой, ты, бездельник. Ни одного пятнышка грязи или жира не должно остаться.

Но, едва он принялся за дело, она снова закричала:

— О, боже, брось, брось сейчас же! Ни на что ты не годишься! Мне придется и это сделать самой! Мне все приходится делать самой! Никто ничего не может сделать как следует. Разве ты не понимаешь, идиот, что вот это, вот это черное, нужно отскоблить? Сравни только, как блестит вон та посуда на полке и та, которую ты сегодня чистил! Ты должен добиться такого же блеска!

К счастью для Муну, ее позвали в гостиную.

— О, мать моей дочери, — сказал баба бабу, употребляя старую форму обращения, принятую в индусских семьях, — принеси еще чашку, ибо пришел бабу Рам Лалл, и приготовь горячей воды для бритья. Надо искупать Шейлу, ей пора в школу. Дочери бабу Рам Лалла уже собрались.

Бибиджи взяла чашку и блюдо и понесла их в гостиную с жеманством, совершенно не подходившим к крикливым интонациям ее голоса и огрубевшей внешности.

На некоторое время Муну был избавлен от ее внимания. Когда она вернулась из гостиной с Шейлой и Лилой, она послала его отнести горячую воду для бабу и принялась купать и одевать дочерей.

«Сука, а не женщина», — подумал Муну. Он только и ждал предлога, чтобы опять

уйти в гостиную, где было так интересно: там пил чай весельчак Прэм, там сидел чудной бара бабу и пришел еще какой-то бабу.

И Муну был вознагражден: он увидел не только приветливого человека, читавшего пенджабские стихи, которые декламировали по деревням профессиональные комедианты, но и зрелище, гораздо более удивительное: Прэма, намыливающего щеки и протирающего зубья блестящей стальной машинки. «Что это он делает?» — подивился Муну. Затем ему вспомнился их деревенский цырюльник, и он догадался: — Бреется... — прошептал он вслух.

Из всех непонятных и таинственных вещей, которые он увидел со своего вчерашнего прихода в город, эта зубастая машинка казалась ему самой загадочной, самой чудесной. В его родной деревне цырюльник брил бороду длинной острой бритвой. Такой машинки он еще не видел. «Она не может быть особенно опасной, — рассуждал он, — раз бабу трет ею лицо так быстро... все вверх и вниз, вверх и вниз».

— Ну, что смотришь, сова? — ласково сказал Прэм, заметив, что мальчик уставился на него, поглощенный какими-то мыслями.

Муну улыбнулся, слегка смутившись.

— Бабуджи, — отважился он спросить через минуту, — верно эта машинка стоит больших денег?

— А что? — сказал бара бабу, пытаюсь сострить: — А что, ты хочешь сбрить себе волосы на голове? Разве ты стал сиротой?

— Я и есть сирота, бабуджи, — сказал Муну жалобно.

— О, — заметил гость шутливо, — ты еще

до моего мизинца не дорос, а уж хочешь бриться?

— Хорошо, — заявил Прэм обычным дурашливым тоном, — если ты будешь так добр и принесешь мне полотенце из той комнаты, я, так и быть, дам тебе — конечно, не целую машинку, — но лезвие, чтобы ты мог перерезать себе горло, когда тебе очень этого захочется.

Муну побежал за полотенцем; его сердце было полно восхищения и любви к молодому бабу. Он чувствовал что-то родное в этом веселом юноше.

— Вай, ты, пожиратель своих хозяев, — донесся откуда-то лай бибиджи: она, видимо, услышала, что он разговаривает с бабу, — куда ты удрал? Разве нет у тебя работы, что ты тратишь время попусту? Разве не сказала я тебе, что твое место в кухне? Или ты не можешь зарубить это себе на носу, и тебе нужно сначала все кости переломать, чтобы ты понял? Вся работа мне приходится делать самой. Этой дрянной девчонке пора в школу, а бабуджи скоро уходит в банк. Скажи, ты, вероятно, даже и тесто не научился ставить в твоих горах? И потом у тебя руки грязные... Нет, я тебе никогда не позволю касаться пицци! Все я сама должна делать. Нечего надеяться на тебя. Ты..

— А что мне теперь делать, бибиджи?

— Вай, что ты лезешь ко мне! Разве твои глаза ничего не видят? Ослеп ты, что ли? Взгляни на эти кастрюли, взгляни на чайную посуду, которую надо вымыть, взгляни на овощи, которые надо почистить!

Муну взялся за чайную посуду.

Он заметил, что достаточно полить фарфор водой, как он становится чистым. «Ну, это легко», — решил он, поспешно вымыл несколько чашек и отставил их в сторону, чтобы они просохли.

— Вай, что ты делаешь? — пролаяла госпожа. — Изволь чистить фарфор тоже золой, как и медную посуду, да так, чтобы на нем не осталось ни пятнышка, никаких следов чужого рта. Мы не такие, как сахибы, чтобы пить и есть из грязной посуды, которую ополоснут водой, и все. Мы, может быть, должны почитать их, потому что они наши начальники, но они грязные, они купаются в ваннах, в собственной грязи! Намылятся, смоят грязь да и лежат в этой же воде... Айя из банка говорил мне, что они едят мясо коровы, как магометане, и мясо свиньи, как сикхи.

— Я ведь, знаешь, тоже ем мясо коров и свиней, — поддразнил ее Прэм, входя в кухню, чтобы узнать, свободен ли каменный сток в углу, и тоже искупаться.

— О, пожалуйста, не напоминай об этом, тошнить начинает.

Муну тер посуду золой и торопливо ополаскивал ее, не заботясь о чистоте уголков и впадин. Он был по природе порывист и еще чересчур молод, чтобы приучить свои руки к тщательному выполнению мелкой работы.

Дома тетка делала всю домашнюю работу сама, без жалоб, неумоимо, незаметно. Он помнил, что не раз, в порыве сочувствия, по собственному почину подметал пол, утаптывал его коровьим навозом или бегал по поручениям. Единственной причиной раздора между ними было то, что тетка не могла иметь соб-

ственных детей, и люди стыдили ее за бесплодность. Однако он помнил, что она нередко обнимала его и целовала, и он засыпал, обняв ее. А эта женщина ненавидела его без всякой причины.

Вытирая посуду грязным полотенцем, он убеждал себя, что перестанет же она когда-нибудь грызть его, он привыкнет и уже не будет чувствовать себя в этом доме таким чужим. Молодой бабу хороший, и детям понравился обезьяний танец. Бара бабу тоже вполне терпим, на него можно не обращать внимания... Но бибиджи...

Он сделал над собой усилие, желая удержаться от резкой критики своей госпожи, из опасения, что если он будет бранить ее, она как-нибудь узнает его мысли, и он за это поплатится. Он отвлек себя воспоминанием об изящных шелковых одеждах, висевших в углу гостиной, подобных тем, какие носили сахибы, виденные им вчера. Ему было бы приятно, если бы молодой бабу надел их.

— Кончило ваше высочество возиться с посудой, и могу я искупаться? — спросил тот.

— Да, бабуджи. Я...

Но бибиджи обрушилась на него как молния.

— Кончил? Ну, так куда же ты бежишь, что тебе нужно в той комнате?

— Я... — придумывал Муну предлог.

— Ты сейчас соврешь... Я уж вижу... — и она замахнулась, намереваясь его ударить. — Пойди, поставь на место посуду. Бабу хотят купаться. Очисти овощи и приberi здесь. Разве я не сказала, что входить в ту комнату ты можешь только, если тебя позовут? Когда все

уйдут, можешь вычистить ковер и накрыть постели. Я не знаю, впрочем, справишься ли ты. Вероятно, мне придется опять учить тебя. Но пока работы и в кухне хватит. Тебе, конечно, только бы бегать взад и вперед, маленький болван. Ты, наверно, отроду ничего не видел в своих горах, у тебя глаза разбегаются от всех красивых вещей в нашем доме.

— Ну, закапало, — сказал Прэм, выливая себе на голову кувшин за кувшином. — Берегись, глупыш, ты будешь затоплен не только океаном слов, но и морем воды.

Муну подавил улыбку. Но по адресу бибиджи пробормотал ругательство.

Она пошла за карманными деньгами для Шейлы, которая ждала совсем готовая, чтобы итти в школу, иначе снова уличила бы Муну в каком-нибудь проступке. Он был теперь уверен в том, что она всегда отыщет повод для брани — то он не так поставил горшок на полку, то неправильно держит половую щетку или картофель при чистке.

Его взгляд переходил от прекрасного белого тела молодого бабу, сверкающего каплями воды, к одеждам, которые должны были облечь его, к удивительным шелковым одеждам.

— Шейла! Ни, Шейла! — прервал его размышления раздавшийся за дверью молодой голос.

— Да, иду, — пискнула Шейла из спальни.

В кухонную дверь заглянула совсем юная девушка с тонким личиком цвета пшеницы в скромной и миловидной рамке темнорозового муслинового шарфа.

— Мать Шейлы! — позвала она и вдруг пробормотала: — О-о... — при виде Муну.

— Отчего же ты, длинноволосая и кривоногая ведьма, убегаешь? — поддразнил ее молодой бабу, уходя в гостиную.

— Каузалья, ни, Каузалья, — кричала ей вслед бибиджи, — не бойся этого мужика, сестричка, этот дармоед совершенно безобиден. Ты не знаешь, что он сделал сегодня утром! Он сходил за нуждой во дворе, возле той стены!.. Шейла готова. Возьми ее с собой и присмотри за ней, — хорошо, дитя мое?

— Какой он смешной, ваш слуга, — заметила Каузалья, снова заглядывая в кухню. — Мой бабуджи сказал мне, что он пляшет как обезьяна. Ну, Шейла, скорее, сестры ждут, и мы опоздаем в школу.

Муну почувствовал себя глубоко униженным. Как смотреть людям в глаза, если каждому будут рассказывать о том, что он сделал утром? Он понял окончательно свое положение в этом доме: ему предстоит быть рабом, слугой, который делает всю работу, все эти нелепые дела, существом, которое бранят, даже бьют, хотя пока до этого еще не дошло. И его охватило чувство печали и одиночества.

Но при виде молодого бабу, одетого в безукоризненный белый костюм с элегантной складкой на брюках, в фланелевой шляпе и великолепных коричневых башмаках, он снова оживился.

Он любил этого человека, восторгался им как своим героем, мечтал быть таким же.

— Где бибиджи, о, ты, чертенок без рогов? — спросил Прэм.

Муну улыбнулся, смущенный, но счастливый.

— Вот я, — сказала она, входя в наружную дверь. — А что тебе нужно?

— Пять — из числа тех волшебных ста пятидесяти серебряных рупий, которые мой брат зарабатывает ежемесячно в Имперском банке Индии, — шутливо заявил Прэм. — Мне надо навестить больного на том конце города. А в таких случаях хорошо позванивать в кармане деньгами, — люди думают, что ты известный врач, и тащат к тебе всех своих больных родственников. Деньги, видишь ли, притягивают деньги.

Черты ее жесткого лица расправились, и она тоже подмигнула.

Однако, выходя из комнаты, она бросила Муну грозный взгляд, словно запрещая ему следовать за ней к месту, где находилась домашняя касса и было припрятано семейное достояние.

Но это не возымело того действия, на которое она рассчитывала. Едва она удалилась в угол, где стояла заветная шкатулка, как почувствовала, что он наблюдает за ней. Тогда она стала шаркать ногами и шуметь, чтобы заглушить скрип ключа в замке шкатулки.

— Ты! вор! — закричала она. — Делай свою работу, нечего все время глазеть на меня!

Муну стало противно от этих подозрений. Он продолжал чистить овощи.

Затем он услышал, как молодой бабу хлопнул дверью и вышел вместе со старшим братом на улицу.

— Теперь пойди, подмети комнаты и накрой постели, — сказала бибиджи спокойнее, — а я поставлю вариться овощи и замешу тесто для оладий.

Сидя на корточках и обметая ковер гостиной, Муну погрузился в мечтательное раздумье. Его взгляд упивался красноватым лакированным блеском торжественных, как троны, кресел. Он останавливался с восхищением на фотографических снимках. Два-три раза мальчик не мог удержаться от соблазна и подошел к картинам, чтобы рассмотреть их. Он изучал с удивлением и любовью краски, формы, размеры изображенного на них и старался понять его смысл. «Хотел бы я знать, о чем написано в этой книге? — размышлял он. — Отчего ходят эти большие часы? А голос в ящике — как он получается?»

— Смотри, не разбуди Лилу, — крикнула бибиджи, услышав, что он задел за стул. — Я приду помогу тебе накрыть постели.

Она пришла. Она сердилась меньше, хотя все же бранила его за то, что он слишком спешит.

Когда комнаты были убраны, она послала его наполнить кувшины у колонки. Потом принялась обучать стряпне.

Пришел дядя за завтраком для бабулжи и Шейлы и спросил:

— Нравится тебе здесь?

Муну чуть не расплакался, но рядом стояла бибиджи, и он ответил: — Да, очень нравится.

Все же, когда Дайя Рам попросил у бибиджи разрешения взять его с собой и показать, где находится школа Шейлы, чтобы он мог каждый день ходить встречать ее, мальчик дорогой разрыдался и стал жаловаться на тяжелую, горькую жизнь, которую ему приходится вести здесь, и, особенно, на постоянное наказание бибиджи.

— Ты их слуга, — сказал Дайя Рам. — Наплюй на их воркотню. Тебе надо расти и работать. Дома тебе жилось слишком легко. Мать избаловала тебя. Да и тетка слишком давала тебе волю.

Муну смолчал. Но под открытым небом эго буйное и цельное «я» вновь заговорило в нем, пробужденное близостью стихий, и ему захотелось ударить дядю за эти слова.

Когда он вернулся, бибиджи дала ему две олады и ложку чечевицы с овощами. Ему приходилось есть руками, так как он стоял слишком низко на социальной лестнице, чтобы иметь право пользоваться посудой. Это оскорбление было как укусы змеи. Он с трудом проглотил пищу.

Однако теперь он понимал, что обращать на это внимание бесполезно.

После завтрака бибиджи ушла проведать соседей и взяла с собой Лилу.

Муну опять принялся чистить посуду. Он не успел кончить, как надвинулся вечер. Он устал от зноя и работы. Почувствовав изнеможение, он прилег.

Тут вернулась Шейла вместе с долговязой Каузальей, забежавшей утром, и еще с двумя девочками. Все они принялись танцевать в гостиной.

Муну захотелось присоединиться к ним. Он вбежал и начал исполнять свой утренний обезьяний танец. Это рассмешило их, и они позволили ему поиграть с ними, хотя сначала отталкивали, говоря:

— Ты слуга, ты не должен играть с нами.
Вернулся Прэм с несколькими другими бабу и спросил чаю.

Позвали бибиджи.

Муну ожил в жизнерадостной атмосфере, которую создавал вокруг себя младший брат хозяина. У него потекли слюнки при виде расгуллы и гуляб джамана, а также странных английских сладостей, принесенных Прэмом. Тот дал мальчику сластей на тарелке. Сердце Муну благодарно устремилось к нему. Он ловил малейший жест молодого человека, исполнял каждое его приказание с той же пылкой готовностью, с какой деревенские мальчишки исполняли его приказания. Ему было очень жалко, когда Прэм вышел пройтись.

Начало темнеть, и бибиджи снова принялась грызть его, словно весь день набиралась сил.

Она поручила ему истолочь в каменной ступке деревянным пестиком пряности. Он толоч так энергично, что пролил какой-то сироп, и над ним прошумела буря упреков.

Второй его проступок состоял в том, что он взялся за кастрюлю, не вымыв рук. Теперь на него обрушился ураган.

Наконец, устав от всех этих хлопот, связанных с приготовлением ужина, он прислонился к стене, и его веки сомкнулись. Тут последовал уже настоящий тайфун. Но Муну слишком глубоко ушел в бездны сна и не чувствовал ни словесных уколов, ни толчков кулаком в бок.

Жизнь в доме бабу скоро свелась для Муну к жизни раба.

Он приноровился к ней не легко: вольную птицу трудно приручить к клетке.

«Что я такое? Я — Муну?» — однажды спросил он себя ранним утром, лежа под своим рваным одеялом.

«Я — Муну, слуга бабу Нату Рама», — последовал ответ.

«Почему я попал в этот дом?» — задал он себе следующий вопрос.

«Потому, что дядя привел меня сюда, потому, что я должен зарабатывать свой хлеб», — смутно пробивалась к чему-то его мысль.

«Он мог бы, вероятно, устроить меня таким же чапраси, как он сам, — подсказала мысль, — или достать место еще в чьем-нибудь доме».

Ему не приходило на ум спросить себя, чем он был еще кроме слуги и почему он слуга, а бабу Рам — хозяин. Так было предопределено: отношение бабу Нату Рама, носившего черные сапоги, к нему, Муну, бегавшему босиком, казалось ему таким же непреложным и неотвратимым, как восход и закат солнца. Затем он почему-то вспомнил о сладостях, которые неизменно приносил под вечер молодой бабу, уделяя немного и Муну, если бибиджи не смотрела в их сторону. У него потекли слюючки при одном воспоминании о сиропе. Сласти ангези были роскошнее, чем индусские расгулла и гуляб джаман; но надо было быть сахибом или бабу, чтобы есть их. Надо было носить шелковую одежду и корзинообразный головной убор. И сапоги. Он предпочел бы иметь черные сапоги, как у бара бабу, чем коричневые башмаки с пряжками, как у Прэма. Последние слишком напоминали грубую обувь, какую южные кожевники продают на улицах крестьянам. В комоды у молодого бабу лежали восхитительные одежды, шелковые носовые платки и теплые шерстяные костюмы. Какие они мягкие! Он мечтал коснуться их. Может быть, когда он будет

большой и сможет носить такое платье, он выпросит у молодого бабу рубашку и костюм. Разве тот уже не дал ему бритвенное лезвие? Он щедрый человек и добрый.

И умный. Взять хотя бы то, как он читает в людских сердцах и говорит, какой болезнью болен человек, благодаря машинке с резиновыми трубками! Концы этих трубок он вставляет себе в уши, а рот машинки прикладывает к груди больного. У него есть и другие машинки, в бархатных коробках. «Как бы мне хотелось рассмотреть их, — думал Муну. — Как хотелось бы мне быть, как молодой бабу, лекарем! Или пусть бы даже, как хозяин, чиновником в банке, с ним все в городе раскладываются. Хотя и он...»

Тут сознание Муну, выйдя за тесные пределы его личности, с ее своеобразной наивностью и смутными прозрениями, расширилось, охватив и дом бабу, и город, где его хозяин тоже ведь был чьим-то рабом.

И его «я», сложившееся под влиянием того общества, в котором он родился, общества, где касты, классы и формы социальных отношений были предопределены эгоизмом немногих власть имущих, возжаждало всех благ этого общества — богатства, власти и собственности — совершенно так же, как их жаждали стоявшие над ним.

Если бы сверкающие волны его мыслей не текли по проторенным руслам и не таяли в пустой пене, они могли бы открыть ему силы, о которых он до сих пор еще не ведал. Тогда у его гедонизма была бы отнята почва и он увидел бы всю тщету своего желания — стать похожим на хозяев жизни.

Но все рассказы о его предках, его деревне, его провинции, его стране, прочитанные им в школе и удержанные памятью, все они повествовали о том, как немногие избранные жаждали власти, собственности, почестей.

И, подобно всякому ребенку, подобно большинству взрослых, он был ослеплен блеском их величия, их славой и великолепием, забывая, что системой социального неравенства сам обречен оставаться на всю жизнь ничтожным, отверженным и нищим.

Сила жизни молодого организма побуждала все его клетки инстинктивно тянуться вверх, в пространство, хотя бы ради глотка вонючего воздуха в грязной кухонке хозяина или ради корки хлеба. И он смутно ощущал в своем сиротском теле потребность любить. Но он все еще оставался «пешкой на шахматном поле судьбы», как выражался их деревенский священник, — с ложными стремлениями в ложном мире, и он обречен был оставаться рабом до тех пор, пока не познает своей истинной природы.

Что давало хозяевам жизни превосходство, это было от него скрыто. Все они носили красивую одежду, имели красивые вещи, — достаточно, чтобы казаться ему существами сказочными, удивительными. Он не искал ни причин, ни следствий. Он не понимал, что основа их превосходства, блеска, уверенности, счастья, которое они излучают, — деньги, что их беззаботная привилегированная и обеспеченная жизнь, их цветущее здоровье — все это питается тем, что можно купить за деньги.

Стараясь примириться с положением раба, он пытался внушить себе, что нецивилизован

и груб, недаром его именно за это так часто пинала его хозяйка. И все вновь и вновь решил стать отныне отличным слугой, образцом слуги.

Однако путь к совершенству усеян западнями. Он скоро попал в беду и навлек на себя ярость своей госпожи.

Случилось так, что в один прекрасный день мистер Инглэнд посетил дом Нату Рам, чтобы выпить чашку чая с ним и его семьей.

Мистер Инглэнд был главным кассиром шам-нагарского отделения Имперского банка Индии, где бабу Нату Рам служил помощником счетовода. Это был рослый англичанин с неуклюжей, шаркающей походкой, еще более бросающейся в глаза из-за его четырехугольных, словно деревянных ступней, вследствие чего он шагал под углом в сорок пять градусов и всегда неуверенно. Лицо его было лишено выразительности, мелкие черты оттенялись только толстыми стеклами очков, прикрывавших близко посаженные близорукие глаза.

Тонкие губы улыбались скорее добродушно, и вот эта-то улыбка и привела к последующим событиям.

Бабу Нату Рам видел каждое утро эту улыбку на губах мистера Инглэнда, когда сахиб говорил «Доброе утро» в ответ на его поклон. Не могло, казалось, быть сомнения в том, что улыбка — добрая, свидетельствующая о мягком сердце, совершенно так же, как нахмуренное лицо Роберта Хорна, эсквайра, директора Имперского банка Индии в Шам-Нагаре, свидетельствовало о злобном характере. Но мистер Инглэнд был так непоговорен! Улыбка могла быть покровительственной,

могла и не быть. А бабу Нату Раму очень важно было знать, искренняя эта улыбка или напускная. Ибо он хотел получить от мистера Инглэнда рекомендацию, которая поддержала бы его ходатайство об увеличении жалования и повышении по службе.

Он давно добивался места счетовода. Но все — неудачно, так как оно было занято Афзулом-ул-Хаком, который сидел на нем уже двадцать лет.

Мистер Инглэнд был новым лицом в банке. Бабу хотелось, чтобы тот написал ему рекомендацию, прежде чем подпадет под влияние других английских чиновников в клубе и возненавидит индусов; прежде чем его добрая улыбка станет улыбкой насмешливой и презрительной или сардонической. Поэтому бабу не стал дожидаться, пока ближе узнает мистера Инглэнда или пока мистер Инглэнд лучше ознакомится с его работой, и пригласил его на чашку чая.

Разумеется, для приглашения мистера Инглэнда понадобилось немало трудов и отваги.

Он начал с того, что несколько дней подряд храбро прибавлял к обычному «Доброе утро, сэр» еще что-нибудь. Казалось, не могло быть никакой почвы для разговора между ними, не было даже спасительного счета или письма, так как они встречались в банке до прибытия почты. А позднее, в течение дня, приходилось слишком много толковать о счетах, чтобы оставалось время для неофициального обмена мыслями. Но дни шли, и бабу Нату Рам созерцал неизменную улыбку мистера Инглэнда уже с некоторой долей отчаяния, повторяя убежденнее чем когда-либо,

что все-таки эти англичане народ чрезвычайно скользкий и загадочный; такие необщительные: уставятся на вас, сами молчат, и у вас язык прилипает к гортани.

И вот кто-то (приятель Нату Рама, адвокат) сказал, что он на собственном опыте, приобретенном им в Англии, убедился, будто завязать с англичанином беседу можно, только заговорив о погоде.

— Доброе утро, сэр, — почтительно восклицал каждое утро бабу Нату Рам, не решаясь воспользоваться советом адвоката.

— Доброе утро, — мычал мистер Инглэнд, улыбаясь все той же ласковой улыбкой, но с оттенком превосходства, так как бабу был старше его лет на двадцать, и столь благоговейная почтительность была, в сущности, довольно неуместной. Кроме того, бабу был богат: он владел акциями Аллабадского банка на сорок тысяч рупий и являлся испытанным приверженцем правительства, которому принадлежало большинство банков. «Почему же, — удивлялся мистер Инглэнд, — бабу не ведет жизнь, достойную его положения? Нет, Хорн прав, говоря, что эти индусы всегда так смерзительно раболепствуют перед европейцами...» Он не поинтересовался, однако, узнать, почему они раболепствуют...

Однажды мистер Инглэнд, угловато загребая квадратными ступнями, ходил по холлу банка, приятно затененному опущенными жалюзи, а позади, шаг за шагом, следовал, как пес, бабу Нату Рам. Сахиб чувствовал себя довольно неловко.

— Восхитительное утро, сэр! Прекрасный день! — вдруг выпалил Нату Рам.

Мистер Инглэнд зашаркал, приостановился и круто обернулся, словно пораженный молнией. Его лицо вдруг побледнело от брезгливости. Но он овладел собой и, улыбаясь сардонической улыбкой, сказал:

— Да, разумеется, восхитительное!

Бабу не уловил сарказма, скрытого в ответе сахиба. Он был страшно доволен, что, наконец, сломал лед, хотя у него и нехватило храбрости прибавить еще что-нибудь и тут же пригласить мистера Инглэнда на чашку чаю.

Он просиживал теперь в банке целые дни, ожидая подходящей минуты. И вот она настала: Инглэнд, желая разрядить напряженную атмосферу и успокоить Нату Рама, в один прекрасный день, перед тем как уйти завтракать, подошел к столу бабу.

— Как поживаете, Нату Рам? — спросил он.

— Восхитительное утро, сэр! — возвестил Нату Рам, подняв глаза от своих бумаг.

— На мой вкус, чересчур восхитительное, — отозвался Инглэнд.

— Да, сэр, — согласился Нату Рам, не зная, что сказать.

Наступила неловкая пауза, во время которой Инглэнд смотрел на бабу, а бабу на Инглэнда.

— Ну, я пошел завтракать, — сказал сахиб: — не могу много есть в такую жару...

— Сэр, — сказал бабу, обрадовавшись случаю, — вам нужно есть индусскую пищу! Она очень вкусна. — Он спешил и захлебывался.

— Повар в клубе иногда делает сладкое мясо с соей, — ответил Инглэнд, — но мне не очень нравится, слишкомпряно...

— Сэр, моя жена замечательно готовит это блюдо. Вы должны притти к нам и попробо-

вать наши кушанья, — рискнул Нату Рам с запинкой.

— Нет, я не люблю сои, — повторил Инглэнд. — Во всяком случае, очень вам благодарен, — и, улыбаясь своей пленительной улыбкой, собрался уходить. Он заметил, что начинает слишком фамильярничать с этими туземцами, а ведь как предостерегали его друзья по клубу!

— Не посетите ли вы мой дом, сэр? — обратился к нему Нату Рам с бьющимся сердцем. — Моя жена была бы крайне польщена, если бы вы снизили и осчастливили нас своим присутствием за чайным столом, сэр. Мой брат, сэр...

Инглэнд готов был уже отрицательно покачать головой, но опустил ее, чтобы скрыть смущение.

— Да, сэр, да, сэр, сегодня же, — настаивал бабу Нату Рам.

— Нет, — сказал Инглэнд, — нет. Но как-нибудь в другой раз.

После этого Нату Рам буквально стал преследовать Инглэнда своими приглашениями. Когда бы он ни встретился с англичанином — утром, в полдень, вечером, — он приставал к нему с просьбами оказать ему честь и снизить до чашки чая в его доме.

Мистер Инглэнд, наконец, согласился: через недельку он придет.

Целую неделю длились в доме бабу приготовления к его приему, и на долю Муну досталось немало работы. Ковры были сняты и выколочены, а весь накопившийся в доме хлам, все эти книжки, картинки, пузырьки, игрушки, чашки, платья, хотя и продолжали

громоздиться первозданным хаосом, но были аккуратно прикрыты сверху циновками, чтобы придать комнатам опрятный и респектабельный вид.

Весть о том, что сахиб посетит дом бабу Нату Рама, разнеслась по всему городу, и на окнах соседних домов появились грязные холщевые занавески, так как женщины старались соблюсти традиции и защититься от взоров иноземца.

Мистер Инглэнд, облеченный ради торжественного случая в синий костюм, шествовал к дому Нату Рама — по одну сторону сам хозяин, по другую — его брат, Прэм Чанд, врач, позади — Дайя Рам, чапраси, во всех регалиях. Англичанин потел и злился.

То и дело вытирая лоб большим шелковым носовым платком и краснея при льстивых приветствиях и благодарностях, расточаемых бабу, Инглэнд пытался представить себе дом Нату Рама. Похож ли он на дом отца Инглэнда в Брикстоне, который они обставили мебелью, купленной в рассрочку и где он сам занимал комнату для прислуги, пока служил еще в Мидлэндском банке, перед тем как приехать сюда и вдруг стать главным кассиром? Или на дом Абдул Керима, индуса, в этом голливудском фильме под названием «Проклятие Свами» — с фонтанами, бьющими среди холла, вокруг которых плясали многочисленные жены хозяина, задрапированные в прозрачные, плотно прилегающие ткани и увешанные украшениями?

Темневшие по склону холма привалившиеся друг к другу хибарки с плоскими кровлями,

на которые указал ему Нату Рам, обещали мало интересного.

— Сахиб! Сахиб! — раздавались вокруг них восклицания, и они слышали шорох — это люди прятались за холщевые занавески.

— Магометане свято соблюдают «парду», сэр, — пояснил бабу Нату Рам. — И женщины в доме бабу Афзул-ул-Хака убегают и прячутся. — «Судьба благоприятствует мне», — думал бабу при этом, ибо он получил возможность нанести удар своему сопернику, мусульманину.

Глядя в сторону, мистер Инглэнд смущенно улыбался.

— Осторожнее! — крикнул доктор Прэм Чанд: — Ваша голова!

Мистер Инглэнд чуть не ударился головой о низкий косяк входа, который вел, минуя маленькую веранду, прямо в гостиную бабу. Его и без того красное лицо стало вишневым.

В низкой комнате высотой в шесть футов и длиной в десять трудно было повернуться, особенно, когда Нату Рам и Дайя Рам ринулись за креслом, чтобы усадить в него сахиба.

Мистер Инглэнд стоял среди комнаты и рассматривал жилье своего сослуживца. В этой тесноте он чувствовал себя прямо нельсоновой колонной.

Видеть особенно было нечего, но когда он опустился в кресло, скорее напоминавшее трон, он очутился прямо перед глиняным изображением бога-слона, Генена, увенчанного гирляндой увядших цветов. Он нашел это изображение зловещим, внушающим ужас. Это был один из тех языческих идолов, не-

ненависти к которым его учили в методистской церкви, где он бывал с матерью.

— Бог мудрости, любезности и богатства, сэр, — возвестил бабу Нату Рам, выговаривая слова с особой торжественностью, ибо знал, что его неграмотная жена слушает, как он хоть раз в жизни говорит по-английски с сакхилом, словно равный с равным.

— Интересно, — промямлил мистер Инглэнд.

— Я надеюсь поехать в Англию, чтобы усовершенствовать свои знания, мистер Инглэнд, — сказал доктор Прэм Чанд, который держался просто и свободно, так как был независимым человеком, врачом.

— В самом деле? — отозвался Инглэнд, просияв при слове «Англия», упоминая о которой, всякий англичанин в Индии обычно говорит: «У нас дома».

— У вас там, вероятно, большой дом? — спросил Прэм Чанд, — может быть, вы могли бы дать мне совет относительно подходящих курсов?

— Разумеется, — ответил Инглэнд, краснея при мысли о том, что, хотя ему и приходится разыгрывать важную персону перед этими туземцами, но, во-первых, у него нет никакого дома, достойного упоминания — за полуособняк в Брикстоне до сих пор еще не выплачено, — а во-вторых, он никогда не учился в университете и ничего не знает ни о каких «курсах», кроме курсов стенографии и машинописи Питмэна на Соутгэмптон Роу, которые он посещал один сезон перед тем как поступить в Мидлэндский банк. Проще всего было бы так им и сказать, ибо Инглэнд был чрезвычайно честен. Но его соотечественники по-

стоянно учили его держаться в общении с местными жителями словно он «сын самого короля Георга». Нечистая совесть еще усугубила его смущение.

— А это, сэр, семейная карточка, по случаю моего бракосочетания, — сказал Нату Рам, снимая фотографию в тяжелой раме с крюка и неуклюже роняя две других, так что Муну, созерцавший из-за двери, как редкостное зрелище, этого розоволицего человека, вбежал в комнату, чтобы спасти их.

Мистер Инглэнд не без любопытства посмотрел на него.

Бабу принес снимок и, трепеща от вольности, какую позволял себе, водрузил карточку на колени сахибу. Мистер Инглэнд взял ее обими руками за края и, поднеся почти к самым глазам, стал рассматривать.

Муну, побуждаемый инстинктивной жаждой общения, не ведая никаких преград между высшими и низшими, подошел, стал возле плеча сахиба и тоже принял участие в рассматривании группы.

— Уходи, болван, — шепнул ему бабу и отпихнул мальчика острым костлявым локтем.

Мистер Инглэнд несколько освоившись, снова забеспокоился. Он не знал, кто этот мальчик, — может быть, сын бабу. Если так, то со стороны Нату Рама жестоко выгонять его, хотя Инглэнд и был недоволен, что этого грязно одетого подростка допустили обнюхивать его: ведь у мальчика могла быть какая-нибудь кожная болезнь. Все эти туземцы, говорил ему Хорн, больны, все до одного. И, судя по числу прокаженных на улице, он прав.

— Этот мальчик — слуга, — презрительно

сказал вполголоса Нату Рам сахибу, желая оправдать свою суровость.

Сахиб выразил сочувствие, скривив рот и придав взгляду выражение брезгливости.

— А вот это моя супруга, сэр, — продолжал Нату Рам, указывая на какую-то неопределенную фигуру в центре группы на карточке, закутанную одеждой и увешенную драгоценностями; ее ноги болтались между ножек стула, лицо было совершенно закрыто двойным покрывалом.

Мистер Инглэнд пытался рассмотреть лицо на снимке; ничего не увидев, он пожалел о своей близорукости, но все же похвалил прелести жены бабу: — Мило, очень мило.

Подняв руку, он увидел, что она вся в пыли, пыль лежала густым слоем на обратной стороне снимка, запачканы были и брюки. Он нахмурился.

— Моя жена не соблюдает парды, но она очень застенчива, — сказал бабу. — Она не выйдет, так принято у женщин нашего народа. — И быстро продолжал, снова указывая на снимок: — А вот и моя скромная особа, женихом, я тогда был молод.

Мистер Инглэнд увидел фигуру мужчины в тюрбане — более тощее воплощение Нату Рама, — с кольцами в ушах, ожерельями на шее и в белой англо-индусской одежде; жемчужных застыл в неестественной позе: левая рука деревянно покоилась на спинке кресла, правая показывала миру европейские часы-браслет.

Глаза мистера Инглэнда старались уловить выцветшие контуры смуглых людей, столпившихся на заднем фоне снимка. Они остановились на двух мальчиках, прижавшихся друг к

... локтями и головами — в такой нелепой
... снимались обычно в викторианскую
... сочлены крикетных команд.

Айн... айн... уайн... айн... ай... ан... — за-
... гортанный голос, словно сдавленный тру-
... граммофона.

Муну ринулся к двери под предлогом, что
... готов, на самом же деле — чтобы услы-
... нать голос, поющий в ящике.

Шейла, только что вернувшаяся из школы,
... вошла.

— Это наша индусская музыка, сэр, — ска-
... Нату Рам с гордостью, — газелла, в ис-
... мисс Джанки Бай из Алабада. Моя
... дочь, — добавил он, указывая на
... Шейлу. Затем, обернувшись к ней, сказал: —
... Подойди, поздоровайся с сахибом.

Девочка была застенчива и упрямо стояла
... в дверях, неловко улыбаясь.

Смущение мистера Инглэнда не знало пре-
... делов. Он весь покрылся испариной. Назойли-
... завывание: «Айн... айн...», доносившееся
... граммофона, было невыносимо. Его слух
... к экзотическим мелодиям чарльстона и
... румбы или к английским национальным пе-
... сенкам вроде «Любовь подобна папироске»,
... «Роз-Мари, тебя люблю я» или «Хочу я сча-
... стья, но не могу быть счастлив, пока не бу-
... дешь счастлива и ты». Кроме того, он чув-
... ствовал на себе взгляды детей.

Поскорее бы все это кончилось! Он бранил
... себя за то, что согласился притти.

— Принеси чай, — сказал Нату Рам, обра-
... щаясь к Муну.

— Да, бабуджи, — и Муну убежал, воз-
... бужденный и радостный.

Он чуть не налетел на своего дядю Дайя Рама, несшего в гостиную груды пропитанных сиропом индусских сладостей и горячих пышек из маисовой муки, которые бибиджи все утро жарила в оливковом масле.

Бибиджи видела, как пробежал Муну, и, конечно, выбрала бы его, но сегодня она была на высоте приличий. Она только бросила ему свирепый взгляд, вынося из магического квадрата своей кухни тарелки с английским пирожным, и приказала подать их в гостиную.

Муну был слишком возбужден развлечением, каким являлся приход этого гостя в дом его господина, чтобы огорчиться от свирепого взгляда хозяйки. Он отнес врученные ему тарелки, облизываясь от одного вида этих сладостей. Он поставил пирожные на огромный письменный стол, на котором было сервировано угощение, и остановился, чтобы посмотреть на сахиба. Грозным движением бровей бабу отослал его в кухню за чаем.

Тем временем бабу Нату Рам принялся угощать гостя.

Бабу взял в каждую руку по блюду и поднес их к самому носу мистера Инглэнда.

— Это, сэр, наш знаменитый гуляб джаман, — сказал он, — а это называется расгулла. Делается из свежих сливок, сэр. Их поливают розовым маслом, сэр. Это кушанье приготовлено кондитером по моему особому заказу.

Аромат, который издавали расгулла и гуляб джаман, а также вид их вызвали у мистера Инглэнда тошноту.

Отступая в полном смятении от этого бесцеремонного нападения на его органы чувств, он пролепетал: — Нет, благодарю вас.

— О, да, сэр, да, сэр, — убеждал его бабу Нату Рам.

Будь мистеру Инглэнду предложены тарелки и вилка или ложка, он, может быть, и отведать бы этих яств. Но предполагалось, что он должен взять их рукой. Для англичанина, никогда не бравшего руками даже цыплячьей ножки, это было немыслимо.

— Тогда скушайте пышек, — сказал бабу. — Моя жена мастерица делать пышки. Идите сюда, Дайя Рам.

Дайя Рам внес блюдо с маисовыми пышками. От резкого запаха этих жирных темно-коричневых пышек у мистера Инглэнда буквально печень заворочалась. Он взглянул на них так, словно это был яд, и сказал:

— Благодарю, право же, нет, я сегодня поздно завтракал.

— Ну, если вы не любите индусских сладостей, сэр, — обиделся Нату Рам, — тогда скушайте вот этих английских пирожных, я специально заказывал их у Стифелса. Вы должны скушать, сэр.

Пирожные были тоже обильно посыпаны сахаром и имели мало аппетитный вид.

— Нет, право же, благодарю. Я не могу есть в такую жару, — сказал Инглэнд, стараясь придумать правдоподобное объяснение.

Нату Рам огорчился. Если сахиб отказывается есть и не будет в долгу у него, то каким образом он вытянет желанную рекомендацию?

— Сэр, сэр, — запротестовал он, снова суя угощение под нос Инглэнду. — Ну, скушайте хоть что-нибудь, ну, хоть маленький кусочек...

— Нет, большое спасибо, Нату Рам, не могу, — сказал Инглэнд. — Я выпью чашку чаю и пойду. Я ведь очень занятой человек, вы же знаете.

— Сэр, — сказал Нату Рам, причем его нижняя губа дрожала от волнения. — Я надеялся, что вы не откажетесь от скромного гостеприимства, которое я, ваш смиренный слуга, могу оказать вам. Но вы хотите выпить только чаю, чаю... Чаю, о! Муну, принеси чай.

В эту минуту Муну поспешно входил с подносом. Услышав возглас своего господина, он споткнулся. Поднос с чайной посудой выскользнул у него из рук. Миг — и весь пол был усыпан осколками фарфора.

Мистер Инглэнд услышал звон разбитой посуды и понял, что случилась беда.

У бабу Нату Рама сердце упало. Из своих честно заработанных денег он истратил на этот чай целых пять рупий. И все пропало зря.

Доктор Прэм Чанд спокойно вышел в кухню, принудил бибиджи обуздать свое бешенство, вылил остатки чая и молока в чашку, поставил ее на красивое блюдце и, входя снова в гостиную, сказал спокойно, с шуточной улыбкой:

— Наш слуга Муну, мистер Инглэнд, знает, что японский чайный сервиз стоит всего одну рупию двенадцать анн. Поэтому он не думает о том, сколько перебьет чашек и блюдец.

Мистер Инглэнд непрерывно потел. Он был бледен от ярости и смущения. Его маленький рот судорожно сжался. Он взял чашку и стал

ритель. Чай был горячий и обжег ему губы и язык.

— Мне пора, — сказал он и сошел с кресла, похожего на трон.

— Мы очень огорчены, сэр, — стал извиняться Нату Рам. — Но я и моя жена надеемся, что вы не откажетесь еще раз посетить нас.

И когда Инглэнд вдруг повернулся и пошел, неуклюже шаркая подошвами, он покорно поплелся следом.

— Осторожно! Берегите голову! — сказал доктор Прэм Чанд, во-время удержав сахиба, иначе тот рисковал удариться о низкий косяк. — Добрый вечер.

Мистер Инглэнд улыбнулся, затем нахмурился и молча вышел, сопровождаемый бабу Нату Рамом и Дайя Рамом.

Чай с англичанином провалился.

Доктор Прэм Чанд собирался спокойно полакомиться сладостями. Но его золовка уже обрушилась на Муну.

— Вай! Чтоб ты умер, чтоб ты заболел, чтобы ты высох, слепой болван! Знаешь ты, что ты наделал! Чтоб твое мясо жарилось в аду! Какая несчастная звезда привела тебя в наш дом? Все ты делаешь наыворот! Ты знаешь, сколько стоит этот сервиз? Весь-то ты столько не стоишь!

— Англичанин ничего не смыслит, — сказал Прэм Чанд, входя, — хоть бы что-нибудь съел!

— А все виноват вот этот пожиратель своих хозяев! — крикнула она, указывая на Муну. — Чтоб он умер!

— Да разве он виноват, что у английской обезьяны дурной вкус? — спросил Прэм Чанд. — И как можно бранить его за весь этот ваш хаос, который, видимо, подействовал сахибу на нервы?

— Пожалуйста, не оправдывай этого лодыря, Прэм! — шипела бибиджи. — Наш дом не уступал дому любого сахиба, пока не явился из деревни этот скот и все не испортил! А теперь вот разбил чудный сервиз, невежа, олух!

Бибиджи вскочила со стула, стоявшего возле двери в кухню, замахнулась и метко и звонко ударила мальчика по щеке.

— Ах ты, порча! — бесилась она. — Ты несчастье принес нашему дому! Скотина! Как я старалась исправить тебя!..

— Оставь его в покое, — сказал Прэм. — Это не его вина. — И он направился было к мальчику.

— Чтоб я не слышал твоего рева, не то я убью тебя на месте, болван! — взвизгнул бабу Нату Рам, входя и увидев, что глаза Муну полны слез.

Не в первый раз заснул Муну в эту ночь, тихонько всхлипывая и обливаясь слезами.

Дни проходили за днями, и он работал словно во сне. Он кое-как исполнял свои обязанности, только и мечтая о том, чтобы поскорее от них отделаться, и с нетерпением поджидая свободного вечера.

Утром того дня, который у него считался на этой неделе выходным, бибиджи увидела его надутое лицо и решила не отпускать его.

Она знала, что он ходит в свободный день к дяде, и ей не хотелось, чтобы он рассказал Дайя Раму о том, как худо с ним обращаются его хозяева.

Но в это утро к желанию Муну бежать от непрерывной брани, нытья и помыкания прибавилась еще тоска по домашним кушаньям, по чечевице и рису, которые себе обычно готовил дядя, угощая ими и племянника, если тот бывал у него. Поэтому, когда бибиджи предложила ему доесть обьедки репы с соей, оставшиеся на тарелке бабу, Муну отказался и заявил, что хочет проведать дядю.

— Вот! Мир темнеет от стыда! — закричала бибиджи, обращаясь к мужу. — Вот! Ты слышал? Ему не нравится, как его здесь кормят! Небо! Он хочет уйти обедать к дяде, не почистив и не помыв посуды! Значит, мне придется весь день работать. Слыханное ли дело? Кому нужен такой слуга!

— Отчего, охе? — сказал бабуджи. — Отчего ты не ешь то, что тебе дают? Разве ты сын набоба, что воротить нос от репы? Ну и иди, иди есть рис и горох к своему дяде!

Едва было произнесено слово «иди», как Муну выскользнул за дверь и был таков.

Когда он спускался с холма, ему пришли на память все обиды, которым он подвергался в этом доме, все перенесенные унижения.

Он мужественно старался сдерживать слезы, но казалось, где-то в недрах его желудка рождались содрогания жалости к себе, они обдавали жаром лицо, на котором словно скопилось тяжелое душное облако, вдруг пролившееся жарким дождем слез.

Когда он завернул за угол банка и вошел в подъезд той части дома, где жили слуги и где была комната дяди, он вытер лицо краешком куртки и высморкался с помощью большого и указательного пальца.

Дайя Рам храпел на койке в своей комнатухе. Это была нора примерно в шесть кубических футов. Кроме койки, в ней находилась глинобитная печь, кое-какая медная посуда и обитый жестью сундук.

Муну вошел на цыпочках, наклонился над дядей, схватил его за большой палец правой ноги и стал трясти.

— Кто тут? Что надо? — зарычал Дайя Рам, открывая глаза.

— Поесть ничего не осталось, дядя? — спросил Муну.

— Разве сейчас время приходить ко мне и просить есть, ублюдок? — зашипел Дайя Рам. — А в доме бабу тебя не кормят?

— Может быть, ты дашь мне тогда немного денег, я пойду в закусную на базаре и куплю себе поесть?

Сам он никогда не имел денег, так как бабу вручал каждый месяц все его жалованье в три рупии прямо дяде.

— Ах ты, сын суки! — Дайя Рам сел на койке. — Разве могу я купить тебе платье и башмаки, если ты будешь расшвыривать деньги, которые я коплю для тебя?

— Но ведь ты же не купил мне никакого платья, — запротестовал Муну. — Эту рваную куртку мне дала бибиджи, и башмаков ты тоже не купил мне.

— Ах ты сопляк! — И Дайя Рам, вскочив, схватил Муну за шиворот. — Ты еще осмели-

внешься у меня отчета спрашивать, сын свиньи. Вот благодарность за то, что я столько времени вожусь с тобой и нашел тебе место! Денег! Денег, денег ему дайте!

И он грубо стал трясти мальчика и бить его.

— О, не бей меня, пожалуйста, не бей меня, дядя! — кричал Муну. — Мне только поесть хочется.

— А где же ты жрал навоз, когда люди обедали? — орал Дайя Рам. — Почему ты не пришел сюда раньше, раз ты хотел есть? И разве они тебя там не кормят?

— Бибиджи не пускала меня, заставляла работать, — всхлипывал мальчик. — Она совсем не хотела отпускать меня. Ты не знаешь, как она бьет меня! Если бы ты знал, ты бы меня не бил! У них сегодня репа, а я не люблю репы. Я люблю рис и горох!

— Врун! Ябедник! Свинья! — кричал Дайя Рам. — Ты только и знаешь, что жаловаться, — и он продолжал награждать тумачами мальчика, прижавшегося к стене.

— Мама! Мамочка, мама! — всхлипывал Муну.

Однако эти жалобные крики, казалось, не производили никакого впечатления на Дайя Рама. Любовь к деньгам, страх перед нищетой и чувство приниженности, которое развилось у него за время службы в банке, сделали его черствым до жестокости. Его глаза налились кровью. Он так скрипел зубами, что, казалось, готов убить Муну. Свирепо глядя на племянника, он полаял.

— Нет, ты скажи мне правду, скажи правду, где ты шлялся?

Муну был не в силах говорить. Он продолжал плакать.

— Где ты был, отвечай? — зарычал Дайя Рам, наступая на него.

— Дома я был, — всхлипывал Муну.

— Лжешь! Дрянь! Негодяй! — шипел Дайя Рам. — Разве я не знаю тебя? Вместо того чтобы добросовестно работать, ты лодырничаеть! Убью, если услышу еще хоть одну жалобу! Ты разбил фарфор на-днях и осрамил хозяев перед сахибом!

Бросившись к мальчику, он снова пнул его ногой. Затем продолжал:

— Ты просто озорник, своевольный, упрямый, а воображаешь, что много работаешь! Ты оскандалил бабу перед сахибом! Ты навлек на мою голову недовольство бабу! Я считался в банке хорошим слугой, пока ты не явился. Тяжелым трудом зарабатывал я кусок хлеба, и меня здесь каждый уважает, потому что я умею угождать своим господам! А ты вдруг жалуешься, что с тобой плохо обращаются в доме нашего благородного бабуджи? Ступай и держись за это место, если тебе дорога жизнь, иначе я убью тебя! Лучше отучись от своей дурной привычки читать и бездельничать, свинья! А теперь возвращайся и попроси бибиджи накормить тебя! Нет у меня для тебя ни сочувствия, ни еды!

Он сгреб мальчика и швырнул его за дверь.

Итак, Муну предстояло снова следовать по пути совершенствования в доме бабу.

Он быстро свернул в сторону от банка и без цели побрел по переулкам, пряча от встречных распухшее, заплаканное лицо. Сначала он был не в силах размышлять.

— Ненавижу, ненавижу, — бормотал он, задыхаясь и вспоминая дядю. — Сын суки! Я тебя ненавижу!

И он стискивал зубы, словно старался вложить действительную силу в мысли о бунте, которыми был одержим.

— Я убегу, — бормотал он. — Я просто исчезну отсюда, от этой женщины и Дайя Рама! И они хватятся меня, глашатай будет бить в барабан и ходить по всему городу, разыскивать, но меня не найдут. И поделом им! Но у меня нет денег. Ничего нет. Где я добуду пищу, если убегу? И потом они могут изловить меня и опять привести сюда! Тогда они изобьют еще страшнее.

Воробьи в канавах на Улице Ткачей обвиняюще чирикали.

Он не слышал ни журчанья воды, ни болтовни женщин, сплетничавших на своих крыльечках, пи гуденья их веретен, ни крика детей, которые играли в жмурки.

Его охватило чувство дурноты, во рту был странный вкус, под ложечкой мучительно сосала тоска обманутого голода; наконец, он сделал гримасу, словно приняв отвратительное лекарство, и направился домой.

Бибиджи не было. Он раздобыл себе постель и лег, стараясь забыть во сне о своих несчастьях. В его голове проносились мысли, буйные мечты о мести дяде. «Я с него живьем кожу сдеру, — говорил он себе. — Я его спящего разорву на клочки. Я убью его!» Но прохлада земли освежила ему голову и успокоила бунтующие чувства; он, наконец, уснул. И, спящий, он был похож на безжизненный труп, на воду, чья поверхность не-

движна, хотя под поверхностью и бурлила его душа.

Все же несколько дней спустя к нему вернулась прежняя беззаботность, энергия, вкус к жизни, огонь — тот огонь, который теплился в каждой клетке его организма, вспыхивая от всего, что он видел и слышал вокруг себя.

— Как поживаете, отец? — насмешливо обратился он однажды к Варме, рослому подростку из касты браманов, служившему по бедности у помощника судьи. Сейчас он завладел водопроводной колонкой, так как был сильнее всех окрестных мальчигов-слуг.

Муну был сегодня в отличном расположении духа, — утром бибиджи не очень бранила его.

— Не тывкай, грязный горец, — сказал Варма, скривив грубое, чувственное лицо. Он вечно хвастал своей силой и благочестием. — Ну, как твоя хозяйка? Все еще ругается или дает тебе соски своих прекрасных грудей, чтобы ты высасывал из них молоко человеческой доброты?

— Замолчи, — сказал Муну, краснея, и вдруг возмутился. — Неужели тебе не стыдно? Я ведь про твою хозяйку ничего не говорю! — И он разозлился на себя за то, что мог балагурить с Вармой.

— Что ж ты раскипятился? Видно, она и вправду подарила тебе свою благосклонность и стала твоей милой! Уж я вижу! Вот почему она так ругает тебя, а ты терпишь!

— Замолчи! — огрызнулся Муну. — И убирайся отсюда! Дай мне налить воды в кувшин. Вот уже несколько часов, как ты один тут хозяйничаешь!

— О, взгляни-ка на этого горца, — сказал Варма другому слуге, Лэхну, жившему по соседству, тонкогубому, остроносому браману одного с ним возраста и так же мало преуспевавшему в жизни. — Он не желает, чтобы я восхвалял его госпожу. А она весь день пинт его. Не кажется ли тебе, что он влюблен в нее?

— Пусти, я накачаю воды, — сказал Муну и подошел к колонке.

— Дай-ка ему разок, — сказал Лэхну. — Он, видно, очень гордится своей силой. А я знаю, отчего он задается: он крадет деньги, которые хозяева дают ему на покупки. На-днях я видел, как он жрал сласти в магазине Багу.

— Вранье, — сказал Муну, оскорбленный этим обвинением. — Дай мне накачать воды и уйти.

— Заторопился! — сказал Лэхну. — Это после того как назвал меня лгуном... Дай-ка ему разок, Варма.

Варма оттолкнул Муну, который смотрел на Лэхну, обессилев от ярости. Загородка вокруг колонки и земля возле крана были покрыты мхом и зеленой слизью, Муну поскользнулся и упал. Однако тут же вскочил, подбежал к Варме и вызывающе выпрямился перед обнаженным стройным противником. Его глаза сверкали.

— Ударь-ка меня сейчас, когда я на тебя смотрю, — крикнул он. — Ты, подлый браманский пес!

— Посмотри, вот задается! — сказал Варма, загораживая колонку.

— Разве это колонка твоего отца, что ты забрал ее себе и часами никого не подпускаешь? — крикнул Муну.

— Дай-ка я хорошенько проучу его, — и Лэхну выступил вперед и стал тащить его прочь, вывертывая ему руку. Варма ногой наподдал сзади.

Муну стряхнул с себя руку Лэхну и словно тигр бросился на Варму. Он обхватил тело врага вокруг талии и уже собрался швырнуть его в пропасть колодца, но в решительный миг опомнился, испугавшись, что убьет его, и ослабил хватку. Варма выскользнул из рук Муну и звонко ударил его по лицу. Подошедший Лэхну дал Муну правой ногой подножку, и тот ударился головой о кирпичный фундамент.

Муну снова вскочил на ноги. Варма теперь вооружился поленом, которым он выбивал одежду. И Лэхну угрожающе надвинулся на Муну.

С яростью, которую удвоенная опасность как будто разжигала еще более буйным пламенем, набросился Муну на Варму, ухватил его за пояс и поднял над собой. Затем отнес шагов за двадцать от колонки и швырнул на-земь.

Когда он вернулся, оказалось, что Лэхну исчез.

Муну приставил узкое горло медного сосуда к крану и слушал, как вода, журча, бежит в барабанообразное чрево посудыны. Он уже забыл о своей расправе с Вармой, рассматривая весь инцидент как единоборство и соревнование в силе, лишённое злого умысла. И стоял задумавшись.

Но тут сзади к нему на цыпочках подкрался Варма и ударил его поленом. Муну круто обернулся и отразил удар, подняв руку. Варма нанес второй удар и на этот раз угодил

Муну прямо в лоб. Муну старался вырвать у него полено. Но Варма начал беспорядочно размахивать им во все стороны, и всякий раз, когда Муну пытался схватить его, оно выскальзывало. Вдруг Муну подпрыгнул и схватил Варму за священный чуб, развевавшийся на его макушке, дернул и заставил парня разжать руку с поленом. Затем вырвал полено и швырнул в колодец.

Он услышал, что вода уже льется через край его кувшина. Бросив Варму, он побежал с залитым кровью лицом к веранде своего дома.

— Беги, спрячься у своей хозяйки... — кричал Варма ему вслед.

— Пожиратель своих хозяев! Где это ты пропадал? С кем подрался? — встретила его бибиджи.

— Ни с кем, — односложно ответил Муну, ставя ведро на кухонный пол. Он подбежал к очагу, схватил горсть золы и приложил к ране на лбу, с которого кровь текла струей.

— Вай! Вай! Покажи мне, где ты ранен? — закричала она взволнованно. — Посмотри, у тебя все лицо в крови! Это развратник Варма поколотил тебя? Разве я не просила тебя не водиться с ним? Он гадости говорит, а ты и уши развесил! И поделом, нечего дружить с такими, как он.

— Пустяки! Пустяки! Маленькая ссадина! — сказал Муну, убегая.

— Посмотри на него! Посмотри на него! — сказала бибиджи, входя в гостиную, где ее деверь гладил себе воротнички. — Посмотри! — воскликнула она, — он подрался и ранен в голову!

— Поди-ка сюда, охе Муну! — позвал молодой бабу.

— Да, бабуджи, — ответил Муну. Он побледнел, его мутило, но он нисколько не беспокоился о своей ране.

— Подойди и покажи голову, — сказал доктор.

— Все в порядке, бабуджи, — спокойно ответил Муну.

Он был уверен, что прикладывать к ране землю или золу, как рекомендовали деревенские цырюльники, лучшее средство.

— Да иди сюда, дуралей, — приказал бабу смеясь. — От золы рана только загрязнится. Покажи, что у тебя.

Муну пришлось покориться и подвергнуться осмотру.

Прэм нашел, что рана опасная, почти до кости. Он зажег примус и нагрел воды. Затем промыл рану и забинтовал ее.

От примуса пахло керосином, от бинта лекарством, и Муну стало дурно.

Прэм Чанд уложил его в углу.

Когда забвение сна стало застилать ему глаза туманом и боль своей тяжестью сомкнула ему веки, он услышал громкую брань бибиджи, на этот раз не по его адресу, а по адресу Вармы и его господ:

— Пожиратели своих хозяев! Головы до небес задрали! Думают, если они добились положения, так им все позволено! Хоть мы и не получаем такого жалования, как они, но нисколько не хуже их, ни на каплю! Если они задаются, так пусть задаются у себя дома, а мы тоже у себя дома...

Жена судьбы выскочила на крыльцо и, в

свою очередь, бранила бибиджи: — Эти презренные бабу совершенно обнаглели! Пусть только муж вернется, он покажет им, как оскорблять стоящих выше их! Псы! Свиньи! Подумаешь! Завели себе слугу, какого-то нестесанного мальчишку с гор, и важничают!

Ответные слова его госпожи донеслись до Муну уже смутно и словно издалека; он впал в тревожный сон.

Беззвучно шелестела только речь его прерывистого дыхания, мягко проходившего через ноздри и возвращавшегося обратно с ответом, что в теле еще есть жизнь.

В дни его заточения в кухонном углу бибиджи мало заботилась о Муну, но молодой бабу каждое утро перевязывал ему рану, а Шейла молчаливо смотрела на действия дяди с детским любопытством и сочувствием.

Когда первый приступ жара оставил его и рана вызвала прилив крови, боль стала мучительной. Его трясла лихорадка, он горько плакал и стонал, и стоны все усиливались, доходя до крика.

Временами его посещал бред. Все темнело вокруг, как небо ночью, кроме нескольких ярких звезд мысли, одиноко вспыхивавших среди обступившего мрака. А в барабанные перепонки неустанно билось ревящее пространство. Муну дрожал, свернувшись комочком в своем углу. Его чувства угасли. Его тело было глухо ко всему окружающему, и время сжалось в одно бесконечное мгновение.

Лекарство, данное ему Прэмом, наконец, вызвало пот. После этого, где-то в глубине

своего существа, по ту сторону пустоты, он начал ощущать поток подсознательных впечатлений. Затем мозг стал воспринимать окружающие предметы, как и до болезни.

Но когда Муну пришел в себя, ему показалось, что из веков забвенья он вынырнул словно волна, встающая наперерез прибою, она вздрагивает от удара о другие волны, отбегает назад, рассыпается и вырастает вновь, выставляя на поверхность седую голову.

Рассвет новой жизни был как луч, осветивший все эпизоды его пребывания в этом доме. Он вспомнил совет, данный ему дядей, когда они пришли сюда впервые. В его памяти вновь оживали пережитые им тогда предчувствия и тревоги. Его обступали тени былых волнений. Да, дядя утаил от него ожидавшие его трудности, он скрыл истинное положение дел за смутными обещаниями. Муну и не учили вовсе домашнему хозяйству. Его госпожа только и знала, что бесилась. Как она неистовствовала, когда он разбил сервиз! Молодой бабу был единственным добрым человеком в этом доме. Он умел надо всем пошемяться!

Муну смутно помнил, что дядя заходил проведать его. Но дядю он, ненавидел. Он всех ненавидел, кроме молодого бабу и, может быть, Шейлы. Она была ласкова и большая причудница. Как она поддразнивала его! «Поди сюда, обезьяна, поди сюда и съешь свою пищу», — говаривала она. В этом была и насмешка, и ласка, и интимность. За это он любил ее. Он также любил смотреть на нее. Он видел ее в своем воображении после купанья, видел сквозь прозрачный покров

кисейного дхоти, облепившего ее, — это тело словно из бледной бронзы, с мягкими отблесками света на стройных подвижных членах, и свет становился вспышкой веселого смеха, озарявшего ее то задумчивое, то оживленное лицо. В детстве ему говорили, что в каждой женщине он должен видеть мать или сестру. Шейлу он звал в своем воображении «сестра». Но ее образ возвращался все вновь и вновь, вызывая желание играть с ней, и Муну перестал звать ее сестрой. Он только стыдливо склонял голову всякий раз, как видел ее наяву или в мечте, так же как склонял ее ранней весной при виде плодов, созревающих в чужом саду; и легкий отблеск жаждущей улыбки появлялся на его темных губах. Но этот полуосознанный вздох нежности прерывался другой мыслью, другим желанием — ведь он знал, что его любовь, все равно, безнадежна. Если бы только иметь деньги, если бы бабу не отдавал заработанного им жалованья дяде Дайя Раму, он копил бы, а потом убежал и стал бы продавцом пряников, как тот мальчик, что сидит у дверей школы, где учится Шейла, и зарабатывает рупию в день. «Деньги — это все», — изрек дядя, когда Муну пришел сюда. «Действительно, деньги все», — думал Муну. И он впервые задумался над разницей между ним самим, мальчиком-бедняком, и его господами, богатыми, между бедняками в его деревне и отцом Джея Сингха, землевладельцем.

Он увидел ссохшегося, как скелет, старика Гангу, семидесятилетнего дедушку его школьного товарища Бишама; старик батрачил на полях тех, кто соглашался нанять его. Он

вспомнил исхудавшее лицо матери Бишамбара, которая жгла уголь для землевладельца. Смутно помнил он ввалившиеся глаза своего отца, с нежностью смотревшего на него перед тем как «уснуть в последний раз». Он ощущал до сих пор тепло материнских колен, на которых он лежал, когда она вращала жернов все кругом и кругом, кругом и кругом, пока не зачахла и не умерла. Без этого тепла он чувствовал теперь такую пустоту, словно оно служило покровом его телу. В его деревне было много бедняков и только один или два богача. Он спрашивал себя, неужели все эти бедняки умрут так же, как и его родители, и оставят за собой такую же тоскливую пустоту? Конечно, в городе, видимо, больше богатых, чем бедных. Но ведь на один город приходится сотни деревень, и, если в каждой столько же бедняков, сколько в его, то выходит, что бедных на свете все-таки гораздо больше, чем богатых.

«Должно быть, и существуют только эти два рода людей. Каста не играет роли. Я кшатрий, и я беден, Варма — браман, и тоже слуга, потому что беден. Нет, каста не играет роли. Бабу — такие же сволочи, как и сахибы, и все слуги похожи один на другого. Да, на свете, видимо, существуют только два рода людей: богатые и бедные».

Его размышления были прерваны едким дымом, поднимавшимся от очага: там, между двух кирпичей, лежали поленья и никак не хотели разгореться, хотя он дул на них изо всех сил. Тоскливый блеск его глаз затуманился — дым щипал ужасно. Он потер глаза и выдавил из них воду. Его душу наполнила

смутная обида на этот дурацкий дым. Он чуть не заплакал. Его воля была подорвана болезнью.

По мере того как к нему возвращались силы, ему приходилось возвращаться к прежнему кругу обязанностей: мытье посуды, чистка овощей, подметание пола, уборка постелей, подача к столу, к тому же — выполнение всего, чего каприз хозяев мог еще от него потребовать.

С выздоровлением в его теле снова появилась особая пылкая живость и жизненная энергия: они выражались вихрем бурных движений, которыми он реагировал на всякое чувство и впечатление. Он смеялся, пел, плясал, кричал, скакал, кувыркался с неудержимым пылом самой жизни, сметая преграды, отделявшие его от вышестоящих, одной только кипучестью этих неосознанных жизненных сил, одним только подлинно человеческим жаром этих порывов.

Врожденную живость Муну и склонность к проказам не могли ослабить ни наказания, ни брань, ни даже физическая боль. Эти кипевшие в нем силы, зачастую искавшие выхода в вихре бурных движений, навлекали на него всякие беды.

Однажды, под вечер, он сидел и чистил картошку. Вернулась из школы Шейла с подругами, и девочки прошли в гостиную. Его госпожи не было дома, она сплетничала с соседками. Муну спешно дочистил картошку, в надежде, что ему удастся поиграть с девочками.

Когда он мыл руки, он услышал, что запел голос в ящике. Вот и отлично, решил Муну. Он войдет в гостиную, спляшет обезьяний танец, позабавит детей, и они, наконец, позволят ему поиграть с ними, не то что на-днях, когда они, по приказу бибиджи, прогнали его.

Бурей ворвался он в гостиную и начал на четвереньках скакать по комнате, напугав девочек, с увлечением исполнявших номер классического балета, который они разучивали в школе; они разбежались по углам.

— О, лучше уходи отсюда, — робко сказала Каузалия.

— Мы не хотим играть с тобой, — сказала Шейла. — Мама не велела нам.

На самом деле он нравился ей и ее забавляла его смешная пляска. Она охотно поиграла бы с ним, но запрещение матери крепко засело в ней и создало между мальчиком и ею искусственную преграду. Шейле хотелось прикоснуться к нему. Она подошла и, схватив его за ухо, потащила по комнате.

Он не сопротивлялся. Девочки визжали от смеха.

Но Шейла тянула за ухо пребольно. Тогда он обернулся и бросился на нее, рыча и скрипя зубами, как настоящая обезьяна. И вдруг, не сознавая, что делает, Муну укусил ее в щеку.

— Мама! Ой, мама! — закричала Шейла. Но мать не слышала.

Каузалия побежала за ней.

— Мама Шейлы, ни, мама Шейлы! Посмотрите, что этот грубый мальчишка сделал с вашей дочерью.

Прибежала бибиджи.

При виде Шейлы, растиравшей щеку, ее лицо помертвело от бешенства.

— Покажи, — закричала она, — покажи мне, дитя, свое лицо.

На нежной коже цвета слоновой кости в месте укуса темнел синяк.

— Я ведь только играл, бибиджи, — заявил Муну, предвидя грозу и тщетно ища спасения.

— Вай, ты, пожиратель своих хозяев! Чтоб ты высох! Чтоб корабль твоей жизни никогда не плавал по морю бытия! — начался шквал заклинаний. — Чтоб ни тебе, ни твоим предкам не знать покоя в могиле! Как ты смел покуситься на честь моей дочери! Ведь она ребенок! Маленькая девочка! Ты, похотливый теленок! Разве мы знали, что берем к себе мерзавца, негодяя! Пусть только бабуджи домой придет! Тебя арестовать надо! Взгляни, взгляни на мою дочь. Ни стыда у тебя, ни уважения! О ты, осквернитель моей соли! Не просила я разве тебя: оставь моих детей в покое! не играй с ними! Кто ты, чтобы водиться с детьми своих господ? Пригрели змею! Молоком ее поили! А она взяла да и ужалила! Пусть только придет дядя твой, Дайя Рам! Непослушная дрянь! Я же сказала тебе — ты не нашего круга! Отец моих дочерей — важный бабу, а кто твои родители — я даже не знаю, какое-то отребье! А наше доброе имя! Наша репутация! И мы еще ухаживали за тобой, когда ты расшиб себе голову, играя с этим мальчишкой-браманом! И я еще жалела тебя! Теперь остается одно: отправить тебя в полицию!..

— Что случилось? В чем дело? — Ссутулившись, вошел бабу Нату Рам; его голова была опущена, кисло скривившееся лицо выражало усталость и приниженность.

— Что случилось? В чем дело? — повторила бибиджи. — Да во всем! Этот пожиратель своих хозяев, чтоб он высох, чтоб он сгорел, чтоб...

— Ну, так в чем же дело все-таки? В чем? — повторил бабу раздраженно и нетерпеливо.

— Говорю тебе, у меня сердце горит! Этот осквернитель моей соли укусил Шейлу в щеку! Поистине, черные времена настали! Такой сопляк! Родиться не успел, а уже покушается на честь дочери своего господина! Боги!

— Ах ты подкидыш! — И бабу так нахмурил брови, что они слились с морщинами, бороздившими его лоб, в одну грозную черту. — Что ты на это скажешь?

Муну стоял перед ним, опустив голову, его щеки пылали, сердце замирало. Он молчал.

— Смотрите, люди, мир потонул во тьме, смотрите... — вопила бибиджи.

Бабу приблизился и поднял руку, чтобы унять жену и одновременно ударить мальчика.

— Отчего, свинья, отчего ты не отвечаешь?

— Я, бабуджи, просто поиграть хотел, — сказал Муну, боязливо взглянув на бабу.

— Поиграть хотел? Ах, ты поиграть хотел? — проскрежетал бабу. — Сын суки!..

И он ударил Муну по щеке костлявой тяжелой рукой и дал ему несколько пинков блестящими сапогами, теми самыми сапогами, которые были для мальчика мечтой жизни.

— Простите меня, бабу, простите меня! — высоким фальцетом кричал Муну, едва удерживаясь на ногах.

— Простить тебя! — сказал Нату Рам, замахнувшись тростью. — Да, еще бы не простить тебя, грязная собака. Увидишь, как я прощу тебя.

— Оставь его, это неблагодарный негодяй, — сказала бибиджи.

— О, простите, о, простите, только простите, — стонал Муну в сгущавшихся сумерках.

Избитая собака прячется в угол, избитый человек стремится убежать.

Едва семейство бабу, оставив опозоренного Муну в гостиной, удалилось в кухню, как он выскользнул из дому. Он побежал вниз по аллее, миновал банк, большие дома, архитектура которых говорила о состоятельности их владельцев, и спустился на площадь, где находился обширный многолюдный базар. Свет электрических фонарей, керосиновых ламп и маленьких светилен в глиняных сосудах придавал нагромождению магазинов и лавчонок уродливые очертания. Глазам мальчика, полным слез, было больно от блеска огней, и взгляд его облегченно погружался в темноту пустынных переулков. Но в глазах людей, густыми толпами наводнявших базар, ему мерещились еще более опасные огни. И он глядел только на их фигуры, на то, как они воздевают руки, крикливо переговариваются, мотают головой, неистово жестикулируют и снуют взад и вперед. Он жаждал тишины, мрака, чтобы хоть немного опомниться. Ему

хотелось уйти как можно дальше от этой толчеи, от этих человеческих существ, от их пунцовых тюрбанов, белых и черных плащей, от алого шелка и переливчатого муслина, которые непрерывно шелестели вокруг него. Ему хотелось погрузиться в бездну, забыть, стереть всякую мысль об унижительном избении. Он торопился пройти базар, шел большими шагами, слегка подпрыгивая, затем просто побежал. Пот ручьями струился по его телу.

Наконец он выбежал на большую дорогу. По сторонам чернели хибарки, затененные рваными джутовыми навесами с широкими щелями, и несколько запертых лавок, окутанных густыми тенями.

За ними, во мраке, едва проступал сводчатый вход на кладбище. В глубине, на некотором расстоянии друг от друга, горели небольшие вязанки дров — это сжигали умерших. Здесь все было тихо, все неподвижно. Муну, охваченный ужасом этого молчания, стал что-то шептать, чтобы придать себе бодрости.

В сточной канаве две бродячих собаки рвали зубами какую-то требуху. Муну наткнулся на них и отпрянул. С близкого вокзала, из мрака, донесся свисток паровоза. Сердце Муну дрогнуло, словно почуввав освобождение. Он вышел к дальнему концу железнодорожной платформы.

Словно безумный бежал он теперь вдоль стены кладбища, тянувшейся позади железнодорожных строений; затем перелез через какую-то железную решетку. Ему казалось, что его преследует привидение или сторож.

И вот он уже на территории вокзала. Муну решил перейти широкую сеть железнодорожных путей, где чудовищные тела паровозов словно угрожали ему мгновенной смертью.

Но красные и зеленые огни указывали дорогу.

Вдруг он задел за какой-то провод и упал пичком на рельсы. «Сейчас задавит», — решил мальчик, хотя ближайший паровоз пыхтел шагах в двухстах от него.

Далекий свисток заставил его вскочить на ноги. Он побежал к длинному ряду вагонов, различимому во мраке только по черным четырехугольным провалам между ними. Он стал быдо карабкаться по толстым досчатым ступенькам. Но свет красно-зеленого фонаря в руке невидимого человека вновь напугал его. Он сорвался и выругался. К счастью, фонарь удалялся.

Он снова влез по ступенькам и прыгнул в зиявшее окно дверцы, как прыгнул бы тигр в черноту пропасти, спасаясь от безмолвно преследующего его охотника. Он упал боком на жесткую скамью. Острая боль пронизала его ребра. От боли, от разгоряченного бега, от духоты в вагоне он почувствовал дурноту...

Он лег на пол, прижал руку к ушибленному боку и рукавом стал отирать с лица липкий пот.

Никогда еще не был он так одинок, так бесконечно одинок, как в эти долгие-долгие минуты в пустом пыльном вагоне.

Он распахнул плотную куртку, и воздух слегка остудил его тело. Где-то бился о стекло и гудел залетевший жук. Было пусто, душно и мрачно.

Внезапно к вагону прихлынул топот многих ног. Люди, крича, ворвались между скамеек, и вокруг Муну тяжело стали плюхаться узлы и чемоданы. Мальчик заполз поглубже под лавку и прижался лицом к полу, чтобы хоть чем-нибудь освежить лоб в этой раскаленной мгле.

Шум вокруг него стал распадаться на отдельные звуки. Раздавались возгласы: — Где ты, ала Дуд Кхана?.. — Как вы устроились, Дэви Сингх?.. — Лала Чуранджи Лал, достали место?

Поезд тронулся. Мальчик был бы не в силах дышать вонью всех этих чужих дыханий, но в окна уже врывается чистый ветер полей.

Муну не знал, куда идет поезд, но был благодарен судьбе за то, что этот поезд его куда-то везет.

Глава третья

— Ох... ох... — кряхтел сет Прабх Диал, сясь вытащить свой узел из-под лавки. Это было в вагоне третьего класса почтового поезда, который, покачиваясь, тащился из Шам-Нагара в Даулатпур.

Сет, широкоплечий, рослый уроженец Кангры, скорее похожий на солдата, чем на торговца, с трудом преодолевал сонливость. Ночь он просидел, неловко скрючившись, на деревянной скамье битком набитого вагона и начал собираться задолго до прихода поезда к месту своего назначения.

Сет шумно вздохнул и вытер лицо.

— Ох-хо-хо... — закряхтел он снова. Узел казался почему-то тяжелым, как свинец.

Он тащил, все больше и больше напрягаясь, и, наконец, к своему испугу и удивлению, вытащил спящего Муну, который провел ночь среди чемоданов, деревянных картонок, свернутых постелей и тюков всех видов, начиная от разобранных кроватей, закатанных в матрацы, и кончая растрепанными пакетами с пищей, узлами с платьем и всяким хламом, увязанным в куски материи.

— Рам ре Рам! — воскликнул сет; по его бледному открытому лицу, отененному густыми черными усами, поползла широкая усмешка.

— С чего это вы веселитесь в такую рань? — пробурчал Ганпат, компаньон сета, человек с темным козьим лицом, худым и насмешливым. Он лежал на мешках, набитых товаром, и тщетно пытался заснуть.

— Ла хол валла! — удивился крестьянин-магометанин, глядя на Муну, лежавшего комочком у ног Прабх Диала. — Что это за мальчик? Ах, ты, сын Эблиса!

— Вах гуру! Вах гуру! — пробормотал изумленно крестьянин-сикх. — Неисповедимы пути Вах гуру!

— Да он жив или умер? — ахнула сидевшая на полу женщина, вынимая грудь, чтобы покормить ребенка, которого она держала на руках.

Заинтересовались и другие пассажиры; приоткрыв в утренних сумерках глаза, они с удивлением разглядывали неожиданное зрелище.

— Что это за мальчик? Как он сюда попал?

Муну не мог выжать из себя ни слова. Он онемел от ужаса.

Когда Прабх Диал выволок его из-под лавки, Муну был во власти кошмара, ему снилось, что его тело топчут слоноподобные великаны и хлещут бичами могучие двурогие дьяволы.

— Неисповедимы пути божьи, это правда, — сказал Прабх Диал, больше обращаясь к самому себе, чем к окружающим. — Хорошее предзнаменование. Как будто горец!

— Радуйтесь! — насмешливо заявил Ганпат. — Вот вам и новоиспеченный сын. Можете теперь не беспокоиться о травах, которые вы хотели достать для своей жены, или, вернее, для себя, — закончил он язвительно.

— Как тебя зовут? Откуда ты? Чей ты сын? — спрашивал Прабх Диал на наречии горцев, которое он не забыл, хотя ушел из дому в ранней молодости и давно уже жил в городе Даулатпуре, где постепенно пробивал себе дорогу и от уличного кули дошел до владельца фабрички по переработке плодов.

— Муну звали меня в Биласпуре и Мунду в Шам-Нагаре, — начал Муну, словно наречие горцев, на котором с ним заговорил Прабха, вдруг развязало ему язык. — Мой отец умер, а потом умерла и мать. Мой дядя — он чапраси в шам-нагарском банке — поместил меня слугой к одному бабу. Вчера бабу избил меня, и я убежал.

При этом ему снова стало страшно и грустно, его лицо против воли сморщилось, и он заплакал.

Застыдившись, он начал тереть глаза кулаком, стараясь скрыть свои слезы от присутствующих.

— Он битхот тиккус¹. — сказал студент-индус, стараясь говорить с английским акцентом, чтобы, с одной стороны, произвести впечатление на неграмотных крестьян, а с другой — оправдать свой костюм, нелепую смесь английского с индусским: выцветший галстук в пятнах, бархатная куртка, короткие штаны цвета хаки и огненный тюрбан.

— Может быть, взять его с собой?

— Мы же не знаем, кто он, — отозвался Ганпат. — А вдруг он жулик, вор? Нам, конечно, нужен еще мальчик. А он, повидному, будет рад, что его кормят, и мы можем ничего не платить ему.

— Хочешь к нам, Муну? — спросил Прабха. Словно не слыша слов своего компаньона, он ласково гладил темные волосы мальчика, отенявшие длинными прядями его лицо цвета пшеницы. — Хочешь? Я сам из Хамирпура, это недалеко от Биласпура; тебе будет хорошо у нас.

Муну кивнул головой, но не ответил, охваченный сомнениями. Он еще не думал о том, что будет делать, так как с минуты своего бегства был целиком во власти одного только страха, как бы его не поймали и не вернули обратно.

Сет Прабх Диал похлопал мальчика по спине: — Идем, идем, будь хорошим мальчиком. Вытри глаза, говорю, — тебе будет хорошо. Смотри, мы уже подъезжаем к Даулатпуру.

Он снял левую ногу со скамейки и втиснул рядом с собою Муну. Сет Прабх Диал

¹ Искаженное до неузнаваемости английское выражение.

решительно чувствовал к нему нежность. Мальчик казался ему родным, словно это был его нерожденный сын.

Он попытался представить себе его родителей: «Наверно бедняки, все горцы бедняки». Прабха вспомнил своего отца и мать, умерших без него в Хамирпуре, когда он был в Даулатпуре: его заработка кули нехватало даже на то, чтобы им всем два раза в день поесть рису. Как хотел бы он, чтобы они были еще живы и могли пользоваться тем достатком, который он имел благодаря фабрике! Прабха подавил вздох, стараясь забыть о невозможном. Нет, положительно этот мальчик похож на него самого. И, вероятно, он так же будет горевать о своих родителях. Так всегда бывает в бедных семьях.

— Ты учился в школе, охе Муну? — ласково спросил Прабха.

— Да, я был в пятом классе, когда дядя увел меня в город.

— Что ж, вот вам и счетовод, — съязвил Ганпат, очнувшись от дремоты.

— Да, — сказал Прабха, спокойно принимая вызов, — мы сделаем его нашим клерком.

— Клерком? Вы, видно, хотите ему сразу голову вскружить, — продолжал Ганпат, — этому соблазнителью своей дочери! Он и шагу ступить не успел, а вы уже собрались усыновить его и сделать его клерком. Ведь вы даже не знаете, кто он. Вернее всего, он просто вор, этот беглый бездельник!

Прабха смиренно улыбнулся. Он явно робел перед своим компаньоном, но продолжал обращаться с мальчиком по-отечески.

Поезд шел предместьями Даулатпура. Муну

смотрел в окно. Проплыли мимо купола храма, сверкнув золотом на фоне широколистных банановых деревьев, мелькнули группы нагих людей, — одни носили воду из колодца и затем выливали себе на голову, другие растирали друг друга маслом, третьи боролись. Но картина эта пронеслась так быстро, что Муну даже не успел рассмотреть ее. Он приготовился к следующей: мечеть с четырьмя минаретами, и белая фигура в зеленом тюрбане, видимо мулла, который зазывал молящихся. Затем перед ним потянулись вереницы городских домов с плоскими кровлями. Около рельсов стоял стрелочник в синей форменной одежде и размахивал зеленым флажком, а позади, на перекрестке, перед палатками и ларьками уже толпились суетливые горожане, и купля-продажа была в самом разгаре. Муну с любопытством следил за автомашинами и повозками, катившими в клубах пыли по шоссе вдоль железнодорожной линии. Дым из трубы, возвышавшейся над стеной, на которой огромными буквами было написано на индустани: «Заводы содовых вод», увлек его взор выше, за нефтяные цистерны «Бирманской нефтяной компании», и там, не похожая ни на что виденное им до сих пор, появилась гудящая птица, удивительная стальная птица с прямыми крыльями, оставлявшая за собой на безоблачном синем небе длинный хвост белого дыма. Когда взоры мальчика вернулись на землю, за окном уже тянулись долгие мили даулатпурских улиц, и тогда, словно подавленный обширностью этого каменного мира, он обратился к собственным мыслям. Но мыслей не было, только

сердце трепетало от волнения, как оно трепетало от страха и радости, когда он увидел впервые Шам-Нагар. Это был страх перед неизвестным, таившимся в недрах города, и окрыляющая надежда на лучшую жизнь.

Кусок рваной парусины прикрывал сверху остов высокой бамбуковой повозки, в которой Муну, стиснутый Ганпатом, Прабхой и еще четырьмя седоками, ехал с вокзала. Поэтому ему не пришлось увидеть базары Даулатпура. Единственное, что он разглядел, были несколько лавок у входа в переулок Кошкодавов — екка остановилась на углу, — узкую, грязную улочку, заваленную отбросами, гнившими в сточных канавах, и зажатую двумя рядами трехэтажных домов. Следуя за Прабхой и Ганпатом, он скоро поравнялся с открытыми бараками и очень смутился, увидев в них множество полунагих женщин, занятых выделкой горшков и блюд из сухих листьев, которыми индусы пользуются вместо обычной посуды на торжественных праздниках и в которых хранят пищу. Взглянув на этих женщин, он решил, что все они, должно быть, пришли с гор. И действительно, женщины приветствовали его благодетелей на горном наречии: «Джай дэва, сетжи. Хорошо и благополучно ли доехали вы обратно? Все ли здоровы дома?» — На что Прабха ответил, сложив руки: — Падаю к ногам вашим.

Через большую входную дверь какого-то дома он прошел во двор, окруженный тесными темными закутами; здесь множество других горянок тоже было занято выделкой гор-

шков из листьев. Прабху и Ганпата сейчас же окружили старухи и молодые девушки, они сердечно приветствовали их и расспрашивали о подарках, привезенных ими с гор.

Муну смутился, когда Прабха, улыбаясь, указал на него как на единственный подарок.

Затем они поднялись по десяти широким ступеням в огромную комнату, выходящую окнами во двор, и Муну очутился лицом к лицу с простой скромной женщиной. При виде его в ее глазах заискрилась нежность, и он решил, что это и есть жена Прабхи. Она была бледна и молчалива, но та чудесная ласковость, с которой она подошла к Муну и, даже ни о чем не спросив, обняла его и погладила по лбу, сразу внушила ему доверие: он почувствовал — это обычно передается в первый же короткий миг, — что от этой горянки исходит подлинное сердечное тепло.

— Падаю к ногам вашим, сноха, — насмешливо процедил Ганпат.

— Да будет ваша жизнь долга, — приветливо ответила Парбати и шутливо продолжала: — Не взяли себе еще горяночки в жены?

— Нет, но привезли вам готового сына, — ответил он насмешливо.

— Вижу, — сказала она, прижимая к себе Муну, и замолчала. Затем обратилась к мужу: — Сейчас обед будет готов. Не хочешь ли пока искупаться, а потом сразу ляжешь отдохнуть и отоспишься после дороги?

— Ладно, — сказал Прабха ласково, но сдержанно, как полагалось по-индусскому обычаю мужу разговаривать с женой.

И, расставив койку с натянутым холстом,

прислоненную к стене, он бросил на нее свои узлы и предложил Муну присесть.

Сумрак просторной комнаты казался особенно прохладным после изнуряющего зноя на дворе. Муну отер с лица пот, недоумевая, где же фабрика.

Его мысли были прерваны хозяйкой, предложившей ему стакан шербета.

Прабха отвел его в кухню, к каменному ча-ну, чтобы он искупался. Затем хозяйка подала еду — рис, простой и подслащенный, горох, овощи и тамариндовые пикули, словом, все, о чем Муну так скучал в доме бабу; было и несколько городских кушаний — мучные оладьи с молодым сыром и кара паршад. Это был самый роскошный обед, который он ел с поминальной трапезы, устроенной теткой в годовщину смерти его отца и матери, за три месяца до его ухода в город.

Желудок мальчика был полон, разгоряченное тело овевала прохлада, он вытянулся на койке и мгновенно заснул.

Когда Муну проснулся, день клонился к вечеру.

— Сойди-ка вниз, — сказал Прабха, куривший кальян из кокосовой скорлупы, — и посмотри фабрику. Вон вход. Кто-нибудь спустит тебя.

Муну подошел к небольшому окошку в углу комнаты и посмотрел вниз. Он колебался. Спуск в это темное преддверие фабрики, уходящей куда-то в недра земли, эта странная черная зияющая дыра, здесь, среди высоких городских домов, пугала его. Окно выходило в колодезь, и Муну боялся, что сорвется куда-то в пропасть.

Однако он продолжал рассматривать колодец со свойственным ему живым и наивным любопытством. Внизу под навесом из волнистого железа чернели пасти двух пещер, выходивших на маленький дворик. С одной стороны двора три печи пылали под огромными дымящимися чанами. С другой, в особой нише, под штабелями дров, тянулся длинный помост с захватанным грязными руками негосгораемым шкафом, побуревшими счетными книгами, чернильным прибором из папье-маше и пузырьком чернил. Рядом с печами были наставлены большие бочонки — одни с медными бутылками, другие с мокнущим инбирем. Узкий проход кончался маленькой дверью, которая открывалась в тупичок.

Прикосновение человека, который вытащил Муну через окно и доставил на фабрику, вызвало в мальчишке тошноту. Это было массивное расплывшееся существо с мясистым тупым лицом. Большие грязные руки и ноги были покрыты мозолями и резко выступавшими вздутыми припухшими венами. «Верно, у него проказа», — решил Муну, так как на смуглой коже рабочего белели пятна. Во всей его фигуре, едва прикрытой домотканой рубахой и набедренной повязкой, было что-то, говорившее о слабоумии, об идиотизме.

Муну невольно отскочил подальше, когда идиот опустил его на помост и, улыбаясь, устался на него.

Затем он услышал голос Ганпата:

— Продолжай свою работу, охе Махарадж. Муну понял, что должен уйти.

Обиженно направился он к пещерам.

Однако здесь он наткнулся на полуголого

коренастого парня с воспаленными глазами и землистым лицом. Парень стоял возле входа в одну из пещер, лицом к печам, и подозрительно смотрел на мальчика. Муну смутился еще больше. Парень вдруг начал куда-то толкать его и, открыв рот, издавать непонятные звуки.

— Бонга приглашает тебя сесть, — сказал Ганпат, посасывавший свой кальян на помосте в нише. — Он глухонемой.

Муну успокоился и побрел мимо печей к пещерам. Здесь он увидел светлолицего красивого юношу в набедренной повязке и кисейной рубашке, его волосы были причесаны на пробор, как у бабу и сахибов. Юноша выливал в канаву кипяток из огромного чана.

— Осторожнее, болван! — накинулся он с внезапной яростью на Муну, чуть не толкнув его, когда тот пробежал мимо. И тут же раздались крики: — Хай! Хай! Обварился? Насмерть? — кричали какие-то похожие на привидения морщинистые старухи, чистившие в пещерах яблоки.

— Сядешь ты, наконец, дрянь! Что ты шляешься? — заорал на него Козье Лицо. — У Тулси сейчас будет готова бутылка экстракта. Он пойдет разносить экстракт кеоры нашим клиентам и возьмет тебя с собой, покажет тебе магазины, куда ты с завтрашнего дня будешь доставлять бутылки. Не егози. Привыкай сидеть смирно. Если бы мы не взяли тебя к себе, был бы ты сейчас в руках полиции или бродил бы по городу бездомный и голодный. Нечего шататься тут без дела и мешать людям.

И он указал Муну на покрытую коростой

грязи колченогую скамейку, предназначенную для обуви, а потому считавшуюся подходящим сиденьем для рабочих.

Муну, озираясь, разглядывал толстые стены: местами обнажились источенные долгими годами сырости кирпичи, местами своды были облеплены коровьим навозом, грязью и плесенью, затянута длинными тонкими нитями паутины или прикрыты липкими лохмотьями сажи; словно кристаллы, неподвижно свисали со сводов летучие мыши.

Взгляд его, блуждая, встретился с взглядом Ганпата. Он повернулся в другую сторону: перед ним оказались низкие, грузные деревянные подпорки в белых коконах паутины и прокопченные железные листы навеса, словно придавившие двор мертвой тяжестью. Казалось, небесный ветер никогда не посещает этот мир, и солнце в него никогда не заглядывает, разве только сквозь отверстия, пробитые гвоздями, да сквозь щели и скважины в железе, куда его лучи вползали как улитки.

Наблюдения мальчика были прерваны клубами пара, поднявшимися над кипящей водой, которую Тулси вылил в канаву.

И Муну вдруг почувствовал себя таким маленьким и ничтожным в этом подземном мире, среди огромных чанов и бочонков, глубоких черных пещер и стен, которые, хотя и крошились, но, казалось, простоят еще века.

Протерев глаза, он увидел, что и рабочие вопросительно косятся на него: кто, мол, такой? Откуда взялся?

Да, он здесь чужой. Все начинало раздражать его.

Горячее дыхание чанов сменялось сырым вонючим сквозняком, которым тянуло из пещер, от него ржавело железо и сразу остывал на теле пот, образуя липкую грязь, на которую с жужжанием садились неотвязные мухи.

Он бежал бы прочь отсюда, будь у него крылья.

Но как раз в эту минуту появился сет Прабх Диал, и Муну сразу почувствовал облегчение.

— Где ты, о Муну? — спросил Прабха, с трудом привыкая после солнца наверху к сумеречной мгле фабрики.

— Вот он, — сказал из подвала Ганпат, ткнув пальцем в сторону Муну. — Этот дурак чуть не обварился, лез тут к печке, когда Тулси выливал кипяток.

Муну встал и подошел к Прабхе.

— Пойдем, — сказал хозяин, улыбаясь. — Я возьму тебя в магазин и покажу клиентов, которым ты будешь доставлять готовый товар. Да тебе, вероятно, и город хочется посмотреть; в храм пойдем...

— Конечно, балуйте его, как вы избаловали всех наших слуг, — заметил ледяным тоном Ганпат.

Прабха улыбнулся, взял побуревшую счетную книгу и вышел.

Муну побежал за ним.

Если город Шам-Нагар, у подножия гор, превосходил все, что могло нарисовать воображение маленькому горцу Муну из Биласпура, то древний Даулатпур явил перед ним

еще большую пестроту и разнообразие. И Муну старался не отставать от Прабхи, держась как можно ближе к нему, чтобы не затеряться.

Когда они вышли из переулка Кошкодавов и он очутился перед целым лабиринтом узких улочек и проходов, Муну совсем запутался. Он пошел впереди Прабхи по кривым горбатым переулкам. Мимо мелькали черные лица с горящими глазами и белым оскалом зубов, бледные лица и бледнокоричневые, — казалось, в этой пестрой толпе люди отличались друг от друга только разнообразной окраской и покроем одежды.

— Подите сюда, сет Прабх Диал! Вы уже вернулись? — раздался чей-то голос. Прабха остановился.

Остановился и Муну и стал глазеть на ряды лавок; они тоже напоминали пещеры, но здесь было больше света, чем на фабрике, так что можно было рассмотреть, какими товарами они торгуют: сладостями или железными замками всевозможных размеров и систем, седлами, воротничками, ремнями, роговыми изделиями. Все лавки были затенены навесами, крышу поддерживали резные столбы, опиравшиеся на нижний этаж, пол был приподнят над землей в виде помоста, который служил и конторкой и прилавком для суетливых торговцев, сочетавших в себе и купца и фабриканта. После минутного смятения Муну обнаружил Прабху, стоявшего в пяти шагах от него возле лавки, полки которой были уставлены пузырьками, флаконами душистых масел и духов. Это была, видимо, лавка какого-то хакима, так как перед ней толпились люди всех возрастов—муж-

чины и женщины, обвешенные искрящимися украшениями и одетые в разноцветные шелка.

— Вот новый мальчик, который будет доставлять вам экстракты, — сказал Прабха и подвел Муну к помосту, на котором спокойно, но важно восседал какой-то пузатый лала; за спиной у него торчала засаленная подушка.

— Хорошо, — кивнул лала.

Прабха покорно сложил руки, отвесил купцу поклон и двинулся дальше.

Муну последовал за ним, словно собака за хозяином.

Он принялся читать вывески. Каждая лавка имела две, три, а иногда и четыре вывески. «Сколько ученых!» — подумал Муну; он насчитал пятнадцать или шестнадцать «докторов», о которых вещалось огромными буквами на индустани и по-английски, с перечислением множества ученых степеней и титулов. Мальчик с любопытством произносил вслух имена и титулы, недоумевая, что бы они могли означать.

Затем Муну обнаружил лавку, где маленькие разноцветные шарики на магической проволоке горели без помощи масла или воска, и был немало смущен непонятностью этого явления. Но уже в Шам-Нагаре он привык к тому, что все английское непонятно. Поэтому он не остановился, чтобы спросить, а продолжал свои наблюдения. Взоры Муну были привлечены рядом старинных зданий, второй этаж которых возвышался над лавками, опираясь на колонны, украшенные искусной резьбой и расписанные цветочным орнаментом, совсем как Диван-и-хас — палата для частных аудиенций императора Шах-Джехана на картинке в учебнике истории. После этого он заметил лавку, в

которой сидела группа портных, шивших на руках одежду, а один из них работал на швейной машинке Зингера; лавку, где ювелиры вделывали маленькие яркие камешки в коричневый воск; закусочную и рядом фруктовую лавку, где апельсины и дыни, бананы и плоды манго ароматом и цветом сулили радость нёбу и языку. Мимо Муну проскользнул аскет — его тело было вымазано золой, волосы свалились, он был наг, только чресла его были прикрыты тряпкой, которая свисала с медной цепи, опоясавшей стан; он позванивал длинными щипцами и размахивал четками из крупных зерен. Толпа становилась все гуще и пестрее, в ней мелькали то магометане в широких шальварах, то индусы в белых одеждах, то бабу в брюках. Прабха взял Муну за палец и, протиснувшись мимо высоких колес запряженной волами повозки, которая зацепилась за фаэтон, увел его в узкую улицу, где перед маленькими черными и красными алтарями, залитыми жиром жертвенного масла, были выставлены изображения всевозможных богов. Путники обогнули усыпальницу какого-то святого и вошли во двор обширного, построенного в форме лотоса, средневекового храма в честь бога Вишну. Перед храмом поблескивала поверхность священного водоема. Прабха купил гирлянду из златоцветов и жасмина. В эту минуту во дворе раздался бой барабана, и толпа заспешила к водоему. Муну никогда еще не приходилось участвовать в таком скопище людей, как эта толпа, шептавшая молитвы вечернему солнцу, золотой диск которого, бросая из-за горизонта свои последние лучи, казалось, зажег воду.

Когда лучи погасли, Прабха и Муну направились к храму, огни которого уже озаряли сине-черный час прощания с солнцем. Прабха принес свои цветы в дар изображению какого-то божества, сверкавшему всем великолепием, которое могут дать затканые золотые одежды, шелка и драгоценные камни. Муну молча следил за обрядом, состоявшим из перезванивания колокольчиков, пения гимнов и истерических вскрикиваний: «Да будет жизнь богов долга!» Он робко последовал за своим хозяином на сумеречную площадку, смутно очерченную белеющими куртинами цветов и беседками, где среди верующих, принесших в дар плоды, цветы и пищу, в красноватом свете костров сидели, изнуряя свою плоть, изможденные аскеты и бритые мистики в желтых одеждах устремляли затуманенный взгляд к чему-то, что люди называли богом, но чего Муну никогда в своей жизни не знал и не мог понять.

Возвращаясь домой, Муну размышлял о разнообразных событиях этого дня. Да, он попал в какой-то диковинный мир. «В доме у хозяина хорошо. Мне здесь будет спокойно, я смогу ходить, куда захочу, а на фабрике так скверно, что особенно расслаживаться там не к чему. Не знаю еще, какую мне дадут работу, но без присмотра я не останусь». Перспектива хождения на базары казалась ему завлекательной. Там было что посмотреть — такие интересные вещи, каких он не видел и в Шам-Нагаре. Чего только там не было! Поистине чудо-город. Он вспомнил — эта мысль мелькнула у него еще утром, в конце путешествия, — что о Даулатпуре в его учебнике географии рассказы-

валось как об одном из двух древнейших и крупнейших городов Северной Индии. Город был основан махараджей Даулат Сингхом, царем раджпутов, правившим здесь в те времена, когда Рама, герой Рамаямы, царствовал в Луде. Этот город стал ареной многих исторических битв и был завоеван Махмудом Газневидом, разбившим идолов и разграбившим сокровища храма Сомната. Интересно знать, похитил ли Махмуд золото и драгоценности из того храма, где они только что побывали? Он вспомнил еще, что Акбар, Великий Могол, подарил денег жрецам этого города и покровительствовал их религии. Сикхи нанесли поражение моголам за городом, и Ранджит Сингх отдал старые городские дома своим любимым советникам. Но перед Великим восстанием его захватили ангрези саркары.

Блистательные образы всех царей Индии, как их изображали в его учебнике истории, проплыли перед его глазами: на их шеях сверкали бесчисленные ожерелья, на тюрбанах развевались перья, и одежды были затканы драгоценными камнями. «Этот город уже стоял, когда моей деревни и в помине не было», — подумал Муну. Мечети и храмы, старые лавки и новые магазины поражали его и смущали. Он предпочел бы жить за городом, в районе вокзала или в английском квартале, простом и строгом. Он недоумевал, почему ангрези саркары не снесли старый город и не понастроили магазинов и домов, как в английском квартале, обставив их столами и стульями. «Все-таки мне очень повезло, что я попал сюда, — решил Муну. — Не знаю, где бы я теперь был, если бы Прабха не подобрал меня. Мо-

жет быть, все еще в поезде, голодный и бездомный».

Он бросился догонять Прабху и доверчиво схватил хозяина за палец.

— Проснись, охе Муну! Проснись! — услышал Муну на другой день рано утром словно издалека доносившееся бормотанье Тулси.

Он почувствовал, как кто-то крутит ему большой палец на ноге, и до него снова донесся отчетливый шопот:

— Проснись, охе Муну, проснись!

Он слегка приоткрыл засоренные пылью и песком глаза и застонал сквозь сон.

— Проснись! Не то молодой сет рассердится! — сказал Тулси.

Муну зевнул и потянулся. Затем протер глаза кулаками и посмотрел вокруг. Тени ночи еще окутывали растянувшихся на чарпаях, покрытых смутно белевшими простынями, людей, которыми были усеяны плоские кровли соседних домов. Но тьма уже редела. И воздух уже светлел, как на заре в горах. Перед Муну снова возникли скалистые очертания гор вокруг его родной деревни; увидел он также и стадо коров, и небо, испещренное стаями птиц, летевших к горным склонам. В Шам-Нагаре он редко вспоминал о своей родине, так как вставал сравнительно поздно, уже после восхода солнца. «Не хочу я вспоминать про дом», — сказал он себе. Не хотел он также думать и о доме бабу. «Они, верно, хватились меня, — решил он, — что они предпримут? Дядя, верно, разозлился. Я напишу ему, что цел и невредим, но возвращаться не хочу».

— Пойдем, — сказал Тулси, закатывая просаленную подушку в заношенную сорочку и рваный коврик и взяв постель подмышку.

Муну последовал за Тулси, неловко ступая на цыпочках, лавируя между спящими.

На темной пыльной лестнице воздух, всю ночь запертый в доме, казался сырым и застоившимся. Испарина покрыла лоб мальчика, когда он сходил вниз.

— Дай я перенесу тебя, — сказал Тулси, вылезая из окна в колодец, чтобы спуститься на фабрику.

Но Муну слез сам с проворством былых дней, вспомнив, как он лазил по деревьям.

Тулси направился в нишу, где был деревянный помост, и начал бесцеремонно трясти спавших:

— Вставай, Махарадж! Вставай, охе Бонга!

Муну видел смутные очертания слоноподобного идиота и глухонемого, прижавшихся во сне друг к другу. Он разглядывал их, перегнувшись через бочонки, стоявшие на помосте. «Они, видно, спят тут каждую ночь...» Как хорошо, что сам он в привилегированном положении и может ночевать на крыше дома вместе с хозяевами, Ганпатов и Тулси. И на отдельной кровати, хотя она и коротка ему. Он знал, кому обязан этим. Заснув за ужином, он слышал, как Прабха и Парбати говорили о том, что хотят усыновить его. Хозяйка нравилась ему. Она погладила его по голове и дала ему к хлебу еще и сметаны. Но она почему-то была странно тиха и молчалива. Ее бледное оливковое лицо веселело только когда она улыбалась. Он робел в ее присутствии, робел и смущался.

— Пойди сюда и отгребви угли, охе Муну, — ласково, но твердо приказал шопотом Тулси, а сам взял с пола витой железный прут и начал прочищать печи.

Муну ловко спрыгнул на пол и принялся отгребать угли.

— Ооой... — взвизгнул он почти сейчас же и отскочил, так как, продев руку через решетку одной из печей и сунув ее в кучу золы, наткнулся на горячий уголь.

— Ах, дуралей! — воскликнул Тулси, желая свалить вину на мальчика, хотя виноват был сам, что не предупредил его, — Ничего, ты скоро привыкнешь, — добавил он ласково.

Муну отошел от печи, поддерживая руку и строя гримасы от резкой боли в пальцах. Так он просидел несколько минут, охваченный испугом и горестной безнадежностью, которую обычно испытывают доверчивые натуры, потерпев неудачу при первых же попытках взяться за новую работу.

— Ничего, ничего, — сказал Тулси, улыбаясь, — привыкнешь. Только будь осторожен. Раздобудь себе кусок жести или еще что-нибудь, чем отделять уголь от золы. Видишь, вон валяется кусок железа.

Мальчик вынул из каких-то обломков, которые загораживали вход в глубокую пещеру против печей, треугольный кусок ржавой жести и снова взялся за работу.

Он шарил в золе своим примитивным орудием, стараясь не касаться кучи, которую выгреб Тулси. Муну не только боялся теперь огня, как всякий обжегшийся ребенок — он испытывал странно раздражающее ощущение, когда ему случалось наткнуться жестью на

куски пористых, прогоревших углей; то же ощущение бывало у него дома в деревне, когда он ходил по песку в подбитых гвоздями туфлях своего дяди. Но вот все угли были собраны в одну большую кучу, он сунул руку в пушистый серый пепел и почувствовал, наоборот, блаженство, словно в руке его таял шелк. Он продолжал усердно работать, и в нем, сменяя друг друга, боролись эти два ощущения — страха и удовольствия.

— Так ты еще и огня до сих пор не разжег! — вдруг раздался голос Ганпата, и в окне, выходящем в колодец, появился он сам. Он был обнажен до пояса, козье лицо сердито моршилось.

— Кончай скорее, Муну, — шепнул ему Тулси. Он постоянно перекладывал хозяйские поручения с себя на других рабочих, прием, благодаря которому он сделался на фабрике чем-то вроде старшего мастера.

Муну еще энергичнее приналег на работу, не поднимая глаз к окну, из которого высовывалось козье лицо; он начинал бояться этого хозяина так же, как боялся своей хозяйки в Шам-Нагаре.

«Как жаль, — размышлял он, — мне повезло, и я легко нашел работу, но все дело портит присутствие этого жестокого человека. Хорошо, что хоть тот хозяин добрый, а хозяйка дала мне вчера вечером сметаны к хлебу».

— Высыпь угли, которые ты собрал, на решетку, — сказал Тулси, прервав его размышления. Сам Тулси начал класть в печи расколотые поленья, вылавливая их из черных глубин какой то ямы.

— Где же Махарадж и Бонга? — зевнув, спросил Ганпат, все еще стоявший у окна. — Разве они до сих пор спят?

— Вставайте, охе Махарадж, охе Бонга! — крикнул Тулси.

Кто-то молотком на цепочке постучал в дверь, которая вела в тупичок. Тулси хотел пойти отпереть.

— Я сам открою, — сказал Ганпат, вдруг выпрыгивая через окно на помост. И затем пошел по проходу, бормоча: — Как они сегодня поздно, а эти лодыри до сих пор дрыхнут. Я не знаю, что тут без нас делалось... Все распустились. Каникулы себе устроили, пока нас с Прабхой не было!

— Вставайте, псы, — вдруг рявкнул он, пнув рабочих, спавших на помосте.

Бонга поднялся, протирая глаза. Но Махарадж ничего не слышал.

— Вставай, сын слона! — проревел Ганпат, тряся Махараджа.

— Да, хозяин, — загудел голос рабочего из глубин сна, объяввшего его грузное тело. Но он не двинулся.

Снова раздался стук.

— Сейчас, Лачи, подожди, — крикнул Ганпат.

Подняв с земли полено, он начал обрабатывать им спящего, свирепо, беспощадно, до тех пор, пока его глаза, воспаленные яростью, не встретились с воспаленными от усталости глазами раба.

— Вставай, свинья, — сказал Ганпат, задыхаясь. — Солнечный свет уже все озарил, а ты еще дрыхнешь.

Махарадж сел и устало зевнул. Казалось.

он не очень пострадал от ударов, хотя его зевки производили впечатление стонув. Он смотрел вокруг себя тупым взглядом, и его невыспавшиеся покрасневшие глаза были полны слез.

— Видно, поленом только и можно разбудить полено, — сказал Ганпат. — Я тебе все твои мослы переломаяю, если ты не будешь вставать рано и вовремя приниматься за работу!

Новый стук, показавшийся Ганпату громче прежнего, так как он стоял ближе к двери, разозлил его окончательно, а стоны кули, разбуженного побоями, привели прямо в бешенство. Он отшвырнул полено и направился к двери, но вдруг перехватил взгляд Муну, украдкой смотревшего на Махараджа сквозь слезы явной жалости.

— Нечего лодырничать, поросенок! — закричал Козье Лицо. — Чтобы не было мне тут никаких сочувствий, а то сам получишь... Занимайся своим делом, иначе я об тебя это полено сломаяю.

Стук возобновился.

— Сейчас, сейчас, старые ведьмы, — сказал, отпирая дверь, Ганпат.

— Что это вы вздумали с раннего утра бить ваших парней, когда вам следовало бы произносить имя божества? — спросила Лачи, низенькая толстушка, сияя кокетливой улыбкой на круглом правильном лице, и кивнула Ганпату, причем ее глаза лукаво сощурились, а красный камешек в маленьком железном колечке, игравший на ее полных губах, сверкнул.

— Рам, Рам, сетжи, — сказали обе старухи, сопровождавшие Лачи. Волосы их были седые,

спины согнуты, взоры тусклы, долгие годы труда оставили на их лицах глубокие морщины. Чтобы, идя по проходу, не запачкаться, они подняли до колен черные юбки и подобрали рваные покрывала.

При виде Лачи Ганпат растаял и, воровато опустив глаза, пошел в угол ниши за своим кальяном.

— Налей нам немного масла в наши светильники и дай из чего сделать фитили, вай Тулси, — сказала Лачи.

Они работали во мраке пещер при трепетном скудном свете глиняных плошек.

— Ладно! Ладно! А вы начинайте работу, — сказал Ганпат, собираясь разжечь свой кальян.

Тулси только что полил керосином угли в печи и поднес к ним спичку, но, хотя пламя и вспыхнуло, — угли еще не загорелись.

Ганпату пришлось ждать.

Муну угнетало присутствие этого человека, который вел себя точно надсмотрщик над невольниками.

— Отгреби угли в двух других печах, ты, сын суки! — закричал Ганпат, которому нетерпелось закурить.

— Оставь парней в покое, нечестивец — заметила Лачи, — и пойдя сосчитай яблоки, а то будешь потом жаловаться, что я обокрала тебя!

Ганпат направился в пещеру.

Тулси исчез вслед за ним, неся бутылку с маслом и нитки для фитилей.

Махарадж работал у колодца и с неуклонностью машины таскал ведра воды, чтобы заливать бочонки с фруктами.

Бонга, который никак не мог сбросить с се-

бя оцепенение сна, принялся набивать две других печи дровами и углем.

Муну, как зачарованный, смотрел в топящуюся печь, и пламя, вспыхнувшее на политых керосином углях, бросало на него свои гаснущие отблески. Его голова была пуста, руки почти машинально шарили в золе.

Некоторое время было тихо.

Затем из пещер пахнуло резким сквозняком, холодная струя смешанных запахов — сырой земли, гниющих плодов, горчичного масла, пряностей, варящихся пикулей и душистых экстрактов розы и кеоры — обдала Муну ознобом, пробралась под рубашку, осыпала волосы золой.

«Странное место, — размышлял Муну. — Но ничего, я как-нибудь привыкну. Ведь это же все горцы, а не бабу, и только хозяин Ганпат — горожанин...»

Но тут Муну увидел себя вдруг окруженным дымом, клубами дыма, — это ветер из пещер упорно задувал в печах вившееся спиралью высокое пламя и разносил дым по всей фабрике.

Муну чуть не задохнулся. Он ощущал горький вкус дыма во рту. Потом дым защекотал ему горло, и он закашлялся. Выплюнул густую слюну. Ему показалось, что он оглох. Но из клубов дыма до него смутно донеслись визгливые сильные возгласы и крики:

— Где вы? Где вы все, дети борова? Выходи, охе Прабха, ты, любовник своей матери...

Голос замер, прерванный громким кашлем, или, вернее, перешел в кашель; когда уже не было слышно голоса, кашель все еще продол-

жался, сердитый, визгливый и хриплый, бесконечными приступами, напоминавшими взрывы деланного смеха.

Муну насторожился. Он услышал другой голос, своей пронзительностью этот голос отличался от первого, принадлежавшего старику, и был, видимо, голосом старухи.

— Пожиратели своих хозяев! Пожиратели своих хозяев! Грязные горцы! Неподряи! Неряхи! Дым! Дым! Ваш дым! Он проник в мой дом даже сквозь запертые двери и окна. Хай! Хай! Чтоб вам высохнуть! Чтоб вам не родиться! Чтоб вам сгореть в огне ваших печей! Вы прокоптили наш дом! Мы только этой весной побелили стены! А теперь они опять черные. Хай! Хай! Где вы!

Муну казалось, что он слышит голос своей госпожи из Шам-Нагара, но этот, кроме всего, силел. Он взглянул на Тулси, маячившего сквозь дым, и только что хотел спросить, кто это...

— Шш...— шепнул Тулси; его лицо было бледнее обычного и он усердно старался раздуть мехами пламя в печи.

Муну увидел настоящий страх в лице старшего мастера, когда тот, бросив мехи, присел на корточки и стал изо всех сил дуть на угли, но в печи не зарделось ни одной искорки, и только дым повалил еще гуще к железной крыше.

— Где вы? Где вы, Прабха и Ганпат?— кричал Рай бахадур, сэр Тодар Мал, бакалавр права, член муниципального комитета, одетый в сюртук из черного альпага, узкие белые брюки и огромный тюрбан, словно придавивший его длинное черное лицо. Он сердито стучал

концом золотой трости о кирпичную кладку откоса, над которым стоял дом.

— Да где они? Где они, пожиратели своих хозяев? — вопила лэди Тодар Мал, закутанная в домотканое сари, прикрывавшее ее коричневое тело и подчеркивавшее его сухопарые контуры.

— Куда вы все попрятались? Что же вы не выходите, сыновья сук! — орал сын сэра Тодар Мала, стройный, надменный молодой человек, мистер Рам Нат. — Рай бахадур желает говорить с вами. Надо что-нибудь придумать против вашего дыма, не то вам придется выметаться отсюда!

Над фабрикой нависла тишина, но казалось, достаточно пустяка, чтобы гроза разразилась; а густые облака дыма продолжали клубиться в насторожившемся воздухе.

— Уходите! Уходите! — крикнул Ганпат, появляясь в проходе. — Можете у себя в доме быть Рай бахадуром, а что мы делаем — вас не касается.

— Ах, не касается? — задорно повторил молодой человек, стоявший в дверях. — Нас не касается? А ну-ка выйди сюда, ты, подкидыш, я тебе покажу!

— О, не унижай себя, дитя мое, — сказала лэди Тодар Мал. — Не разговаривай с ним! Пойдем отсюда! Нам, людям благородным, нечего тут делать с этими подонками общества, с этими горцами!

Она, может быть, и удалилась бы, тем более, что сэр Тодар Мал и его сын собирались с утра прокатиться в тонге в городской сад. Но Ганпат ринулся к двери и столкнул Рам Ната под откос.

— Какая наглость! — заорал сэр Тодар Мал, упершись толстой тростью в камни и едва удержавшись на ногах, так как сын, падая, толкнул его.

— Да, какая дерзость! Взгляни на этого Ганпата! — визжала лэди Тодар Мал.

Но молодой человек уже вскочил на ноги, схватил Ганпата за горло и начал кулаками наносить ему удары по всем правилам бокса, изученного им в колледже.

Муну, Тулси и Бонга, потеряв голову, финулись к двери фабрики.

Ганпат скатился в овраг. Но он выполз обратно, тщетно сиюсь обхватить врага, а тот осыпал ударами его лицо. Нос Ганпата был в крови.

— О, брось его, брось, — кричал сэр Тодар Мал, расстроенный и дрожащий, укrywшись в дверях своего дома.

— Бешеный скот! Пропойца! Мошенник! Выскочка! — голосила лэди Тодар Мал. Руки ее неистово жестикулировали, словно обрушивая проклятья на окружающих.

У окон соседних домов толпились женщины и шептались, охваченные страхом.

Вдруг из прохода, где стояли Муну, Тулси и Бонга, выскочил Прабха. Ринувшись в самую гущу свалки, он обхватил Ганпата и подставил собственную грудь под удары Рам Ната, заявив: — Можете бить меня, бабуджи, можете делать все, что хотите. Но его пощадите. Он безумен.

— Оставь их, сын мой, оставь их, — просила лэди Тодар Мал. — Пепел да падет на их головы! Они отравили нам жизнь! Они занесли до небес! Выскочки!

— Нельзя чуть что сейчас же лезть в драку, Ганпат, — сказал Прабха, уводя своего компаньона. — Объясняться с ними дело наших домовладельцев, не наше. А теперь вот вас избивали! Ва!

Козье Лицо мрачно зашагал прочь, грубо расшвыряв парней, стоявших у него на дороге. Униженный своим врагом, он срывал бессильную и мстительную злобу на собственных кули.

— Тише! Тише! Нельзя поддаваться гневу, — остановил его Прабха со свойственным ему простодушным смирением.

Муну отлетел в грязь между двумя бочонками. Тулси ссадил себе колено, а Бонга упал на помост в нише.

Все трое крадучись вернулись на свои места и принялись за работу. Муну снова стал разгребать золу. Бонга занялся чисткой чана. Тулси наполнил один из чанов листьями. Только Махарадж, равнодушный к событиям, невозмутимо таскал воду; он ходил, словно слепой, взад и вперед, и толстые синие вены выступали на его ногах и голенях, точно внутренности мертвого животного.

Если Прабха считал, что может уладить ссору между Ганпатом и сэром Тодар Малом, просто сложив руки в знак смирения перед соседом, то сэр Тодар Мал отнюдь не собирался остановиться на этом. Ибо сэр Тодар Мал имел «руку» среди высшей администрации.

Сэр Тодар Мал больше двадцати лет считался светилом даулатпурской судебной камеры и был широко известен своим красноречием, с помощью которого ему удалось защитить

немало обвиняемых. Когда он был назначен прокурором даулатпурского суда, правительство Индии не могло не оценить всей убедительности его риторики. И хотя теперь он уже давно оставил этот пост, он пользовался в глазах начальства высоким престижем, так как пожертвовал во время войны в «фонд вице-короля» двадцать тысяч рупий. За проявленную им неуклонную лойяльность при исполнении столь трудной обязанности, как поддержание закона и порядка в стране, он получил титул Рай бахадура; за заслуги во время войны был возведен в сан Рыцаря — Командора Индии; а за гражданские заслуги назначен членом даулатпурского муниципального комитета. Все эти почести заставили жителей Даулатпура почитать его великим человеком, хотя они и не понимали, что значит быть Рыцарем или членом муниципалитета.

Кое-кто, в связи с его странным решением укрыться во время последних политических беспорядков со всем своим семейством и наиболее ценной движимостью в даулатпурском форте, называл его «предателем». Но боялись его все, и даже те, кто не уважал его, смиренно складывали руки, приветствуя, как «Рай бахадур сахиба», когда он проезжал в своей высокой тонге, запряженной пегой лошастью, которой правил его сын. Он догадывался о неискренности их поклонения и охотно поселился бы за городом, в одном из трех своих бунгало, если бы не извлекал столь высокого дохода, сдавая их внаймы англичанам. Да и лэди Тодар Мал, будучи неграмотной и не очень сведущей в европейских обычаях, нашла бы для себя стеснительной жизнь среди англичан

и была бы лишена возможности сплетничать, а иногда и подраться с женщинами, жившими в домах над оврагом. Все же за последние годы сэр и лэди Тодар Мал, чтобы спастись от дыма фабрики, не раз подумывали о переселении, но окрестные жители и жительницы, забыв все, что касалось предательства сэра Тодар Мала, «положили свои смиренные головы на его досточтимые ноги» и, прославляя его дружбу с ангрези саркарами, молили не лишать их спасительной сени его покровительства. Итак, сэр Тодар Мал решил остаться и умереть там, где жил, то есть среди своих соплеменников. Правда, он попытался сделать свою жизнь в старом доме более приятной, попросив владельцев соседнего дома, братьев Датт, выбросить вон фабрику по переработке плодов. Но братья Датт не видели никаких оснований отказываться от платы за совершенно бесполезный сарай. Сэр Тодар Мал постоянно ссорился с преуспевавшими владельцами фабрики. Теперь дело дошло до драки. Простая мысль о том, чтобы поставить трубу, никогда не приходила в голову ни ему, ни кому-либо из заинтересованных лиц.

Наконец он решил написать жалобу санитарному инспектору, доктору Эдуарду Марджорибэнксу, своему приятелю и коллеге по муниципальному комитету.

Он написал следующее:

«Доктору Эдуарду Марджорибэнксу, эскв.»

От Рай бахадура, сэра Тодар Мала, бакалавра права, адвоката при Верховном суде Пенджаба, бывшего прокурора в Даулатпуре.

Уважаемый сэр!

То, что я не пользовался каждым случаем выразить вам глубокое почтение, которое питает к вам мое сердце, кажется мне непростительным упущением, и я едва осмеливаюсь просить вас простить мне эту вину. Поэтому мне крайне стыдно напоминать вам о себе посредством этого письма. Все же примите мои сердечные уверения в том, что ваше имя неизгладимо запечатлено на таблице моей памяти как самого близкого мне друга и в муниципальном комитете и вне его.

Мне приходится просить вас о чести посетить меня в переулке Кошкодавов, который постоянно полон дыма вследствие сжигания каменного угля на фабрике по переработке плодов, помещающейся рядом с моим домом.

Вы окажете мне великую честь, ибо 26 с. м., вскоре после рассвета, мой сын, сделавший замечание владельцам фабрики по поводу дыма, распространяемого их печами, подвергся нападению некоего Ганпата, и хотя мой храбрый сын, м-р Рам Нат, и свернул Ганпату кончик носа, но получил при этом значительные ушибы, от которых его лицо и тело одеревятели, похолодели и посинели, а пальцы сведены и поныне.

Мои заслуги перед правительством вам хорошо известны. Я пожертвовал в военный фонд Его Высочества Вице-короля двадцать тысяч рупий, за что и получил славный титул Рыцаря. Надеюсь, что, памятуя об услугах, оказанных мною всемилостивой Империи, вы прибудете и освободите меня от этого докучного дыма, который является постоянной при-

чиной досады, сожалений и печали для меня и моих близких.

Передайте скромные салямы моей жены миссис Марджорибэнкс.

Остаюсь не забывающий вас, вечно благодарный и преданный ваш слуга.

Тодар Мал».

К сожалению, упомянутый чиновник из санитарного управления игнорировал это письмо.

Когда доктор Марджорибэнкс не ответил и не посетил дом у оврага, сэр Тодар Мал рассердился. Он стал нетерпеливо ждать собрания членов муниципального комитета, которое должно было состояться первого сентября.

Утром этого дня он рано выехал из дома, с грумом, в двухколесном фаэтоне, который держал, помимо тонги, для торжественных случаев. Сначала он отправился подышать воздухом в городской сад, а затем на собрание членов муниципального комитета в здании городской ратуши.

Боясь опоздать, он приехал за час до начала. От зноя сентябрьского солнца и ярости, которую он распалил в своем сердце, он был покрыт испариной. Как маятник, ходил он по коридору ратуши, его мучили приступы кашля, и его гнев все возрастал.

Наконец бронзовый гонг пробил десять, и сэр Тодар вошел в помещение комитета.

Он был первым из членов, явившихся на собрание.

В течение получаса он был единственным.

В течение часа он тоже был единственным.

Затем вошел сторож и стал обметать столы и стулья.

Через полчаса явился секретарь, мистер Хем Чанд, молодой человек в очках; он почтительно поклонился сэру Тодар Малу, имея привычку почтительно кланяться каждому из членов, так как по своей работе от каждого зависел.

— Половина одиннадцатого, бабу Хем Чанд, — сказал сэр Тодар Мал, вытаскивая за массивную серебряную цепочку золотые часы из внутреннего кармана сюртука, — а никого еще нет.

— Да ведь вы знаете, какие они, эти лалы, — сказал мистер Хем Чанд, стряхивая пепел с папиросы и принимаясь писать протокол прошлого собрания. — Они никогда не научатся местному самоуправлению, раз они так не точны.

Это была правда, сэру Тодар Малу было известно, что большинство членов муниципального комитета неграмотные лавочники, не умеющие даже написать свое имя и, вместо подписи, проставляющие под бумагами отпечаток своего большого пальца. Они ничего не понимали в вопросах, которые обсуждал комитет. Будут ли они в состоянии понять суть его жалобы на братьев Датт, владельцев фабрики, а главное, на санитарного инспектора, столь оскорбительно пренебрегшего его письмом. Он собирался произнести горячую обличительную речь на заседании комитета, прося уволить санитарного инспектора. Но не трудновато ли будет этим лалам из Пенджаба слушать его речь на индустани?

— Ах, да, сэр Тодар Мал, — вдруг вспомнил секретарь, — доктор Марджорибэнкс показывал мне ваше письмо... Он очень занят и

редко бывает на оврагах, но он хотел бы поехать туда вместе с вами...

— Мистер Хем Чанд, — сказал сэр Тодар Мал, — я просил бы вас включить сегодня в порядок дня обсуждение моей жалобы на инспектора...

— О, Рай бахадур, — отозвался Хем Чанд. — Вы знаете, что в комитете ничего нельзя обсуждать. Большинство членов только наушничают властям и ничего в делах не понимают. Один будет три часа плести чепуху, другой делать язвительные намеки, третий бессмысленно кивать головой. И никто не захочет уволить английского чиновника, когда правительство только и ждет, как бы отнять у нас привилегии местного самоуправления, и воспользуется первым же случаем. Доктор Марджорибэнкс здесь, я попрошу его прямо отсюда поехать вместе с вами и обследовать эту фабрику. Вы всегда были другом правительства. Зачем наживать себе на старости лет врага-англичанина?

— Очень хорошо, очень хорошо, — сказал сэр Тодар Мал, понимая, насколько неприятна перспектива публичного перемывания грязного белья и насколько лучше договориться privately, как придумал секретарь. Кроме того, он представил себе, как он едет по базарам своего родного города в обществе англичанина, — это еще повысит его престиж.

Появился доктор Марджорибэнкс, коротенький толстый сорокалетний человечек в спортивном костюме, лысый и фатоватый, с хитрой улыбкой под тонкими светлыми усами.

— Доброе утро, сэр Тодар Мал, — приветствовал он своего коллегу. — Очень сожалею,

что у меня не было времени ответить на ваше письмо. Но я играл в крикет в Лахоре.

— Доброе утро, сахиб, — сказал Тодар Мал, отвешивая смиренный поклон, мало завязавшийся с его собственной напыщенной важностью.

— Ну, пошли в мой автомобиль, — сказал Марджорибэнкс. Грубость его тона как нельзя больше соответствовала общему стилю его жизни: подобно всем англичанам, проживающим в Индии, он, не покладая рук, играл в крикет, теннис, поло, пил виски и старался не стареть, ибо это был единственный способ сохранить любовь жены и быть счастливым. — Попробуем новенький форд, который моя жена только что привезла «из дому». Уверен, что вам понравится.

И он ринулся к своей машине. Это был ловкий маневр. Он не хотел ехать в фаэтоне сэра Тодар Мала, так как ненавидел, когда на него глазели и надоедали своими салямами все эти черномазые, как он называл индусов.

Сэр Тодар Мал понял, что его мечта — проехаться на глазах у всех по базарам в открытом экипаже рядом с англичанином — рассыпалась прахом.

— Очень хорошо, сахиб, — сказал он как можно любезнее и довольно неуклюже влез в автомобиль. Доктор Марджорибэнкс сел рядом с ним.

— В дом Рай сахиба, хузур? — спросил шофер-сикх.

— Да, — ответил Марджорибэнкс.

Автомобиль тронулся, и сэр Тодар Мал, хотя и сожалел о том, что скрыт от мира в ка-

бине, все же наслаждался роскошным пружинящим сидением, которое упруго поднималось и опускалось под ним.

Доктор Марджорибэнкс не сообразил того, что улицы по ту сторону ратуши слишком узки, и добрую часть пути им пришлось идти пешком.

Семеня рядом с санитарным чиновником по базару Мэй-Севан, сэр Тодар Мал милостиво кланялся решительно всем лавочникам, безразлично, замечали они, что он в обществе столь важного лица, или настолько были заняты своим делом, что вовсе его не видели.

Доктор Марджорибэнкс до сих пор никак не мог привыкнуть к толпе грязных подростков, которые следовали за пешеходами, выпрашивая мелкую монету упрямо, нагло. Когда они дошли до переулка Кошкодавов, его лицо успело стать багровым от раздражения.

Взгляды мужчин и женщин, встававших с места в своих лавках, чтобы исподтишка поглазеть на него, заставляли его в ярости опускать голову.

Навоз, солома, рваные тряпки, разбитая глиняная посуда, прокисшая пища и другие отбросы, валявшиеся кучами по всем углам, вызывали в нем отвращение. А сэр Тодар Мал еще подливал масла в огонь.

— Городские метельщики плохо выполняют свои обязанности, сахиб, — жаловался он.

В одном доме хозяйка выбросила из окна какой-то грязный пакет чуть не на голову санитарному инспектору.

Доктор Марджорибэнкс стиснул зубы и сжал кулак.

В другом — водосток без трубы низвергал со второго этажа прямо на узкую улицу грязную воду после омовений какого-то благочестивого индуса.

Доктор Марджорибэнкс просто в отчаяние приходил от этой неисправимой Индии.

— Вот мой дом, а вон фабрика, сахиб, — сказал сэр Тодар Мал.

— Вижу! — сказал Марджорибэнкс. Он не отважился войти в сырой, скользкий овраг. Но долг пересилил. Кроме того, он услышал за своей спиной тихий шопот любопытных. Он не мог повернуть обратно. Нерешительно двинулся он вперед.

— Выйди, вай Прабха! Выйди-ка теперь! — кричала лэди Тодар Мал с порога своего дома, прикрыв лицо покрывалом.

Доктор Марджорибэнкс вошел во двор фабрики.

— Добрый день, — сказал Муну, сидевший на помосте в одной набедренной повязке. В Шам-Нагаре молодой бабу научил его здороваться, как англичане, утром, днем и вечером, и он решил использовать свои познания.

— Доброе утро, — сказал Марджорибэнкс, слегка ошарашенный. Он стал рассматривать двор с его грязным проходом, бочонками, полными плодов, с его чанами и печами. Жара здесь была еще невыносимее. Он вынул платок и стал стирать с лысины крупные капли пота, зорко смотря по сторонам, так как услышал позади себя шаркающие шаги, и его охватила смутная боязнь, еще усилившаяся, когда он вспомнил грошевые детективные романы, читанные им «дома», ребенком, — боязнь, что вдруг откуда-нибудь вынырнет,

размахивая кинжалом, страшное черное существо и заколет его.

Но когда англичанин обернулся, желая узнать, что угрожает ему, оказалось, что это всего лишь Прабха, отвесивший ему низкий поклон.

— Вы здесь хозяин? — спросил инспектор, коверкая индустани, как все англичане.

— Да, хузур, — сказал Прабха, бледный и дрожащий.

— Хорошо, Рай бахадур, — сказал доктор Марджорибэнкс, обращаясь к сэру Тодар Малу. — Я сделаю все, что от меня зависит. Мне хотелось бы, чтобы там не торчали все эти люди, они только загораживают дорогу. Можете вы их убрать?

— Пошли прочь! — крикнул сэр Тодар Мал, словно очнувшись от недовольного голоса сахиба. — Я провожу вас, сахиб, — продолжал он, угрожающе помахивая толстой тростью в сторону кучки мужчин, женщин и детей, собравшихся на краю оврага.

— Добрый вечер, сахиб, — крикнул Муну задорно, стоя в дверях фабрики.

При звуках незнакомого голоса Марджорибэнкс, нахмурившись, обернулся, однако не мог не улыбнуться, увидев рваного смуглого мальчишку, говорившего по-английски.

Прабху охватил невыносимый страх. Он решил, что сахиб посадит его в тюрьму. Он поспешил на фабрику и наполнил два кувшина вареньем и пикулями. Дав их Муну, он отвел мальчика к лэди Тодар Мал, которая, стоя в передней своего дома, вопила: — Вот вы теперь увидите! Вы теперь попляшете у меня, даром что головы задрали до небес!

Сложив руки, Прабха поклонился и положил голову на ноги лэди Тодар Мал, говоря: — Прости мне, мать, прости всем нам наше неповиновение. Вот дар. Снизойди принять его и прости нас.

— Что еще он тут делает, этот негодяй? Что ему нужно? Я добьюсь, что его выбросят отсюда! — сказал сэр Тодар Мал, возвращаясь и чувствуя в своем стареющем теле новую силу, силу гордости, оттого что люди видели его дружбу с англичанином.

— Прости их, давай простим их, — сказала лэди Тодар Мал. — Да не будем мы причиной того, что их посадят в тюрьму. Нам и так надо искупить столько грехов!

— Предложи кувшины Рай бахадуру, охе Муну, — сказал Прабха.

От жадности богач смягчился.

Люди, как правило, осознают себя под давлением внешней необходимости, в смене бесвязных и невразумительных событий.

Муну скоро привык к жизни на примитивной фабрике.

Это была темная, скверная жизнь. Он ложился после полуночи, а вставал на рассвете, не выспавшись. Спускался на фабрику и начинал работу, покрытый липким потом, усталый, словно все силы ушли из его тела и остался только призрак прежнего Муну.

Но он научился работать. Сначала надо было отгрести угли. Затем он помогал Тулси разжигать печи, ожидая ежеминутно, что вот-вот богатые соседи начнут браниться, ибо, хотя Прабха и задаривал их пикулями, вареньем

и экстрактами, но ничто не мешало им в любую минуту позабыть об этих подарках.

Приходил Козье Лицо, ругал рабочих и топтал их. Все же, после ссоры с сыном соседа, он значительно поостыл и даже ходил вместе с Прабхой в храм. И так как омовение в священном водоеме и хождение вокруг могилы святого занимали большую часть утра, а затем он отправлялся на базары по заказчикам, вечером же ездил кататься на своем новом японском мотоцикле, то его угрюмая физиономия показывалась на фабрике значительно реже.

Однако он мог вернуться в любую минуту. И плохо приходилось тому, кого он заставал без дела. Муну не понимал, отчего этот хозяин такой злой. Отчего Козье Лицо всегда чем-то словно «доведен до точки»; нахмурен, отчего у него всегда брань на языке и наготове кулак. Мальчик не знал, что Ганпат — сын богатых родителей, воспитанный в роскоши, что он обижен на судьбу, так как его отец проиграл все свое состояние на бирже и, оставив сына без гроша, принудил его зарабатывать. Хотя Прабха и помог ему устроиться и теперь Ганпат благодаря доброте своего компаньона жил в достатке, все же его неотступно грызло сознание, что сам он не умеет и не способен работать. Не веря в себя и опасаясь каверз судьбы, он нарочно развивал в себе жестокость и грубость, а жажда денег и честолюбие постепенно превратили эти черты в орудия ненависти и эгоизма, только вредившие тем целям, которым должны были служить.

Ненависть, горевшая в его воспаленных глазах, придавала ему вид отвратительный,

злобный и дьявольский, словно он был убийцей, и люди отворачивались, когда он смотрел на них, сжав губы, упрямо, пристально.

Муну болтал и смеялся еще меньше, чем в доме бабу, он был в постоянном страхе перед Козьим Лицом. По утрам им овладевало состояние глубокой меланхолии, смутное чувство неверия в свои силы, а нарастающее ощущение слабости камнем лежало на сердце и выражалось в особой нервности и неуравновешенности. Ему казалось, что по утрам он не в силах ни видеть людей, ни говорить с ними, особенно же с хозяином и хозяйкой: одно ласковое слово, один ласковый взгляд— и он не выдержит, расплачется.

Единственное, что спасало его от этой подавленности, было немое чувство товарищества с другими кули.

Когда Ганпат отсутствовал, все они затягивали песню горцев и под ее звуки помещивали огонь в печах, кипятили экстракты в чанах, носили из колодца воду и чистили фрукты в пещерах. Грустная мелодия начиналась скорбным возгласом, протяжно плетя свой узор, проходила через четкие звучные ритмы стиха, стремительно поднималась до кресчендо и замирала; затем, в миноре, повторялся тот же поток ласковых слов, подхваченный певучей нежностью мелодии, и заканчивался возгласом отчаяния. В противовес этой печальной песне, облегчавшей им тяжелую жизнь изгнанников, они пели затем какую-нибудь из задорных, игривых народных песенок, бывших тогда в ходу. И Муну, казалось, обретал вновь буйную непринужденность своего детства, он начинал двигаться быстрее, шутил,

изобретал всевозможные проделки, изводил старух, пряча их фрукты, делал Махараджа и Бонгу мишенью для добродушных насмешек.

Иногда он усаживался на помост в нише и, вооружившись дешевым зеркальцем и целлюлоидной гребенкой, принимался расчесывать волосы на пробор, как делал молодой бабу в Шам-Нагаре. Но его длинные густые черные волосы не так-то легко подчинялись дисциплине цивилизации. Тогда он мыл их мылом Пирс, которое Тулси купил себе для белизны кожи, или похищал у товарищей благовонное масло для волос и буквально обливал им голову, после чего волосы становились мягкими, волнистыми и блестящими и легко разделялись пробором. Но, конечно, пробор приходилось сейчас же заглаживать щеткой, как только появлялся Козье Лицо, так как он однажды избил Тулси, увидев, что тот причесывается на пробор и, следовательно, желает походить на него, хозяина. Муну охотно побрил бы себе также бороду острой длинной бритвой, которая обычно лежала возле чернильницы и служила для того, чтобы точить карандаши. Но до сих пор ни на щеках его, ни на подбородке не появлялось волос. Он мечтал поскорее вырасти и иметь бороду. Он хотел быть мужчиной, стать воплощением истинной и достойной мужественности, подобно молодому бабу в Шам-Нагаре. Ему было грустно сознавать, что со времени его ухода из деревни ни в росте его, ни в объеме не произошло никаких значительных изменений.

Во всяком случае, он был доволен тем, что много ходит. Разносить на голове тяжелые медные бутылки с экстрактами доставляло ему

большое удовольствие, так как на это время он расставался с угрюмой жизнью фабрики и попадал в мир нарядно одетых мужчин и женщин и удивительных магазинов. К несчастью, Ганпат, если оказывался поблизости, зорко следил за тем, чтобы рабочие тратили на эти выходы как можно меньше времени, и горе тому кули, которого Ганпат настигал на базаре прогуливающимся между лавками и глазающим на витрины. Провинившийся наказывался. Он должен был целую неделю сидеть дома и ежедневно выкачивать из колодца по пятьдесят ведер воды, а вместо него посылался с бутылками Махарадж, которому было все равно — выходить или нет.

Так работали они изо дня в день в этом темном подземном мире, насыщенном жгучим зноем пылающих печей и острой вонью варящихся экстрактов, пряностей и патоки, а также золой и пылью, которые, смешиваясь с водой из бочонков, полных мокнувшими плодами, образовали на полу коридора слой скользкой грязи, прилипавшей к босым ступням рабочих. Кули ходили босые и голые, едва прикрытые набедренной повязкой. Они работали в течение долгих часов, с рассвета за полночь, и до такой степени автоматически, что не отличали движений собственных рук от рук товарища. Только пот, струившийся по их телам и постоянно раздражавший кожу, напоминал им, что они заняты тяжелым физическим трудом. А когда они, в середине дня, по очереди уходили в дом, чтобы поесть рису и гороху, приготовленных для них хозяйкой, их охватывало глубокое утомление и сонливость и им не хотелось возвращаться.

С наступлением зимы Муну свыкся с фабрикой.

Темные закоулки похожих на пещеры подземных подвалов, где он озирался с таким страхом в первые месяцы после приезда, уже не казались ему мрачными. Он уже различал кувшины с вареньем и пикулями, стоявшие рядами вдоль стен. Ему уже не чудились в пещерах два чудовища со сверкающими зубами, чье дыхание — холодный вонючий воздух, чей голос — стонущий рэв или голодный металлический свист. Зимой не угрожали и змеи, тогда как летом он видел собственными глазами гигантского пифона с развевающейся бородой, сидевшего на дровах в одном из дальних закоулков пещеры против пылающей печи. А Махарадж принес сплетенные трупы двух змей, очевидно умертвивших друг друга. Прабха же нашел в банке с вареньем какое-то мертвое пресмыкающееся со ртом на обоих концах тела.

Кроме того, зимой не так было душно и жарко на фабричном дворе. Можно было сидеть возле печи и смотреть на красное пламя, согревавшее тело горячими отблесками. Каждое утро Муну, усаживаясь перед печью, жадно следил за языками огня, вспыхивавшими на поверхности углей. Он был влюблен в огонь, пламя целительным жаром согревало его тело и бурые кирпичные стены. Оно плясало волшебный демонический танец, наполняя душу тем теплом, в котором мальчик так нуждался, живя среди серых теней под нависшей железной крышей, подобных теням холодной серой ночи, свинцовой крышей нависшим над землей.

С приближением весны Муну почувствовал особенный прилив радости. Каждый день рано

утром на фабрику доставлялись манго, зеленые манго, крупные и незрелые, как те, что он воровал в деревенских садах. Их приносили кули в огромных мешках, больше их самих, и высыпали в пещерах на пол, а Лачи и старухи-вдовы чистили их для варки и мочения.

Сердце Муну взволнованно билось при виде этих плодов, и он нетерпеливо ждал, как и все рабочие, чтобы Козье Лицо убрался с фабрики — тогда можно было и полакомиться.

Однако ненасытность Муну скоро навлекла на него беду.

Нельзя есть много манго, даже когда они созрели. Одного большого спелого плода хватает на целую семью, а мелких можно высосать не больше пяти-шести штук. Нужен потом целый стакан освежающего напитка, чтобы смягчить действие терпкого и приторного желтого сока; что касается недозревших, то нельзя съесть и маленький плод, не причинив себе вреда.

Но спелых манго не оказывалось вовсе, так как для заготовок шли только зеленые.

У Муну уже ломило зубы от их терпкого сока, однако, охваченный детской жадностью, он поедал один за другим, пока у него не заболели глаза, а больные глаза явились для Козьего Лица лучшим доказательством его виновности.

Увидев однажды утром, что мальчик яростно трет их, Ганпат отвел его руку, которой он прикрывал покрасневшее глазное яблоко, и злобно ударил его.

Рев Муну заставил Прабху спуститься вниз.

— Дуралей, ты бы зарыл зеленые манго в солому на несколько дней да съел бы их, когда они дозреют, — сказал Прабха, обнимая его и защищая от дальнейших ударов Ганпата.

Муну всхлипывал.

— Набаловали! Вора из него сделали! — кричал Ганпат.

— Пойдем, я отведу тебя к врачу, он даст тебе лекарство для глаз, — сказал Прабха, уводя Муну.

— Вы портите его, Прабха! Вы совершенно не понимаете, как надо вести дело! — кипятился Ганпат. — Эта свинья решительно ничего не делает, только лодырничает и жрет весь день незрелые фрукты. Поверьте, эти люди умеют работать только из-под палки. Теперь мы на несколько дней лишимся рабочего, в самое горячее время, когда нельзя терять ни минуты, а тут еще мне придется уехать, чтобы собрать с клиентов деньги!

Но Прабха и Муну уже не слышали его, они входили в овраг.

Во время отсутствия Ганпата из Даулатпура «на земле был мир и в человеках благоволение».

Муну уложили на несколько дней в постель: у него была лихорадка и воспаление глаз. Но нежная заботливость хозяйки значительно облегчила ему болезнь.

Добрая женщина часами просиживала у постели Муну и успокаивала озноб в затылке, растирая его твердыми бережными движениями. Она прижимала к себе его тело, отяжелевшее и словно налитое пылающей кровью. А когда ноющая боль в членах с мучительной медленностью выходила вместе с потом, она смягчала нестерпимое состояние полной обессиленности, вызванное борьбой организма с болезнью, ласковыми словами, такими, какие он слышал от матери: — Дай мне быть твоей

жертвой! Дай мне умереть вместо тебя! Дай мне страдать вместо тебя...

Ласка этих успокаивающих слов, проникавших в его душу подобно тому, как воздух невидимо и неуловимо проникает в тело, сияние этих слов, излучавшееся в пространство, как радость сочувствия, как тихая музыка, посылаемая самозабвенным певцом незримым слушателям, сквозь сон внимающим ему, магия этих слов были драгоценным наследством, которое было накоплено веками материнства. Муну навсегда запомнил эти слова, словно самое дорогое, словно утраченные воспоминания детства, эти слова были, может быть, самым прекрасным, самым мучительным и самым сладостным из них.

Когда он беспокойно метался с боку на бок, она ложилась рядом, брала его в свои объятия, и он засыпал, убаюканный теплом, исходившим от ее спокойного тела, опьяненный чудесной нежностью, таившейся в аромате этого тела.

Воспоминание об этом объятии тоже сохранило навсегда свою свежесть, — иное, чем воспоминание о материнских объятиях и, вместе с тем, схожее с ним, но граничащее с чем-то неведомым; воспоминание, уходящее корнями в невинные радости детской любви, когда у одной женщины учишься потребности познать другую, воспоминание, идущее от верности, доверия и заботы, по извилистым тропам желания, к первозданной свободе любви, естественной, как природа, отвечающей на зовы сердца, ищущей осуществления, как его ищут звери, и смеющейся над предрассудками религии и ограничениями морали.

Когда он оправился от болезни после беско-

нечных шербетов и порошков, прописанных ему одним из клиентов Прабхи, пользовавшимся средствами туземной медицины, после примочек, которые любящие руки хозяйки прикладывали к его покрасневшим глазам, он снова сошел в ад подземной фабрики.

Все были к нему очень добры и работать представляли мало. Он был слаб, задумчив и тих.

Поездка Ганпата продолжалась дольше, чем предполагалось. Это было счастьем, хотя Прабха и крайне нуждался в тех деньгах, за которыми уехал Ганпат. Ему удалось, однако, сделать заем у сэра Тодар Мала. От судейского крючка один шаг до ростовщика, да это, впрочем, почти одно и то же. Прабха выдал соседу вексель, обязавшись вернуть через месяц пятьсот рупий, и получил деньги наличными из сорока пяти процентов. Роздал он также несколько векселей по сто рупий некоторым ростовщикам с базара, так как надо было платить по срочным счетам. Но он знал, что клиенты должны фирме около двух тысяч рупий и что с возвращением Ганпата все долги будут ликвидированы.

Он был рад, что хоть состоялось примирение с соседями. Он решил закрепить это расположение, сняв большую комнату в подвальном этаже дома сэра Тодар Мала, чтобы поместить в ней женщин, разминавших розовые лепестки для варенья. Прабха считал, что если даст соседу возможность положить в карман лишние деньги, это будет фабрике только на пользу.

— Отчего вы все бледнеете, Прабха?—Лэди Тодар Мал снисходила даже до подобных вопросов. Но Прабха только складывал руки и извинялся за всякий пустяк. Ему хотелось,

чтобы скорее вернулся Ганпат и можно было бы развязаться с соседями. Но Ганпат все не ехал.

Наконец он явился. Казалось, он принес свары на кончике своего злого языка. Он орал на рабочих, бранил женщин и был враждебно молчалив с Прабхой.

Муну и раньше отличался большой душевной чуткостью, после же болезни она стала проявляться в нем с особой остротой. Он смутно угадал причину странного настроения Ганпата по тому, какие взгляды Ганпат бросал на Прабху, на Лачи, на рабочих, на несгораемый шкаф и бурые счетные книги.

В первый же день приезда Козьего Лица Муну уже знал: у него что-то есть на душе. Мысленно он определил его состояние так: «совесть не чиста».

В этот день Козье Лицо три-четыре раза перехватил взгляд Муну, вопросительно смотревшего на него. В первый раз Ганпат пробуравил его взором. Во второй выбранил. В третий отвернулся. В четвертый заревел: — Занимайся своим делом, ублюдок, нечего глаза пялить!

Муну перестал смотреть на хозяина, но спрашивал себя, неужели от воды и воздуха провинциальных городов так огрубело его лицо, стало таким тощим и злым? Скоро он, впрочем, совершенно забыл про Ганпата, помогая Прабхе раскладывать по жестянкам розовое варенье.

Но Ганпат не забыл той подозрительности, с какой на него смотрел Муну. Он только ждал случая, чтобы наказать мальчика за его неуместное подглядывание.

Случай не замедлил представиться.

Прабха дал Муну кувшин со свежим розовым вареньем и приказал отнести лэди Тодар Мал,

ввиду того, что платеж был на семь дней просрочен. Когда Муну побежал с кувшином в овраг, спеша поскорее доставить его в этот дом, где он любил бывать из-за красивой английской мебели и картин, Ганпат, сидевший на помосте со своей трубкой, увидел его и пошел за ним, чтобы посмотреть, куда это мальчик так бежит. Муну вручил кувшин лэди Тодар Мал, которая сплетничала с какой-то женщиной в своих снях. Ганпат ничего не сказал, но вернулся на прежнее место с нахмуренным лицом. Его привела в бешенство мысль о том, что Прабха позволяет себе делать подношения людям, сын которых прибил его, Ганпата, и которые привели к нему на фабрику санитарного чиновника. Услышав за собой шаги возвращавшегося Муну, он круто обернулся, схватил мальчика за шиворот и закричал:

— Кто приказал тебе отнести ей варенье?

— Большой сетжи велел мне пойти туда и отнести, — сказал Муну испуганно. — Он велел давать ей все, что она захочет.

— Ну, дело ясное, — сказал Ганпат сквозь зубы. — А ты, видно, решил выслужиться и тут и там, что бежишь со всех ног к нашим врагам с вареньями да сиропами?

Он звонко ударил Муну по левой щеке. Мальчик поднял левую руку, желая защитить лицо. Второй удар пришелся по кисти. Ганпат ушиб руку об кость. Он рассвирепел так, что потерял власть над собой. Он стал бить мальчика кулаком под бок — один, два, три раза, пока Муну, пошатнувшись, не упал в грязь, рыдая и вскрикивая.

— Гоняешь по оврагу, бездельничаешь, сын пса! — орал Козье Лицо, чтобы скрыть свой

гнев на дающего и на принимающих подарки. — Еще раз пойдешь — все кости переломаю.

Из пещеры выбежал Прабха, он стоял и смотрел на всхлипывающего Муну, лежавшего лицом в грязи. Его жалостливый взгляд встретился с воспаленным взглядом Ганпата. Тогда он оглянулся на дом соседей и увидел, что в дверях стоит раздраженная лэди Тодар Мал. Она, видимо, прочла на злом лице Ганпата всю его ненависть к ней и поняла, что его взрыв в отношении Муну — только маневр.

— Пожиратели своих хозяев! Низкие твари! Кувшина с розовым вареньем вам жалко! А мы-то были так добры к вам, хотя ваш дым нам все глаза выел! Вас давно надо было вышвырнуть отсюда! Мы даже часть своего дома уступили вам, чтобы вашим грязным старухам было где работать! Неблагодарные дряни! Вот уж верно пословица говорит: «Если друг твой горец — он придет к тебе в дом, съест весь твой рис и горох и уйдет».

— Замолчите, — сказал Ганпат, испуганный грозой, которую вызвал, — это вас не касается! Мы имеем полное право наказывать наших слуг, если пожелаем.

— Ах вы, пожиратели своих хозяев! — воинственно продолжала женщина. — Козья Морда! Это ты виноват во всех недоразумениях между Прабхой и нами! Он настоящий джентльмен. А ты, ты мошенник и выскочка! Твой отец, маклер, тоже был выскочка! Разве я не знаю тебя и твою семью? Твой отец выгнал свою жену и блудил с магометанкой, с шлюхой! А ты пропойца и безобразник! Твой отец занимался спекуляциями да у людей деньги

крал! А ты обкрадываешь своего компаньона! По твоим глазам вижу, пес этакий! Тебе не место здесь, среди порядочных людей, где есть молодые девушки и молодые женщины!

Когда Муну услышал, как соседка отчитывает Ганпата, он стих и сдержал рыдания. Он испытывал мстительное удовольствие оттого, что Ганпата так позорят, и охотно перестал бы плакать, так как ему не хотелось пропустить ни словечка из того, что говорила женщина. Но тут к ней обратился Прабха:

— О, мать, мать, прости нас. Видишь, я складываю руки перед тобой. Я упаду к ногам твоим! Я сотни борозд проведу по земле кончиком моего носа! Я любое наказание выполню, которое ты на меня возложишь! Но, прошу тебя, прости его. Он безумен. Я с ним поговорю. Пойди и отдохни. Ты ведь знаешь, что ты наша мать, а мы твои дети. Остуди свой гнев, прости нас!

Но ее уже нельзя было остановить. Она наклонилась вперед, медленно и отдельно проговорила:

— Нет, больше не ждите от нас милости. В последний раз я простила ему, когда он осмелился затеять ссору с моим сыном. Довольно. Подайте мне ключ от моей подвальной комнаты! Вы, наконец, показали свое настоящее лицо! Убирайтесь из моего дома и верните нам наши деньги!

Прабха понял всю серьезность положения; к его обычной робости прибавился страх, что его посадят в тюрьму за долги. Все же он сложил руки перед этой женщиной, хотя и решил дать ей отпор.

— Мать, прости нас, — оказал он рассуди-

тельно. — Этот человек не понимает, что такое добрососедские отношения. А вам следовало бы понимать. Вы не имеете права так обращаться с нами...

Но укротить ее было невозможно.

— Нечего приходить ко мне просить прощения! Вы за него заступаетесь! Вон из моего дома! Верните наши деньги! Я еще добьюсь, что вас отсюда вышвырнут!

На миг воцарилось зловещее молчание.

Присутствие посторонних, видимо, подстегнуло самолюбие лэди Тодар Мал и ее драматический пафос.

Она топнула ногой и воскликнула:

— Выходи! Почему ты прячешься, как женщина, как трус, когда тебя обвиняют!

— Что случилось, кха... кха... что случилось? — задыхаясь от кашля, спросил сэр Тодар Мал; он спускался по лестнице своего дома, одетый для обычного послеобеденного катанья в городском саду.

— Взгляни на этих пожирателей своих хозяев! — закудаhtала лэди Тодар Мал; ее щеки вспыхнули при появлении мужа, на лице отразились надменность и презрение. — Они весь наш дом прокоптили своим дымом, а мы еще были добры к ним, комнату им сдали, денег одолжили, и вот они, эти низкие люди, пожалели для нас какого-то несчастного кувшина с розовым вареньем!

— У нас достаточно денег, чтобы покупать варенье на базарах! — сказал сэр Тодар. — Эти мерзавцы... — Он закашлялся.

— Рай бахадур, прости нас,—сказал Прабха, стоя со сложенными руками перед сэром Тодар Малом и отвешивая ему низкие поклоны,

пока тот старался откашляться. — Ганпат безумец. Я послал вам в дар немного варенья. Он не знал, кому мальчик несет его. Ведь к нам столько ходит всяких попрошаек. Он не знал. Он горяч и туго соображает.

— Он лжец, а теперь ты заступаешься за него, — вскипела лэди Тодар Мал.

— Подожди, дай ему сказать, — и сэр Тодар Мал отстранил жену.

— Но он лжец, этот трус, он старается оправдать пропойцу, развратника!

— Знаете, — начал сэр Тодар Мал, стараясь говорить размеренно и спокойно, чтобы снова не закашляться, — это очень неблагодарно с вашей стороны — сердиться за ложку варенья, после того как я одолжил вам денег, сдал комнату и взял обратно от сахиба мою жалобу на вас.

Он упомянул о жалобе в последнюю очередь, так как она осталась без последствий. Доктор Марджорибэнкс так ничего и не предпринял, только раз, встретившись с сэром Тодар Малом после собрания комитета, сказал, что следовало бы на крыше фабрики поставить дымовую трубу, и затем убежал играть в поло.

— Прости нас, Рай сахиб, прости в последний раз, — молил Прабха, склоняясь к ногам сэра Тодара: — Никогда больше этого не случится! Вы нам отец и мать...

— Ну, хорошо, хорошо, Прабха, — сказал сэр Тодар Мал, поджимая губы, чтобы скрыть выражение тщеславной гордости при виде человека, извивающегося перед ним в пыли. — Пусть эта свинья не ведет себя в другой раз так гадко и глупо. — И он удалился.

— Смотрите, эти бессовестные люди даже

ключей не потрудились вернуть! — патетически воскликнула лэди Тодар Мал, простирая руки и обращаясь к толпе зрителей.

— Нехорошо так надоедать соседям, — мягко сказал Прабха своему компаньону, когда общее волнение улеглось. — Они ведь помогли нам деньгами, когда вас не было.

— О, лучше не говорите мне об этом, — зарычал Ганпат. — Вы развалите дело с этой вашей привычкой вечно подносить подарки. И деньги они наверно дали вам под огромные проценты.

— Но ведь никто бы не дал нам денег без процентов, Ганпат, — заметил Прабха. — Вы же не выслали ни одной рупии из тех денег, которые вы собрали. Поневоле пришлось занимать. И срок выплаты уже давно прошел. Скажите мне, кстати, сколько вы привезли? Тогда мы покончим и с этим долгом и с двумя другими и погасим к лету все обязательства. Я все забываю спросить вас, сколько вы собрали.

— Около пятидесяти рупий, — сердито пробормотал Козье Лицо, опустив голову.

— Пятьдесят рупий?—воскликнул Прабха.— Но нам были должны от семисот до двух тысяч?

— Ну, что поделаешь, сколько мог, — колко ответил Ганпат. — На самом деле я собрал около трехсот. Но, так как мне не была выплачена моя доля дохода за прошлый год, то двести пятьдесят я оставил себе.

— Ну, тогда другое дело,—сказал Прабха.— А то я испугался, когда вы сказали пятьдесят рупий...

Оба компаньона замолчали.

— Вот уж не думал, что вы так оскорбите меня, — вдруг начал Ганпат вызывающе. Он весь побледнел от сознания своей вины и старался прикрыть свою растерянность самоуверенной гримасой.

Прабху охватило неожиданное чувство отворачивания. Было что-то в лице его компаньона, что сразу разрушило прежнее доверие к нему Прабхи; так иногда одно слово, поступок, жест способны вдруг разрушить самую глубокую веру в человека.

— Слушайте, — сказал он просто, — одолжите фирме двести рупий из тех двухсот пятидесяти, которые вы взяли себе, чтобы мы могли заплатить долги нашему соседу и Деви Диалу. С обоими очень неприятно иметь дело. А на той неделе я поеду в Лахор и доберу те пятьсот рупий, которые нам клиенты еще должны и которые вы не собрали, и вы получите обратно ваши деньги.

— Нет у меня этих денег, — отозвался Ганпат, внезапно изменившись в лице. — Я истратил свою часть, — добавил он. — и в Лахоре вам больше собрать не удастся. Сколько я ни старался, я ничего сверх этого выжать из клиентов не мог.

Тут у Прабхи возникли подозрения.

С достоинством старшего брата, каким он всегда держался в отношении Ганпата, Прабха сказал:

— Пойдемте, расскажите мне все подробно. Просмотрим счета и подумаем, откуда бы нам добыть денег, чтобы все это уладить.

Затем позвал Муну.

— О, Муну, пойдн сюда и сложи те суммы, которые тебе продиктует хозяин Ганпат.

Муну стоял в ожидании, не решаясь приблизиться.

Тем временем страх, охвативший Ганпата, все возрастал. Он видел, что его ставка на ложь и притворство бита. Все же он еще раз попытался отвлечь внимание своего компаньона от вопроса о деньгах.

— Почему этот ублюдок заслуживает лучшего обращения, чем остальные?

— С ними обращаются точно так же, — мягко отозвался Прабха, перелистывая счетные книги.

Час возмездия настал. Но Ганпат все еще старался уклониться от него.

— Это он виноват в сегодняшней истории, — сказал Ганпат, — он отнес варенье этой суке.

— Не начинайте опять зря бранить людей, — остановил его Прабха довольно сурово. — Вы знаете, что мне уже пришлось извиняться за вашу грубость перед соседями. А послал им варенье с мальчиком я. Значит, тут не виноват ни он, ни они. И я сделал это потому, что хотел поддержать с ними хорошие отношения, так как мы не уплатили вовремя.

— Что это вы вздумали выдавать векселя, — сказал Козье Лицо, избрав другой пункт нападения на Прабху. — По-моему, надо занимать деньги, не связывая себя никакими обязательствами: не могу заплатить — и все.

— Быть нечестным в деловых вопросах не годится, вы знаете, — сказал Прабха.

— Мне все равно, годится или не годится, — огрызнулся Козье Лицо. — Если вы не дадите расписки, никто не может потребовать с вас денег. И не смейте называть меня бесчестным. Я вам кости переломлю!

— Да я вовсе не называл вас бесчестным, Ганпат,—стал уверять его Прабха.—Вы зря горячитесь. Успокойтесь, мы завтра все обсудим.

Ганпат знал, что если не сегодня, то завтра разрыв неизбежен. Нечистая совесть разжигала его злобу сильнее, чем любые упреки.

— Нет, вы обозвали меня бесчестным! — воскликнул он. — И вы верите всему, в чем меня обвиняла сегодня эта женщина. Ну, так знайте же, я собрал всего восемьсот рупий и все, кроме пятидесяти, истратил! Я встретился с Амир Джан, которая жила раньше в Даулатпуре. Но не воображайте, что я упрекаю себя за растрату этих денег! Я имею на них право; и не воображайте, что я теперь в ваших руках: я не позволю вам никаких оскорблений! Я не раб ваш и не допущу, чтобы вы меня шантажировали.

— Но я же не шантажирую вас, Ганпат, — сказал Прабха, бледнея от гнева, хотя мучительно принуждал себя быть мягким. — Все в порядке. Вы молоды и холосты. Отчего же разок и не покутить? Истратили деньги, так истратили. И я рад, что вы, наконец, сказали мне правду. Мы постараемся занять у кого-нибудь эти деньги, разделаемся со счетами, и все уладится.

— Вы хотите уничтожить меня своим ханжеским смирением? — воскликнул Ганпат. — Ошибаетесь! Не выйдет! Я вижу вас насквозь с вашей святостью и кротостью! Вы воображаете, что ужасно добры, не правда ли?

— О не говорите так, брат Ганпат, — сказал Прабха, наконец возмущившись. — Это нехорошо. Вы знаете, я никогда не вмешивался в вашу частную жизнь, я и сам, может быть,

поступил бы так же, будь я на вашем месте. Думайте на мой счет что хотите, но я не упрекаю вас за ваше поведение. Я очень рассердился на вас, когда вы солгали мне про деньги, которые вы собрали в Могое, помните, я был тогда резок с вами. Но теперь я уже на это несколько не сержусь.

— Вы хитрый дьявол! Вы лицемер!—закричал Козье Лицо.

— Пожалуйста, перестаньте браниться. Я совершенно во всем этом неповинен. Я — горец и режу правду по-честному, напрямик. Моя жизнь была тяжелая, трудовая, и я смотрю на все иначе, чем горожане. Лучше бы я так и остался кули и не обзаводился этой фабрикой!

— Подумаешь! — иронизировал Ганпат. — Неплохо вы умеете и невинность соблюсти и выгоду получить! Вы ловкач и хитрец, вы самый хитрый и продувной плут, когда-либо приходивший в город... Вы хитрый горный пес!

— Можете говорить, что хотите, — сказал Прабха, делая отчаянные усилия, чтобы подавить гордость и собственное достоинство, только бы вернуть этого человека в атмосферу обычных деловых отношений и дружелюбия, хотя он и чувствовал, что взаимное доверие между ними навеки утрачено: — Уж какой есть, и наверно очень дурной и грешный, хотя и стараюсь быть хорошим.

— Ну, хватит с меня! — заявил Ганпат, вдруг вставая. — Ханжа! Вы воображаете, что вы ужасно хороший и станете еще лучше, притворяясь дурным.

— О, будьте же благоразумны! — воскликнул Прабха, стараясь схватить Ганпата за руку

и усадить его. — Разве вы забыли, что мы компаньоны и нам очень важно, чтобы наши имена были соединены?

— Я расторгну товарищество и постараюсь втоптать вас в грязь за все ваши сегодняшние оскорбления!! Вы обманули меня! Грязным кули ты был и останешься!

Он собрал счетные книги, взвалил на плечо и пошел надевать башмаки, чтобы выйти.

— О, пусть башмак твой наступит на мою голову, — сказал Прабха, поднимая башмак Ганпата и протягивая его компаньону с покорностью отчаяния. — Бейте меня по голове, пока я не облысею, но не покидайте меня! Два года работали мы вместе и создали это дело! Ужасно на старости лет снова стать кули, таскать тяжести на спине!

— Да мне наплевать, пропадай ко псам, гнусный, хитрый ублюдок! — сказал Козье Лицо. — Давай башмак. Можешь жрать навоз и пить мочу! Отец твой был кули и ты кули. Зря я связался с тобой, грязная свинья! Ступай, ползай перед соседями, червь, ступай, трусливая скотина! Никогда не уроню я своего достоинства, ни перед кем не унижусь, и уж, конечно, не перед таким мерзким кули, как ты!

— О, браните меня сколько вам захочется, — сказал Прабха, — но не уходите. Успокойтесь, все уладится! Ваш гнев остынет.

— Пошел прочь, хам, — заревел Козье Лицо и бросился к двери.

Муну, который с ужасом и страхом следил за разгоравшейся ссорой, подбежал к Ганпату и, ухватив его за полу, стал умолять:

— Хозяин, не уходите, не уходите, нехорошо вы делаете.

Тулси, Бонга и даже Махарадж тоже побежали и сложили руки.

— Прочь с дороги, — хрипел Ганпат и, потеряв всякое самообладание, стал наносить вокруг себя удары, точно бил молотком, пока парни не уползли обратно на помост.

— Ужас! Ужас! — застонал Прабха и сел, сжав голову ладонями.

— Замолчи, бешеный боров, гнусный негодай! — в последний раз выругался Ганпат, уже с порога. — Перестань выть, собака, и не смей ходить за мной. Я уже сказал тебе, что я решил твердо. Хватит с меня возиться с таким отбросом, как ты. Ты не принадлежишь к моему классу. Вы все — кули, вам место на улице, туда и пойдете. Плюю на вас!

Он плюнул и вышел.

Козье Лицо сдержал слово. Он открыл собственную фабрику. Тех пятидесяти рупий, которые остались у него от сбора денег по счетам старой фирмы, хватило для найма помещения и покупки необходимого инвентаря. Сырье он получил в кредит. Тогда он стал переманивать к себе клиентов Прабхи, уверяя, что обижен своим компаньоном и что дело Прабхи накануне банкротства из-за огромных долгов, которые никогда не будут заплачены.

Эта хитрая клевета скоро повсюду вызвала толки о том, что Прабхе грозит банкротство. Доверие к фирме было подорвано, кредиторы то и дело бегали к дверям фабрики, колотили в нее кулаками и предлагали Прабхе выйти и отдать долги.

— О, выйди, Прабха, — кричали они напере-

бой. — Выйди, покажи лицо свое! Что ты прячешься к жене под юбку? Выйди, будь мужчиной!

Прабха лежал в дальнем конце комнаты и ничего не слышал, но его жена, сидевшая у его постели, слышала. Она встала, однако, вследствие своей скромности, и врожденной, и предписываемой обычаем, не вышла, а спустилась в помещение фабрики и сказала Тулси:

— Тулси, пойди скажи лалам, что твой хозяин болен и что он их примет завтра.

— Пойди, охе Муну, — обратился к нему Тулси, по своему обыкновению перекладывая порученное ему дело на другого. — Пойди и скажи, что хозяин болен.

Муну прошел мимо Махараджа, продолжавшего носить воду из колодца, поднялся в жилую комнату и, подойдя к широкому окну, выходявшему на овраг, сказал:

— Лаладжи, хозяин Прабх болен, у него лихорадка. Не придете ли вы завтра?

— Болен? ты говоришь — болен? — взорвался один из кредиторов, одетый в муслин человек с длинным лицом.—Я знаю, что болен!.. Еще бы не болеть, коли на совести столько чужих денег! А все-таки пойди и приведи его, или мы его сами вытащим из постели, этого подкидыша!

— Лаладжи, он право же болен, — повторил Муну, складывая руки в предчувствии скандала. — Пожалуйста, уходите. Завтра он выйдет и поговорит с вами.

— Иди, иди, соблазнитель своей дочери, иди и приведи его, — настаивал купец в огромном тюрбане, расшитых золотом туфлях

и муслиновой одежде, обтягивавшей его жирное брюхо.

Муну отошел от окна.

Лэди Тодар Мал была занята мытьем пола в своей кухне на чердаке и сначала ничего не слышала, иначе она сейчас же сошла бы вниз. Но когда она выливала грязную воду с террасы четвертого этажа, снизу донесся рев:

— Стыда в вас нет, как вы смеете! Что вы льете на нас грязную воду! — кричал хор голосов. — Вы испортили нашу одежду, мать!

— А вы кто такие? — виновато осведомилась лэди Тодар Мал. — Почему я знаю, что вы тут? Что вам нужно?

— Нам нужен этот банкрот Прабха, — сказал один из них.

— Хай! Хай! Ужас! Беда! Чтоб его лицо почернело! — завопила она. — Так вы говорите, он разорился? Да? — крикнула она, увидев других кредиторов.

— Да, и он не хочет выйти и показаться нам, — сказал кто-то.

— Вай, ты пожиратель своих хозяев! — вопила она. — Вай, чтоб ты пропал! Чтоб тебя змея ужалила! Отчего ты не выходишь к нам? Где ты там спрятался? Пойди сюда и отдай мне сначала пятьсот рупий моего мужа. А с другими расплачивайся как знаешь, хоть жестянками из-под варенья. Как же мы вернем теперь наши деньги?

— Значит, он и вам должен пятьсот рупий? — сказал длиннолицый человек.

— Да, этот обманщик прикидывался таким смиренником, воспользовался добротой моего мужа, и мы дали ему деньги, хотя дым от его фабрики нам весь дом прокоптил! — Затем

она снова направила электрический разряд своих восклицаний на скрывающегося в доме Прабху: — Иди, иди, покажись! Где ты там притаился? Где? Пусть корабль твоей жизни никогда не плавает по волнам бытия!

Ответа не последовало. Донесся только чей-то тихий плач. Это плакали жена Прабхи и Муну; они стояли обнявшись возле кровати, на которой спал Прабха.

— Пойдем за полицией, — предложил длиннолицый купец.

— Подождите, — остановила его лэди Тодар Мал. — Мой сын — тханедар. Он наверху. Я позову его. — И она ринулась вверх по лестнице.

Рыдания жены разбудили Прабху.

— Что случилось? — спросил он.

— Там внизу шумят купцы, — неохотно ответил Муну, — они требуют вас.

Прабха сейчас же встал и подошел к окну, выходившему на овраг. Он был бледен и слегка дрожал. Он сложил руки и хотел обратиться к своим кредиторам, но они закричали:

— А, вот он, ублюдок! Вот он, негодяй! Вот он, мошенник! Иди-ка вниз, сын собаки! Иди и отдай наши деньги.

— О, прошу вас, простите меня, лаладжи. Я каждому из вас заплачу до последнего гроша. Я верну все, что должен, пусть я даже умру из-за этого. Но, пожалуйста, не браните меня!

— Иди вниз, сын борова, — требовали они хором. — Иди, и мы поговорим с тобой! Отчего ты не желаешь сойти вниз? Мы давно зовем тебя.

— Я был болен, — сказал Прабха, все еще

со сложенными руками. — Я лежал в постели и не слышал вас.

— Не слышал нас? Ах ты, подлец! Да мы до хрипоты кричали!

— Где он? Где он? Где он сейчас? — спрашивала лэди Тодар Мал, стремительно сбегая по лестнице.

— Где ты, охе! Иди вниз, сын суки! — кричал, следуя за ней, ее сын, Нат Рам, пыжась и важничая перед купцами, оттого что занимал столь высокий пост, который получил исключительно благодаря связям отца. Он был в мундире цвета хаки с черным поясом, при пистолетах и свистке.

— О, простите меня, тханедар сахиб! — взмолился Прабха, дрожа от страха.

— Сойди вниз, или я с тебя шкуру спущу! — гремел тханедар.

— Хорошо, тханедар, хорошо, — сказал Прабха. Но он все еще не был уверен, следует ли рассказывать всем этим людям, как его обманул его компаньон.

— Так ты не хочешь сойти? — закричал тханедар. — Прекрасно. Я иду за полицейскими.

— Простите, о простите меня, — плакался Прабха. — Я ведь простой рабочий, кули, я же не знал, что Ганпат уйдет и бросит меня...

— Наконец-то ты понял, где твое настоящее место, — сказал пузатый лала. — Ты хотел стать важным сетом, не правда ли?

— Давайте вытащим его оттуда и запрем фабрику, — предложил длиннолицый. — Может быть, удастся вернуть деньги, если мы продадим оборудование...

— Я первая имею право на деньги, — заявила лэди Тодар Мал. — Все эти годы он коп-

тил мой дом своим дымом. Первым должен получить свои деньги мой муж.

— Пойди сюда, Прабх Диал, с тебя следует прежде всего за наем фабричного помещения и комнаты, в которой ты жил, — сказал, приблизившись, человек с обезьяньим лицом; яркие белки его глаз подчеркивали черноту лица, он был одет пестро — в рубашку с открытым воротом, легкий пиджак, белые панталоны и черные сапоги.

— Дайте дорогу бабу Дев Татту, — сказала какая-то женщина из толпы, собравшейся у спуска в овраг.

— Я заплачу вам, бабуджи, — сказал Прабха, протягивая сложенные руки к своему домохозяину. — Я заплачу вам за наем помещения, даже если бы это мне стоило жизни.

— Ну, твое слово теперь не имеет цены. Ты ведь обанкротился.

— Потерпите, бабуджи, потерпите, вы получите ваши деньги.

Прабха поспешил в глубь дома, чтобы поднести хозяину, вместо платы, прохладительные напитки, столь искусно изготавливаемые его женой.

В эту минуту появилось двое полицейских — сикх и магометанин — в куртках и брюках цвета хаки и в красном и голубом тюрбане; размахивая дубинками, они стали расчищать в толпе дорогу для полицейского инспектора и сына сэра Тодар Мала, субинспектора, приближавшихся с необычайной важностью и помпой.

— Где Прабха? — грозно рявкнул тханедар.

— Он смылся, этот пожиратель своих хозяев, — сказала лэди Тодар Мал, прикрывая грудь полою сари и отступая в сени своего

дома с тем стыдливым и достойным видом, какой полагалось иметь матери тханедара в присутствии полицейского инспектора-англичанина.

— Пройдите и вытащите его оттуда, Тейя Синх и Яр Мухамед! — приказал тханедар.

В ту минуту, когда полицейский ринулся к двери фабрики, эта дверь распахнулась, так как Прабха выходил в сопровождении своих рабочих.

— Выходи, свинья! Выходи, собака! — заорали, размахивая дубинками, полицейские и схватили Прабху за воротник.

Когда они вырвали Прабху из объятий Муну, Тулси и Бонги и вытащили его во двор, все время подгоняя пинками, кредиторы завывали, как дикие звери, почуявшие добычу.

— Давайте сюда эту грязную собаку! Этого грязного горца! Вытолкайте его оттуда!

— Отведите его в участок, живо! — приказал полицейский инспектор, подозрительно поглядывая на Прабху. — Видно упрямый прохвост!

— Да, негодяй — первый сорт, — сказал тханедар. Затем обернулся к остальным кредиторам: — Приходите завтра все в участок для дачи показаний. А пока можете вернуться к своим прилавкам. Мы тут разберемся.

— Да, тханедар сахиб! — закивали купцы, складывая руки перед этим могущественным другом ангрези саркаров, которых они почитали и боялись больше всего на свете.

Тейя Синх и Яр Мухамед повели Прабху по узкому оврагу, мимо перешептывавшихся любопытных, которые, казалось, все до одного были поражены такой демонстрацией мощи.

Слезы потекли по щекам Прабхи, когда он, обернувшись, посмотрел на окно, у которого стояла, плача, его жена.

— Смотри вперед, свинья! Иди в участок! — закричал тханедар, выступавший со своим начальником позади полицейских.

На некотором расстоянии следовали Муну, Тулси, Бонга и Махарадж. Муну всхлипывал, Тулси был мрачен и бледен, Бонга растерянно смотрел перед собой и пытался что-то сказать, Махарадж ковылял молча.

Процессия прошла переулочек Кошкодавов и свернула на Книжный базар, за которым, под башней с часами, находился полицейский участок. Прохожие и владельцы лавок смотрели ей вслед, одни — изумленно, другие — испуганно шепча, третьи — равнодушно, продолжая болтать о своих делах, четвертые — выкрикивая брань и проклятия по адресу человека, которого некогда почитали как сетжи.

Сидя на чарпае, светловолосый, горбоносый магометанин пускал клубы дыма из своего кальяна.

— Заставь его признаться в своем преступлении, — приказал тханедар. — Он арестован за неплатеж долгов.

Сержант встал, отдал честь своим начальникам, вошел в комнату, расположенную позади веранды, и вынес оттуда трость.

— Ну, признавайся, мошенник, — сказал он, подойдя к Прабхе, которого Тейя Синх и Яр Мухамед все еще крепко держали. — Признавайся, где припрятал деньги? Ну-ка, скажи!

— Хузур, — отвечал Прабха, складывая руки. — Нигде у меня не припрятаны деньги. Но у меня есть инвентарь. Только простите

меня, и я выплачу до последнего гроша все, что должен.

— Значит, по-твоему, свинья, лжет тханедар сахиб? — зарычал сержант. — Признавайся сейчас же, признавайся!

И он стал наносить Прабхе удар за ударом, упоенный яростью, с окаменевшим лицом, сжав губы, склонившись грузным телом над бедным преступником.

— О, не бейте его, не бейте! — закричали Муну и Тулси. — Это Ганпат виноват.

Сержант остановился, чтобы перевести дух.

— Бей его! Вот так бей! — и полицейский инспектор ударил сержанта, показав, как нужно бить. Затем обернулся к парням, которые стояли за его спиной, одинаково заинтересованные и его белой кожей и тем, как избивают их хозяина, и крикнул: — Вон!

— Пошли прочь, свиньи! — взвизгнул сорвавшимся голосом тханедар. — Пошли прочь, здесь вам не балаган. — И он начал хлестать своей тростью по голым спинам и ногам.

— О, бейте лучше меня, хузур, бейте меня! — завопил Прабха. — Бейте сколько хотите, но пощадите этих парней.

— Молчи, боров! — сказал сержант, размахивая тростью. — Берегите собственную шкуру, это вам не балаган. Меня самого побили за то, что я был слишком добр к нему! Получай. — И он снова принялся стегать Прабху, еще, еще, пока вся комната не наполнилась одним только мелькающим блеском трости.

Жалобы Прабхи слились в непрерывный вой: — О, мой бог, о, бог. Где ты, бог мой?

Муну, Тулси, Бонга и Махарадж смотрели то на своего хозяина, то на безоблачное небо,

и хотя сердца их сжимались от муки, глаза оставались сухи. Волна неизбывной, невыразимой горечи подкатывала к горлу.

Домой они вернулись с таким чувством, словно кто-то умер, словно умер их хозяин Прабха. Глухим эхом отдавалась в длинной комнате поступь их босых ног, когда они, проходя через двор, направились в жилую часть дома. Особенно тулко звучали шаги Махараджа, идиота, да тяжело топал плоскими ступнями Бонга. Казалось, что самый воздух в комнате дрожит от слез, проливаемых хозяйкой.

— Садитесь, Махарадж и Бонга, — сказал Тулси с той пристойностью, какой требовало постигшее их горе.

Муну устремился на цыпочках к окну, под которым лежала, свернувшись клубочком, жена Прабхи. Но, едва дойдя до середины комнаты, он остановился. Вид этой женщины, сраженной горем, удерживал его. Ему хотелось подбежать к ней, как он в детстве подбегал к матери, когда, вернувшись домой, заставал ее плачущей. Но что-то мешало, что-то изменилось в нем. Он перерос непосредственность своих детских порывов и уже отдавал себе отчет в своих чувствах. Нет, он не мог подойти к этой женщине.

— Я пойду и попрошу учителя Ганпата, чтобы он вызволил из участка учителя Прабху, — сказал Тулси, обращаясь к Муну.

Муну поднял на него глаза. Лицо мальчика было искажено страданием.

— Пойдемте, охе Махарадж и Бонга, — сказал Тулси, направляясь к двери, — пойдемте со мной, подышим свежим воздухом.

Он обращался с ними, как с малыми детьми,

которые не знают жизни. Уныло поднялись они и последовали за ним.

Муну остался, и ему почудилось, что теперь рыдания его госпожи заполняют всю комнату. Он перестал воспринимать что-либо, кроме этих рыданий.

Затем на миг воцарилась тишина, напряженная тишина перед новым взрывом боли от нахлынувших воспоминаний. Случайный звук, неосторожный, неловкий шорох был бы оскорблением этой тишины.

Муну посмотрел вокруг: в углу блестела начищенная медная посуда; цветы, изображенные на двух глиняных кувшинах, переплетались замысловатой вязью; назойливо лез в глаза яркий рисунок плодов манго, вытканый на одеяле, которое висело среди простынь и другого белья на веревке.

Но вот воздух вздрогнул от нового рыдания, отозвавшегося в сердце Муну.

С трудом передвигая ноги, побрел он к тому месту, где лежала хозяйка.

— Встаньте! Встаньте! — сказал он, наклоняясь над ней.

Она судорожно всхлинула в ответ, его сочувствие смягчило ее горе.

Он опустился перед ней на колени, взял ее за локоть, стараясь приподнять.

— Встаньте! Встаньте! — повторял он.

Она зарыдала еще сильнее.

— О, я не знаю, куда идти, дитя, — всхлипывала она. — Я не знаю, что делать!

Медленно приподняла она голову и прислонилась к его плечу.

Он ощущал на своей шее ее дыхание, ее нежную жаркую щеку на своем плече, и его

охватило странное волнение. Он замер, смущенный, в неловкой позе.

Ее вздрагивающие губы пробудили в нем воспоминание о каком-то ощущении, испытанном им во сне.

Он взглянул на ее смуглое лицо. Сегодня ее черные волосы, спадавшие ей на лоб и на темную линию бровей, не были убраны, как обычно, золотисто-желтыми цветами. Выступающие скулы пылали румянцем, и слезы, скопившиеся в глубоких черных глазах, были похожи на озера света. Ее рот был полуоткрыт, и это придавало губам выражение мягкой энергии, недостававшей подбородку.

Муну пришли на память дни его болезни, когда она ласкала и обнимала его, прижималась губами к его лбу и утешала его незабвенным припевом песни, которую поют горянки.

И теперь он прижал ее к себе. Он чувствовал, как она дрожит. Гнет сковывавшей его неловкости исчез. Стало странно легко. На миг он забылся в ее тепле. Перед его глазами была ночь, только ночь. В его крови закипела любовь, и эта любовь была мучительна, как пытка. Она вызвала на его глаза жгучие слезы. И его охватила такая страстная, такая беззаветная скорбь, какой он еще не ведал.

— О, не плачь, — сказал он, — не плачь!

— Не плачь, дитя мое, хоть ты не плачь, — сказала она.

В сумерках раздались глухие мягкие шаги босых ног. Затем тяжелые шаги и голоса.

Муну и его госпожа все еще плакали.

— Смотри, охе Муну, хозяин Прабха вернулся, -- донесся голос Тулси.

— Отчего вы оба плачете?—спросил Прабха,

опускаясь на чарпай возле двери. — Вы что же думали, я умер или пропал? — В его голосе была обида. Лицо казалось бледным и осунувшимся. Он лег, его тряс озноб.

— Значит, они отпустили вас, учитель? — спросил Муну, подбегая к нему.

— Да, да, они ни в чем не могли обвинить меня, у них не было приказа об аресте, — сказал он, обращаясь больше к жене, чем к Муну. — Я разорился, верно, и я постараюсь выплатить всем моим кредиторам хотя бы половину, но полиция била меня зря... Ох, как ноют мои кости и как мне холодно! Дай-ка мне одеяло или простыню...—И он продолжал бормотать что-то уже совершенно непонятное.

Он лег и потерял сознание, а сквозь дыры его растерзанной куртки и дхоти чернели припухшие синяки и кровоподтеки, и, казалось, издавали зловоние.

Жена крепко обняла Прабху, стараясь под накинутым на голову покрывалом унять свои слезы. Муну укутал хозяина потеплее, а Тулси побежал за врачом, жившим в конце переулка.

После посещения врача Тулси и Муну отправились за прописанными Прабхе лекарствами и мазями в аптеку на Главный базар.

Безмолвно шагали они сквозь неровный мрак Ветошного базара, прошли узенькую улочку, выходящую одним концом к гробнице святого Сэн Даса, другим — к храму Всех Душ, свернули вдоль высокой городской стены к мечети Шер Кхана и выбрались на широкий Главный базар, где индусские лавки были заменены слабым подобием европейских магазинов. Они думали о том, что хозяин их вряд ли выживет, и, в конце концов, приуныли.

Все же, на обратном пути, лекарства, которыми снабдил их Серабджи, аптекарь-парс, украшенные яркими внушительными наклейками, вновь пробудили в них надежду.

— А куда же делись Махарадж и Бонга? — спросил Муну у Тулси. — Они ведь не вернулись с вами?

— Хозяин Ганпат оставил их на своей фабрике, — сказал Тулси. — Он разбранил их и потребовал, чтобы они теперь работали на него. Они слишком боятся его, чтобы вернуться сюда.

Муну выслушал это объяснение молча. Он ненавидел Ганпата, но он слишком устал от всех событий этого дня. Он брел по темным улицам словно в полузабытьи. Кое-где, освещенные огоньком кальяна какого-нибудь случайного курильщика, выступали из мрака фигуры спящих рабочих; подложив под голову руку, вместо подушки, они спали прямо на земле или на ступеньках запертых лавок, и Муну невольно вглядывался в них, спрашивая себя, что это за люди.

— И нам придется сегодня ночевать под открытым небом на Зерновом базаре, если мы хотим завтра работать грузчиками и помочь хозяину Прабхе выпутаться из беды, — заметил Тулси, угадывая мысли товарища.

Больше они не обменялись ни словом.

Приняв лекарство, Прабха спокойно уснул. Он вспотел, и дыхание его стало ровным. Жена сидела подле него. Муну и Тулси знали, что она просидит так всю ночь. Поэтому они пошли ночевать на Зерновой базар. Там, по слухам, можно было найти работу по переноске грузов.

С переулка Кошкодавов они свернули на базар Пападэм, где днем и ночью стоял запах горячих специй, чечевицы и тухлого сыра. Затем свернули на просторный Бамбуковый базар и добрались до Соляного базара, куда сходились городские быки полизать соли, куски которой благочестивые индусы выставляли у дверей после закрытия лавок. До Зернового базара, соединявшегося с Соляным через улицу Хануман, оставалось около ста шагов.

Они шли наугад в гнетущем жарком ночном мраке, едва озаренном тусклым глазом месяца. Шли усталые, измученные и разбитые, думая только об отдыхе, о сне. Но жутковатые звуки индийской ночи — судорожный кашель чахоточного, высунувшегося из окошка или свесившегося с плоской кровли, чтобы отхаркнуть мокроту; электрическое стрекотание сверчков и кузнечиков в компаунде соседнего храма; тоскливое мяуканье бездомной кошки, вспугнутой завыванием голодной собаки, которую, в свою очередь, разбудил рев священного быка, прозвучавший внезапно, как раскат грома, следующий за ударом молнии; вся эта мрачная и тревожная атмосфера, наполненная духами умерших, по ночам посещающих, согласно верованиям индусов, свои прежние жилища, все это не могло не действовать на душу Муну и его спутника. А когда они, наконец, прошли по вязким колеям последний кусок грязной дороги и вступили в узкий извилистый проход Зернового базара, перед ними открылось еще более мрачное зрелище.

Квадратная площадь базара, окаймленная низкими глиняными лавчонками, ветхими хибар-

ками и большими пятиэтажными домами с арками, фасадами, куполами и колоннадами самой пестрой архитектуры, была заставлена грубо сколоченными деревянными повозками, вздымавшими к небу распятия своих оглобель, а между повозками лежало или стояло множество волов с витыми рогами, носорогоподобных быков и тощих телят, перемаранных собственным навозом; они бесцельно обнюхивали воздух, жевали солому или траву, съеденную несколько часов тому назад. А попережку с ними лежали кули одного цвета с землей. Иные храпели, другие еще сидели на корточках, сгрудившись вокруг общего кальяна, или искали местечка, где не было застоявшейся лужи, чтобы лечь. Запах сточных канав, гнилого зерна, навоза и мочи, кислая вонь людского и коровьего дыхания и едкий дым тлеющего кизяка — все это придавало воздуху такую удушливость, от которой тошнило, пока человек не привыкал или его внимание не отвлекалось заботой о том, как бы не наступить на распластанные тела, то нагие и лоснящиеся от пота, то завернутые в простыни — как-нибудь защититься от мух и moskitов, кишевших в темноте и нападавших на людей словно чума.

Едва очутившись на площади, Муну и Тулси тоже начали яростно хлопать себя по голым рукам и ногам, на которые уже набросились москиты.

Они неистово ругались: — Ах, эти москиты! Ах вы, соблазнитель своих дочерей!

— Кто это там ругается? — донесся до них сердитый голос из группы кули.

Муну и Тулси оторопели.

— Мы никого не ругаем, брат, — вежливо отозвался Тулси, — только москитов.

— А кто вы такие? — спросил другой голос.

— Кули, — отвечал Муну небрежным тоном, опасаясь, что муслиновая одежда Тулси может вызвать недоверие, тогда как его собственная нагота послужит верной рекомендацией.

— Ни для кого тут больше нет места, — пробормотал один из кули, черное тело которого лоснилось, так как он натирал его маслом, чтобы предохранить от москитов.

Здесь, действительно, не было места, люди лежали шеренгой, завернутые в простыни, положив головы на деревянные ступени какой-то лестницы.

Муну и Тулси осторожно двинулись дальше, пробираясь через шахматное поле тел, разбросанных как попало вокруг повозок. Затем пришлось лавировать между мешками с зерном, чтобы выйти, наконец, туда, где мерещилось свободное пространство.

— Кто тут? Если вы воры, берегитесь! — закричал ночной сторож с дубиной в руке, лежавший тут же на койке.

— Кули, — отвечал Муну.

— Пошли прочь, пошли прочь отсюда! Лала Тота Рам не разрешает ни одному кули валяться около его лавки. Там несгораемый шкаф.

— Хорошо, махарадж, — покорно согласился Тулси и направился в северную часть базара, надеясь хоть где-нибудь найти прогалинку между сотнями людей, которые возились и перекатывались с боку на бок, шептали, кашляли, вздыхали в удушливом зное, неотступно стоявшем над ними, словно упрямый и злой

глиняный бог. Причудливые позы валявшихся вокруг него кули, тщетно пытавшихся заснуть, бормотавших: «Рам, Рам», «Кришна» или «Хари Хар» — пугали Муну. Он знал, что поминающие имя божье — старики или пожилые люди; он же, будучи свидетелем незаслуженных бедствий честного Прабхи, не чувствовал особого расположения к Бесконечному.

Он увлек Тулси на середину базарной площади, где были навалены грудой серые мешки с зерном, прикрытые сверху большим куском парусины. Обойдя эту грудку со всех сторон, чтобы убедиться, не сторожит ли кто-нибудь зерно, Муну стал искать выступ, куда бы поставить ногу. Не найдя его, он стал искать какую-нибудь опору, чтобы влезть. Невдалеке он увидел шест, на верхушке которого приютились голуби какого-то купца. Муну хотел притащить шест, но Тулси удержал его:

— Становись на меня и влезай, а потом меня подтянешь.—И он наклонился. Муну ловко вскочил к нему на спину, балансируя, прошел по ней и вскарабкался наверх. Затем сунул ноги между мешков, вытер потные руки и, протянув правую Тулси, втащил и его. Тулси был тяжел, каждый мускул Муну ныл от напряжения, но зато здесь наверху дул горячий ветер, и его теплое дыхание приятно ласкало тело. Он огляделся вокруг, опасаясь, как бы сторож не заметил и не согнал их. Но повсюду были только тела: одни лежали на боку, другие на спине или ничком; свернувшись в клубки истомленной плоти, они, казалось, каждым своим дыханием вымаливали у стихий благодатный дар сна.

— Разве тебе не хочется спать? — спросил

Тулси, уже в полузабытии после трудов и превратностей этого дня.

— Хочется,—сказал Муну и все продолжал смотреть в темноту, бессознательно прислушиваясь к ночным звукам — вздохам, бульканью воды в чьем-то кальяне, журчанью разговора, гудению шмеля и хриплому кваканью лягушки. «На что ты смотришь? — спросил он себя и ответил: — Ни на что».

Он лег на спину. Поверхность мешка с зерном была округлая и удобная. Он посмотрел на небо, оно было серо-синее, проткнутое сбоку книжалом месяца, из-под которого стекло сверкающими каплями несколько белокровных звезд.

Ничего другого за этим небом не было.

Муну закрыл глаза, и ему представился кусок густо населенной крыши над двором его хозяина. Затем его собственная койка среди других коек. «А теперь,—подумал он, — я далеко, а Прабха лежит больной внизу в комнате, а Ганпат живет в другой части города. Махарадж и Бонга крепко спят на новом месте. Хозяйка, верно, думает о нас. Может быть, плачет. Зачем мы ушли? Надо было остаться с хозяином и хозяйкой. Вдруг он умрет...» Мертвого Прабху он не хотел себе представить. Он закрыл глаза и мгновенно заснул...

Его сон был беспокоен, он стискивал кулаки, словно хватаясь за последнюю опору, чтобы не утонуть, он судорожно ворочался с боку на бок, он дышал неровно, задыхался. Раз или два он застонал, словно его душа, смятая всеми этими жестокими испытаниями, с трудом распрямлялась.

Когда ночной зной сменила утренняя све-

жесть, мучившая Муну лихорадка утихла, и он спокойно заснул, прижавшись к пузатому мешку, словно это было горячее тело женщины. Ни пение петухов на улице Ткачей, за базаром, ни щебетание бесчисленных воробьев, ни настойчивое карканье ворон, разбудившее и кули, и волов, и хромых собак, и набожных индусских купцов, не могли разбудить Муну и Тулси.

И только когда жгучие стальные шипы солнца прокололи его нагую кожу, Муну, наконец, очнулся; его рот пересох, глаза слиплись, окаменевшие члены ныли. Он лениво толкнул Тулси.

Желто-алое утреннее небо, вздымавшееся над рынком, вычернило его кожу, и он чувствовал, что грязен, нечист.

— Пойдем, охе Тулси, — сказал он, протирая глаза.

Тулси вдруг вскочил.

Муну посмотрел вниз. Он не знал, с чего начать, чтобы получить работу.

Некоторые кули уже таскали на спине мешки с зерном, они снимали их с повозок, запряженных волами, и относили на склад. Другие сидели и курили кальян и бири, мылись у колонки или, свернувшись в клубок, продолжали спать каким-то удивительным сном, подобным смерти, так как его не мог нарушить даже весь гомон базара. Жизнь здесь, еще до открытия лавок, уже кипела пестроцветным приливом и отливом самых разнообразных людей и дел. Важные лалы в накрахмаленном тонком муслине и шелку проходили из лавки в храм и из храма в лавку, бормоча: «Рам, Рам, Рам», «Хари, Хари, Хари» и другие мо-

литвословия, обращенные неизвестно к кому — к Маммоне или к божеству. И тут же, люди цвета темной меди, почти нагие, едва прикрытые лохмотьями, ругались, орали, задыхались или лежали неподвижно, совершенно неподвижно, подобно трупам.

Все это не вызывало в Муну никаких недоумений, словно так и надо. Но его живо интересовало необычайное разнообразие типов и лиц. Он видел и раньше большие толпы горцев-кули, но еще ни разу — такого скопления рабочих-магометан из Кашмира и кули-сикхов. Неужели это смешение с магометанами не кажется индусам осквернением их религии? Он надеялся, что нет, — ему вспомнилось, как однажды, идя по какому-то поручению и услышав соблазнительный запах пряностей, доносившийся из магометанской закуской, он купил целый горшок баранины с соей и хлебом. Правда, он укрылся в закусочную от проходивших мимо индусов, но при этом нарушении священных обычаев узнал только одно: что магометане готовят баранину с соей вкуснее, чем индусы. Видимо, религия не играет никакой роли, — вон, вон, у него на глазах, кули раджпут курит кальян, переданный ему магометанином. Если кули спокойно принимают от иноверцев кальян и воду, значит они не признают никакой религии. Во всяком случае, ему лично это было бы все равно. Все равно или не все равно, а сейчас надо думать только об одном: как бы найти работу. Слепящее утреннее солнце поднималось все выше, а они еще ничего не предприняли.

— Тулси, Тулси, — сказал он, испуганно оборачиваясь к товарищу. — Пойдем скорее, вон

туда, в толпу возле той лавки, ее как раз открывают... Идем скорее.

И он прыгнул с мешков и побежал к гомонящей, шумной толпе, собиравшейся у обширного склада перед грубо размалеванным четырехэтажным домом.

Тулси неспеша последовал за ним.

Однако пробраться в первые ряды оказалось очень трудно, — так неистово ринулись вперед более рослые и сильные кули. Муну пытался протолкаться, забегал сбоку, проползал под ногами. Он весь вспотел от усилий. Но приблизиться к лавке не удалось. Беспомощно топтался он позади всех, и ему оставалось только слушать крики, брань и проклятия, вырвавшиеся из недр толпы.

— Назад, свиньи! Отойди назад! — кричал купец, стоявший на своем несгораемом шкафу с бамбуковой тростью в руке.—Назад, мошенники! Никто не получит работы, если вы не отодвинетесь.

— О, лаладжи! О, лаладжи! Я Мухамед Бат. Я у вас вчера работал! — кричал один из кули.

— Назад, ублюдок! Назад!

— О, лаладжи! Я легко ношу на спине по два мана! Прошу, наймите меня! — приставал другой.

— Лала, лала, всего одна анна за мешок. Я возьму всего одну анну за то, чтобы отнести мешок отсюда куда угодно! — молил третий.

— Отойди, свинья, не то я тебе все кости переломаю!

— О, лаладжи! лаладжи!

Это было все, что он слышал в первые секунды, затем раздались сухие удары бамбу-

ковой трости о колючие тела, разъяренное рычание первых рядов, топот многих людей, шарахнувшихся назад, отступавших, чтобы уклониться от ударов.

— Лала Такур Дас открывает свою лавку, — крикнул кто-то, и вся толпа хлынула к другой большой лавке с дверями из железных брусьев.

Муну решил, что выгоднее остаться на месте: толпа отойдет, и ему достанется работа. Когда Тулси вышел из первых рядов, куда он все-таки втерся, и позвал его: «Пойдем, охе Муну», — мальчик шепнул: — Останемся здесь! Все эти бараны убегут. Мы получим работу.

Случилось так, как предвидел Муну. Но он предвидел не все.

Остались только Муну, Тулси и еще пятеро кули, все остальные перекочевали к лавке лала Такура Даса.

— Идите сюда, собаки, даже в пот меня вогнали, — сказал купец, кладя подле себя бамбуковую трость. — Берите мешки со склада и погрузите их на телегу Рамата, он отвезет их на станцию железной дороги.

«От Гокал Чанда Мохан Лала — Братьям Ралли, экспортерам в Карачи» — прочел Муну надпись на мешках с зерном, сделанную синими буквами на индустани. Но он был слишком юн, чтобы знать законы политической экономики, и, в частности, те, которые управляют экспортом пшеницы из Индии в Англию. Он только повторял имя Ралли, удивляясь его звучанию и необычности, как повторял нередко слова из хрестоматии в былые школьные годы.

Все кули, в том числе и Тулси, сели, чтобы было удобно взвалить на плечи мешки, лежавшие на помосте. Затем они встали — некоторые пошатываясь, другие напрягая все тело, иные легко — и зашагали куда-то, огибаясь под тяжестью груза.

Муну решил сначала понаблюдать, чтобы знать, как взяться за эту работу. Присмотревшись, он повторил все движения грузчиков, начиная с поплеывания на руки для ловкости и кончая вскидыванием мешка на спину. Но, на его беду, поднять мешок он оказался не в силах. Он решил, что, верно, прозевал какой-нибудь чудодейственный прием, которым пользовались другие кули. Он тужился, напрягался, елозил, стараясь угадать тайну поднятия тяжести. Все было напрасно.

Остальные кули уже вернулись за следующей партией, а Муну все еще сидел, напрягая мышцы, силясь поднять непосильный груз.

— Брось-ка это, соблазнитель своей сестры, — отеческим тоном заметил ему рабочий средних лет. — Убьешь себя. Беги-ка лучше на Овощной рынок, там можешь таскать корзины с овощами.

Но Муну твердо решил заработать на пропитание себе, хозяину и хозяйке.

— Поди сюда, подсоби мне, — обратился он к Тулси.

Тулси подошел и взвалил ему на спину мешок.

Муну поднялся, его ноги дрожали, все тело мучительно напряглось в одном усилии — удерживать мешок на спине. Он сделал шаг, другой, третий. Теперь он уже шел, подгоняемый самой тяжестью мешка, как бы толкавшего его

все вперед и вперед. Переходя канаву в конце рынка, он споткнулся, но усилием воли снова выровнялся, нашел равновесие. От чрезмерного напряжения его нагое гибкое тело покрылось испариной. Казалось, оно излучает жар, озарявший изнутри его смугло-бледную кожу. На миг он представлял собой зрелище изумительное по красоте — такими гибкими и упругими казались словно изваянные мышцы, такими уравновешенными его движения. Но тут ему пришлось переступить через порог. Он поднял левую ногу и, еще не решив, что лучше, перепрыгнуть порог или сделать большой шаг, поднял правую. Он зацепился одной ногой за другую, споткнулся и упал, мешок свалился с его спины, а он ударился головой о кочку.

— Ах ты, любовник своей матери! — завопил купец, спрыгивая с помоста перед лавкой, где он разбирал счета, вынув их из желтого портфеля. — Охе, ублюдок, кто тебя просил братья за мешок, раз у тебя еще кишка тонка! Пошел прочь, сопливый негодяй! Не видел я, что и ты взялся за мешки, иначе я бы тебя погнал, поросенок! Ты хочешь, чтобы по твоей милости меня в тюрьму посадили за убийство, сын пса? Дрянь! Пошел вон.

Муну сразу вскочил на ноги и, забыв об ушибе, ринулся под прикрытие мешков, на которых ночевал, намереваясь потом обратиться оттуда к другой лавке и снова просить работы.

Но купец продолжал браниться и привлек внимание других купцов, которые открывали свои лавки и совершали обряд очищения, кропя святой водой несгораемые шкафы.

Они присоединили свои голоса к голосу собрата.

— Пошел прочь, паршивец, любовник своей матери! — повторяли они крикливо, автоматически, бессмысленно. Постепенно в травле принял участие весь рынок, точно Муну был вор или разбойник.

Муну так бежал к выходу, словно дело шло о его жизни. Его сердце судорожно трепетало, пот сбегал струями по лицу. Он отер щеку, на руке осталась струя алой горячей крови. Из узкого прохода, соединявшего два базара, тянуло свежим сквозняком. Он остановился в тени большого дома, на ветру, чтобы хоть немного притти в себя.

Он вспомнил о Тулси, в это время благополучно таскавшем один за другим мешки с зерном: «Счастливец, он заработает сегодня четыре анны, а мне нечего будет отнести Прабхе! Это Тулси меня благодарить должен: не посоветуй я ему подождать, когда лала прогонит всех кули, так не получил бы он этой работы. Ах, отчего у меня не хватило сил дотащить мешок!» Он сердился на самого себя и нервничал. «О! — укорял он себя, — когда же я, наконец, вырасту и буду настоящим сильным мужчиной!» Прохожие удивленно поглядывали на него.

«Нужно итти, — решил он. — Итти домой. Но я не могу вернуться, ничего не заработав», — пришла ему на ум мучительная мысль.

И на миг его охватило отчаяние, сердце замирало, в голове еще стучала молотком боль, и весь жар его тела словно перелился свинцом по взбухшим жилам в ноги. Показалась нагруженная мешками телега, запряженная чер-

ным буйволом с сонными глазами. Возле телеги шли два человека, они немилосердно стегали животное и старались с помощью широкой деревянной ручки повернуть оглобли. Муну пришлось пройти вперед, иначе широкая телега не проехала бы. Сначала он шел с какой-то пустотой в сердце, ничего не сознавая, затем вдруг остановился и задал себе вопрос: куда же, все-таки, он идет?

«На Овощной рынок, ведь старик-кули сказал, что там можно носить корзины...» Ответ вспыхнул словно луч в темноте. Он зашагал дальше.

«Отчего со мной бывает так, точно я вдруг умер? — размышлял он. — Ничего не вижу, не думаю, не чувствую... а ноги продолжают идти? И потом я опять вдруг сразу все вижу, понимаю? Это смерть, или что это? Что это за существо, запертое в мою кожу, и почему оно живет отдельно от мыслей в моей голове? И откуда эти пятна перед глазами — с радужными краями, они дрожат и роятся, как солнечный свет, который пробивается сквозь щели в железной крыше на фабрике хозяина Прабхи?»

Но вопрос казался неразрешимым. Только молот в его мозгу стучал быстрее и жар в теле усиливался, а образы, возникавшие где-то в уголке души, дробились на мельчайшие частицы, пока не растворились в окончательной пустоте, из которой возникли. Затем его зрение наполнилось более конкретными силуэтами людей, шедших по улице, предметами, выставленными в витринах, и очертаниями больших и маленьких домов и световых коридоров между ними.

— Где тут Овощной рынок, брат? — дернул он за полу какого-то кули.

Человек вздрогнул, опешив, посмотрел на него, затем ответил: — Второй поворот направо, за Чок Фарид.

Муну побежал прочь, даже не взглянув на кули и не поблагодарив его. Одно желание владело им: во что бы то ни стало заработать.

Овощной рынок был богаче красками и жизнью, чем другие, и торговля здесь начиналась раньше, так как торговцы старались распродать цветы и плоды прежде, чем солнечный зной умертвит их красоту и свежесть. Прилавки являли собой настоящее пиршество красок и форм; тут были собраны все разнообразнейшие виды овощей и зелени, произраставшие в тропических садах и огородах Индостана: зеленые стручки, огурцы, шпинат, пурпурный перец, красные помидоры, белая репа, сизые артишоки, желтая морковь, золотые дыни, розовощекие манго, медно-розовые бананы. Все это было нарядно и заманчиво уложено в корзины, стоявшие в лавках ярусами до потолка.

А по улице двигались нескончаемым потоком нищенски одетые мальчишки-слуги, темнлицы старые вдовы, исполнявшие за гроши всевозможные поручения богатых, и женщины из буржуазных семей в пестрых шелковых рубашках и покрывалах, сопровождавшие своих дочерей или невесток в тяжелых расшитых золотом шелках и ожерельях и пререкавшиеся с торговцами из-за цен на картофель.

Среди гула голосов, манящих выставок и симфонии запахов Муну растерялся и не знал, куда идти. Он не сводил глаз с плодов, алев-

ших грудями на зеленых листьях. Он потянул носом в сторону тех корзин, где были выставлены наиболее нежные. Особенно привлекла его корзина зрелых сочных маленьких манго.

— Охе, ты, соблазнитель своей матери, — окликнул его какой-то лавочник. — Не снесешь ли вот это за два фартинга?

— Да, лаладжи, — отвечал хор из пяти голосов.

Но Муну уже вцепился в край корзины, которую держал лавочник. Оказалось, что здесь достать работу просто. Но всего за два фартинга!

«Неужели хлеб так дорог а тело и кровь — так дешевы!» — думал Муну, расталкивая своих соперников.

День за днем являлся Муну ранним утром на Овощной рынок, а Тулси уходил на Зерновой. Но их общий заработок никогда не превышал восьми анн в день, причем шесть из них принадлежали Тулси, и только две — Муну. И для этого приходилось пускать в ход всю свою ловкость; нужна была и удача.

Кругом сновали толпы кули. И, опасаясь остаться без хлеба, побуждаемые голодом, ссавшим их внутренности, они бросались к лавкам, толкались, дрались, отшвыривали друг друга, пока дубинки купцов не вышибали зубы какому-нибудь горцу или не разбивали в кровь коросту на голове кашмирского рабочего. Тогда они отступали, побежденные, страшась за свою жизнь, покорные року, который мог и не послать вождеденную работу за одну анну. И не то, чтобы работу получали наиболее сильные, а слабым оставалось только околевать.

Их судьба зависела от случайной прихоти приказчика или от выбора хозяина, который всячески изворачивался, чтобы потом надуть их при расчете. Иногда кули получал работу благодаря какой-нибудь хитрости. И, конечно, Муну чаще всего доставал работу именно с помощью своей изобретательности.

Зная, что на Овощном рынке у него очень много соперников, он отправлялся бродить по прилегавшим к рынку улицам и с невинным видом обращался к женщинам, которые явно шли покупать овощи: — Мать, не разрешите ли донести до дому ваши покупки?

— Хорошо, хорошо, — обычно отвечала спрошенная: — можешь нести, но только больше одной пайсы я не дам.

— О, две, мать, две пайсы, пожалуйста, — настаивал он, произнося слово «мать» с особой простодушной и подкупающе нежной интонацией, выработанной им специально для таких случаев.

— Ну, хорошо, хорошо, чтобы ты пропал! — соглашалась женщина.

Тогда он брал у нее из рук корзину и нес как символ завоеванных прав, чтобы никто уже не дерзнул подойти к женщине.

Когда и другие стали применять этот маневр, он изобрел новый.

Он старался войти в милость к купцам. Но они были слишком поглощены своей торговлей и слишком бесчувственны, чтобы поддаться на его учтивости, тем более, что все кули, по их мнению, были на одно лицо: грубы, прязны, неотесаны, их надо бранить, бить и муштровывать, как тех ослов, на чьих опинах каждое утро доставлялись овощи для рынка.

Муну пробовал надувать остальных кули, он распространял слух, что завтра рынок будет закрыт. Два-три раза это подействовало, но большинство кули слонялось по базарам весь день и всю ночь, они там ели, пили, спали, работали, и легковерные скоро поняли, что Муну — продувной чертенок, которому нельзя верить.

Ему пришлось вернуться к первому способу — поддерживать деловую связь с посетительницами рынка, но теперь он слегка варьировал свои приемы. Он не уходил с рынка, и, пока другие кули сидели у дороги, восхищенно глаза на красивых молодых женщин, проходивших по базару, он высматривал самых безобразных старых ведьм. Но это имело свои неудобства: старухи могли часами торговаться из-за одной пайсы и обычно требовали, чтобы Муну целых полдня ходил за ними с полной корзиной от лавки к лавке, а затем еще тащился за две мили до их дома на окраине, и все это — ради ломтя сухого хлеба и тарелки вечерней чечевицы, или же препирались с ним из-за обещанных двух пайс.

Поэтому-то, несмотря на все усилия его и Тулси, им не удавалось выработать больше восьми аня в день, и этих денег семье едва хватало на рис да на чечевицу.

Хотя Прабха и оправился от лихорадки и побоев, он был болен червной депрессией, вызванной продажей с аукциона всего оборудования фабрики и страхом, что он не сможет выполнить взятое на себя обязательство — заплатить до последнего гроша все, что задолжал кредиторам.

Ему становилось все хуже и хуже, пока док-

тор, наконец, не посоветовал ему уехать в горы, если он хочет сохранить жизнь.

Наконец его убедили вернуться с женой на родину. Тулси должен был проводить их до Патанкота, нанять телегу и вернуться. Муну предстояло остаться в Даулатпуре, так как не хватало денег, чтобы купить всем железнодорожные билеты. Но спустя некоторое время и он присоединится к ним.

Расставание было мучительным.

И Прабха и его жена плакали навзрыд.

Муну никогда не видел, чтобы такой большой, взрослый человек плакал. Это страдальческое лицо, всегда так ласково и добродушно улыбавшееся ему, теперь почернело и похудело. В скорби Прабхи было даже что-то комическое. Мальчик невольно держался поодаль, словно он утратил всякое сочувствие к своему хозяину. Он издали машинально продолжал смотреть на Прабху и спрашивал себя: «Что со мной? Отчего я не могу подойти к нему? Он же был так добр ко мне!»

Хозяйка вызвала в нем более теплые чувства. Когда она, уложив вещи, села у окна, он ткнулся ей головой в колени и, омытый ее слезами, почувствовал, как робкая птичка его сердца трепещет в печальном шелковистом сумраке нежности. Подобно молнии вспыхнула в нем память о том дне, когда он впервые вошел сюда, и по-новому осветила лицо этой женщины, ее затаенную ласковую улыбку, благодаря которой он сразу почувствовал себя здесь дома. Вспомнил он и прикосновение ее тела, прижимавшегося к нему, когда он был болен. Отзвук всех этих чувств он испытал опять, но почему-то не хотел больше

отдаваться их теплу, как отдавался в своей беспомощности.

Он вдруг решительно высвободился из ее объятий и выпрямился, расстроенный и огорченный тем, что она продолжает плакать.

Прибежал Тулси, сказал, что нанял бамбуковую повозку, она ждет на углу и отвезет их на вокзал. Он привел с собой двух кули, с которыми подружился на рынке, они по-братски предложили помочь ему отправить багаж.

Впрочем, вещей было немного. Чемодан и постель.

Когда Прабха поднялся, опираясь на Муну и Тулси, он еще раз окинул прощальным взглядом эту комнату, где протекли дни его благополучия. Затем посмотрел на чемодан и постель, которые взвалили себе на плечи приятели Тулси: это были единственные его вещи, когда он впервые вошел сюда. И только с этими вещами покидает он теперь Даулатпур. Все блага, приобретенные им потом, оказались излишними.

— Это хорошо, — сказал он про себя, беспомощно, философически, склонив бледное лицо. — Все так, как и быть должно. Нагим приходит в этот мир человек, нагим из него уходит, и не может он унести с собой имущество свое на своей груди. Лучше странствовать налегке.

Бледные предвечерние лучи солнца, проникавшие в комнату через окно с железной решеткой, казалось, заливали ее чистым золотом и словно переносили в другой, сказочный, волшебный мир. Но он набожно повернулся к ней спиной и, ссутулившись, больной, слабый, измученный и раздавленный, ползлелся прочь.

Его поддерживали под руки оба его любимца.

Жена следовала за ним, стыдливо набросив покрывало на свое горе и на свою красоту.

Во дворе собрались соседи, чтобы проститься с этим кули, когда-то самым удачливым, а теперь самым несчастным из всех кули, пришедших с гор.

— Рам, Рам, брат Прабх Диал, — утешали они его печальными глухими голосами. — Рам, Рам, все уладится. Ты вернешься. Ты выздоровеешь и вернешься.

— И забуду о своем позоре, о своем банкротстве? — подхватил Прабха, терзая себя собственной иронией, так глубоко он усвоил идеалы «бизнеса», так уверен был, что нарушил законы общества, так унижен смирением, несмотря на все тяжелые уроки судьбы.

И затем, со слезами на глазах, срывающимся голосом он философически резюмировал все происшедшее словами индусской поговорки:

— «Если пес умен, он учует капкан и убежит».

Прабха и провожавшие его проехали по переулку Кошкодавов среди любопытствующих и сочувственных взглядов мужчин и женщин, которые вышли посмотреть и заглясти новый сенсационный материал для сплетен.

Когда возница увидел, что его седоки не богатые лалы, а всего лишь простые кули, он стал яростно браниться. И под тем предлогом, что боится опоздать к поезду, на самом же деле — торопясь взять седоков побогаче, он погнал свою лошадь вскачь так, что высокий закрытый кузов раскачивался во все стороны, точно коляска ярмарочной карусели. Прабха все переносил с покорностью, хотя у него

сердце замирало от страха, когда повозка наклонялась или его подбрасывало на жестком сиденьи.

На вокзале Муну все же стало очень грустно; никогда еще не испытывал он такой грусти.

Поезд уже стоял у платформы, но пассажиров третьего класса, словно скотину, не выпускали из железной клетки зала ожидания. Стальные двери отперли только за пять минут до того, как паровоз дал последний свисток.

Когда они все сидели на асфальтовом полу среди сотен других пассажиров и вещей, окруженные тучами мух и москитов, они втайне молили бога послать им спокойное местечко в вагоне.

Муну понимал, что только чудо может спасти жизнь Прабхи в бешеной свалке, когда пассажиры ринутся на платформу. Поэтому он отправился на разведки — поискать, нет ли где лазейки, чтобы выбраться отсюда заранее.

Контролер в белом мундире с никелевыми пуговицами важно расхаживал взад и вперед, высматривая, с кого бы содрать взятку. Он заметил Муну и понял его тревожно-вопросительный взгляд.

— Две анны, — шепнул он, — и я вас всех впущу через боковой вход.

Это составляло половину сбережений Муну. Но он сунул деньги в руку бабу.

Контролер сдержал слово. Он не только незаметно провел их боковым входом, но сам посадил в купе одного из немногих вагонов третьего класса, прицепленных к поезду.

Муну стоял перед окном и грустно смотрел на хозяйина, хозяйку и Тулси. Он чувствовал

себя покинутым и одиноким, словно его уже оторвали от них навсегда.

— Ты теперь иди, Муну, — сказал Прабха, высовываясь изможденным телом из окна и суя мальчику в руку серебряную рупию. — Купи себе поесть и ночуй дома, — за комнату все равно заплачено до конца месяца.

— Джай дэва, — сказал Муну, складывая руки в приливе благодарности и любви к своему хозяину.

— Желаю тебе удачи, дитя мое, — вздохнул Прабха, погладив его по голове.

— Падаю к ногам твоим, — сказал Муну, протянув сложенные руки хозяйке.

— Желаю тебе удачи, — сказала она, лаская его щеки.

— Я вернусь через два дня, охе Муну, брат, — сказал Тулси.

— Хорошо, — отозвался Муну и нерешительно отошел от вагона.

Он растроганно поглаживал зажатую в руке серебряную монету.

Как добр был к нему Прабха даже в своей нищете!

Размышления Муну были прерваны толпой пассажиров — их, наконец, выпустили из зала ожидания, и они с неистовым топотом и криком осаждали поезд.

Муну протиснулся через боковую решетку и вышел на площадь перед вокзалом, где бранились и кричали извозчики.

— До городских часов и храма Вишну. — До Лахорских ворот, Базар Дилли. — К Гира Манди..

— Вай, мальчик, вай, мальчик, не донесешь ли ты мой чемодан до дома доктора сахиба

Сингха, возле больницы? Я заплачу тебе две анны. В чемодане контрабандный шелк, и мы незаметно проскользнем мимо таможни, если пойдем пешком.

— Хорошо, мать, — сказал Муну, обрадовавшись, и подумал: «Вот это легкая работа; я еще вернусь сюда и лучше я буду носить людям их вещи, чем таскать с рынка овощи за две лайсы».

И вот Муну остался один. Он отнес чемодан пассажирки в больницу, и теперь ему больше нечего было делать, только поужинать. Он знал, что может получить пищу бесплатно у гробницы Бхагат Хар Даса. Решив воспользоваться этим и заодно научиться благочестию, он направился к храму Вишну, где до того был только однажды с Прабхой, в день своего приезда.

На этот раз он вошел через портал с той стороны, где находились роскошные дома богатых купцов, торговавших на Старом базаре. Полная луна заливала голубовато-молочным светом башню храма фаллической формы, и в этом свете купол казался пышно распустившимся лотосом.

Вокруг храма гуляло множество людей в ярких одеждах, и золотисто-красный свет фонарей затмевал серебристый свет луны. Муну, вместе с толпой, двинулся к усыпальнице Бхагат Хар Даса, мраморные стены которой белели за квадратным водоемом. В пище он нуждался больше, чем в утешениях религии, а это был час, когда беднякам и молящимся в кухне при усыпальнице раздавали хлеб и чече-

вицу. Под влиянием голода Муну решил, что можно и не покупать цветов для приношения в храм. Смутное желание обрести блаженство веры также окончательно испарилось у него, пока он шел к храму, разглядывая глубокие тени, которые отбрасывало здание с башенками и куполами, высившееся среди водоема, над водой, где играли отражения луны. Монументальная архитектура этого здания наполняла его душу смутным страхом: ему чудилось, что божество гнетет его своим мощным незримым присутствием. Он заспешил, мечтая об одном: поскорее уйти от этого божества, словно придавившего храм. Верующие двигались черепащим шагом, но Муну теперь мастерски научился нырять среди пешеходов города Даулатпура.

Крытым переулком он прошел во двор усыпальницы Хар Даса. Там стоял прилавок. На нем благочестивый браман раздавал воду в плоских медных чашках, якобы бесплатно, на самом же деле — за деньги, ибо каждый утоливший жажду бросал медную монету к ногам святого мужа, который, хотя и был здесь на роли слуги, но не утратил гордости своих могущественных предков. Горло у Муну пересохло. Он тоже поднес к губам чашку с водой. Но когда он отставил оскверненную чашку, то не бросил святому медяка. Браман разразился бранью и закончил ее поговоркой: «Да изыдут скряги».

Муну было наплевать на брань. Он уже давно привык к ней и не верил в ее магическое действие.

Под покровом темноты он решил расследовать, чем еще тут можно поживиться. Он

надеялся, что за даровой ужин здесь не взимают платы.

— Пища из кухни божьей! — закричал какой-то человек, раскачивая котелок на веревочной ручке. За ним следовал помощник с корзиной.

Муну видел, как молодые нищенствующие монахи и городские попрошайки ринулись навстречу человеку с котелком, а позади, отталкивая друг друга локтями, заковыляли старики-аскеты. Наверное это и есть раздатчик бесплатной пищи. Еще минута, и толпа окружит его.

Он вырвался вперед и остановился перед раздатчиком, протянув ладони.

— Где твоя тарелка? — спросил тот.

— Нет у меня тарелки, махараджа, — захныкал Муну, и его губы жалобно дрогнули.

Однако помощник уже бросил ему две мучных лепешки, а человек с кастрюлей вывалил на них большую ложку чечевицы. Их окружили нищие, отвратительно повизгивая, подобно голодным псам, и испуганно теснясь перед раздатчиком милостыни. Муну постарался поскорее выбраться из этой толпы и чуть не уронил свою порцию. Все же он вырвался на свободу. Один вид пищи утраивал его силы.

Он пересек двор и подошел к фонтану, игравшему струями перед садовой беседкой. Из сада доносилось смешанное благоухание жасмина и цветущих деревьев. Муну сел на край бассейна и принялся за ужин.

В течение первых минут он был весь поглощен едой, наслаждаясь вкусом чечевицы, хотя она и была полусырой.

Но едва утолив голод, он стал с любопытством рассматривать то, что окружало его.

Одна половина беседки была в тени, другая ярко озарена луной, и Муну увидел фигуру толстого «иога», бритого, в оранжевой одежде, созерцавшего немигающим взглядом струю фонтана. Иог словно окаменел в священной позе «сидящего на лотосе», его ноги были скрещены, руки лежали на коленях в виде распускающихся цветов. Перед ним на корточках сидела старуха под скромным дымчатым покрывалом и в юбке цвета голубиноного крыла и молодая женщина в пышных свадебных одеждах. Обе, казалось, ждут, когда кончится транс иога.

Муну встал и на цыпочках подкрался к божественному.

— А ты что тут шляешься, о брахмачария, в священном месте, где иог размышляет о божестве? Тебе еще надо играть с детьми твоего возраста!

— Иогиджи, — ответил Муну, — скажите мне, отчего вы сидите здесь так неподвижно и даже не моргаете?

— Уходи, уходи, уходи, дуралей! — шепнула старуха.

— Шанти, шанти! — изрек иог, подняв руку, и его жест был полон святости и духовной красоты, крайне противоречивший, впрочем, улыбке извилистых губ. — Это добрый вестник, мать. Это прообраз ребенка, который родится у твоей дочери. Бог вял моим и твоим молитвам. Никогда не отвращай лица своего от посланца божества.

— Я тоже ищу бога, иогиджи, — пылко заявил Муну. — Научи меня искать бога. Я тоже хочу найти путь...

— Ты еще дитя, — сказал иог. — Но если

хочешь, иди к нам, мы сделаем из тебя ученика, и ты сможешь стать святым, если будешь служить своему учителю.

— Я как раз и ищу учителя, — сказал Муну, глядя на груды плодов, принесенных в дар святому.

— Тогда собери все то, что здесь лежит, и следуй за мной, — сказал иог. Затем наклонился к старухе и шепнул:

— Ночь в полнолуние благоприятствует зачатиям. Следуй со своей невесткой за этим юношей на некотором расстоянии от меня. Потом приходи в мое жилище, за усыпальницей Хар Даса, но держись в отдалении, ибо люди злоречивы. В почтительном отдалении, понимаешь, мать?

Он снова обернулся к Муну и сказал:

— Следуй за мной на расстоянии ста шагов и проводи этих дам к черной лестнице, которая ведет в мои покои. Не теряй меня из виду и не заблудись, ученик.

Муну не знал, что у иога на уме, но знал, что его ждут какие-то приключения. Сочные плоды, которые он держал в руках, виноград, гранаты, медно-желтые бананы и зрелые манго сладостно благоухали. Он выполнил в точности все, как ему приказал иог.

Они прошли краем сада, тихим, как густая листва живой изгороди, окаймлявшей аллею, которая вела к мраморной арке входа.

Завернув за угол, там, где тянулись рядами цветочные лавки, и войдя в темный проулок, Муну потерял иога из виду. Выйдя из проулка, он увидел его снова: иог уже высовывался из окна первого этажа какого-то дома, выходявшего на перекресток. Поджидая жен-

щин, оставших от него, Муну принялся рассматривать лавку, где продавался табак и бетель и где висело огромное зеркало, отражавшее оживленную жизнь на перекрестке четырех улиц. Ему очень хотелось купить листок бетеля и пожевать его, — роскошь, которую он никогда не позволял себе, или нюхательного табаку, или покурить бири...

Но в это время подошли женщины, и Муну повел их дальше.

Иог спустился вниз и встретил их с лампой. Поднявшись по узкой темной лестнице, он ввел их в помещение, которое показалось Муну настоящим дворцом — повсюду белые покрывала и подушки с кистями и кальяны с длинными трубками.

— Ну, я пойду теперь, — сказала старуха, — и вернусь на рассвете.

— Хорошо, — суетливо согласился иог.

Женщина ушла.

Муну смущенно озирался.

— Жизнь моя, открой лицо, покажи хоть свои глаза, вымолви словечко, — сказал иог, приближаясь к молодой женщине и обнимая ее.

Муну изумленно смотрел на иога. Словно пелена упала с его глаз: он увидел сладострастника там, где думал найти святого.

Его сердце забилося от горячего стыда.

Он выскользнул за дверь, решив догнать старуху и рассказать о том, что он видел.

В своей наивности он полагал, что и она будет оскорблена. Он не знал, что это сводня, устраивавшая свидания иога с женами богатых купцов с тем, чтобы те рожали «сынов бога».

Эту ночь Муну проспал на крыльце какой-

то лавки у входа в переулок Кошкодавов, так как боялся, что, вернувшись в комнату Прабхи, увидит там привидение или соседи примут его за вора. Утром он отправился на вокзал, решив, что заработает себе на дневное пропитание, отнеся, как накануне, багаж кому-нибудь из пассажиров.

Когда он добрался до вокзала, было уже позднее утро и из Лахора только что пришел почтовый поезд, с которым приехали сотни людей. Среди них были богатые мужчины и женщины, нанимавшие шикарные фаэтоны и тонги, и люди среднего класса, торговавшиеся с горластыми извозчиками за место в бамбуковых повозках, и крестьяне, которые намеревались отправиться по пыльной дороге в город пешком, взвалив свой багаж на собственные плечи.

Муну стал вглядываться в эту взволнованную и нетерпеливо снующую толпу.

— Донести ваши вещи, лаладжи? Донести ваши вещи, бибиджи?

Муну говорил себе, что только скряга не захочет заплатить за место в повозке или тот, кто живет недалеко от вокзала. Место в повозке стоило всего одну анну — ясно, что даже скупейший из скряг предпочтет уехать, а уж если пойдет пешком, так сам потащит свои вещи.

— Кули! Кули! — кричали несколько носильщиков в синей форме. Муну увидел, как двое людей поставили себе на голову чемоданы и мешки с постелями и зашагали к городу.

Он тоже начал выкрикивать: — Кули! Кули!
— Пойди-ка сюда!

Он побежал в ту сторону, откуда, как ему

казалось, раздался зов. Раскаленный песок вокзальной площади обжигал ему ноги, лицо было покрыто потом. Перед ним очутился полицейский в мундире цвета хаки.

— Ну-ка, ублюдок! Где твое разрешение?— зашипел полицейский, грубо схватив Муну за шиворот.

Молча, с испуганно бьющимся сердцем стоял Муну перед блюстителем порядка.

— Отвечай, свинья, где твое разрешение?— вдруг завопил полицейский и взмахнул дубинкой.

— Саркар, — начал Муну, — я...

— Так у тебя нет разрешения, сын борова? ты надувал меня? Я уже целый месяц вижу, как ты тут таскаешь вещи, мразь!

— Нет, хузур, я здесь был еще только раз, — ответил Муну, собираясь заплакать, так как полицейский крепко держал его за руку.

— Что же, я, значит, по-твоему, вру, если говорю, что ты тут шныряешь чуть не целый месяц?

— Это, наверно, был кто-нибудь другой, — сказал Муну. — Кто-нибудь похожий на меня. Все мы, кули, на одно лицо.

— Ах ты навоз! — и полицейский стал вывертывать руку Муну. — Свинья, мошенник, я вот посажу тебя куда следует!

— О, нет, сэр, нет, сэр, — воскликнул Муну, вспомнив при словах «куда следует» участок, где били Прабху.

— Вон отсюда! — и полицейский ударил Муну дубинкой ниже спины. — Вон отсюда, любовник своей сестры! Правительство приказало: чтобы ни один кули не смел здесь работать без разрешения.

Муну понесся прочь со всех ног, изредка оглядываясь на полицейского, который, перед тем как снова начать расхаживать взад и вперед, оправил мундир и торжественно выпрямился.

Муну продолжал свой путь.

Мысли и чувства, вспугнутые полицейским, снова медленно всплывали в нем под влиянием охватившего его негодования.

«Как он смеет гнать меня с вокзала? — мысленно восклицал Муну. — Негодяй! Богом воображает себя оттого, что мундир напялил! Мой дядя тоже служит у ангрези саркара. Да и не он один. Я не такой, как Прабха, я не позволю им избить меня. Я лучше умру, а не позволю бить... Я не посрамлю чести моего народа...»

Он невольно обернулся, словно одной силы его мыслей, одного его протеста было достаточно, чтобы стереть полицейского с лица земли. Но полицейский был цел и невредим и явно направлялся в конец вокзальной площади. Тогда Муну снова побежал и бежал до самой Мэлл Род, окаймленной с обеих сторон европейскими магазинами.

Этот современный мир страшил мальчика; среди просторных усадеб, окружавших бунгало англичан и казавшихся такими пустынными в сравнении с теснотой, в которой ему приходилось жить, он особенно остро почувствовал свою отверженность. Но ему нравилась чопорная красота этих кварталов, изящные виллы, их полускрытые изгородами широкие готические веранды, затененные бамбуковыми навесами, тентами и шторами из бус, которые пропускают воздух и защищают от жары, бетон-

ные и каменные здания, чистые и прочные, с длинными рядами зеркальных окон.

Его простодушные взоры останавливались на красиво подобранных стеклянных бутылках, наполненных разноцветными жидкостями, на аккуратных пузырьках с лекарствами, ярких коробках с пудрой, мылом и бритвами, выставленных в окна аптеки. Но его как бы отбрасывал суровый, сверкающий барьер перед ними, даже в воображении он не мог дотянуться руками до этих предметов.

Он смотрел, восхищенный, на увеличенные фотографии нарядных английских женщин, детей и мужчин в мундирах, висевшие на медных досках у некоторых дверей. Им сразу же овладело неудержимое желание увидеть и свое лицо на такой же коричневой картинке, на какой изображен этот молодой сахиб, — вон он стоит в игрушечном костюмчике, белом воротничке и соломенной шляпе. Но, сравнив аккуратную одежду этого сахиба с собственными лохмотьями, едва прикрывавшими грязное тело, он с горечью понял, что это невозможно.

Пройдя мимо двух индусов, одетых в английское платье, он старался понять, что же нужно, чтобы стать сахибом — много денег или образование? Жирный лала, поджидавший покупателей за зеркальным окном своего магазина, среди серебряных сервизов, тарелок, бокалов и чашек, одетый в белый английский костюм, с которым так не вязался его длинный чуб, появился перед ним как живой ответ на его вопрос.

Муну шел все дальше и дальше, любуясь изящными и строгими линиями зданий, лако-

вым блеском черных, голубых и светлокориичневых авто, кабриолетов и фаэтонов, которые, не поднимая ни пылинки, катились мимо него по ровной, словно литой дороге с такой скоростью, что, казалось, и у Муну начинает учащенно биться сердце.

— Смотреть надо, эй ты! — заверещал чей-то голос в ту минуту, когда он проходил мимо универмага братьев Дженкинс и был весь поглощен созерцанием выставленных в вазах английских конфет. Какая-то мэмсахиб с белым лицом в коричневых пятнах, голая, с его, индусской, точки зрения, — так как ее шелковое платье нескромно открывало ее тощие руки, жилистые ноги и вялую грудь, — стояла перед ним.

— Смотреть надо, куда идешь, черномазый! — повторила она, задрав голову и брезгливо наморщив нос.

Муну не понял особых интонаций этой англичанки, говорившей так плохо на индустани, но угадал, что она его презирает, по тому, как она старалась, чтобы даже воздух, окружавший его, не коснулся ее. Но, так как и дядя и подобострастно пришепетывающие шам-нагарские лалы привили ему необычайно острое чувство своей неполноценности в сравнении с белыми людьми, то он и не подумал обидеться.

Наоборот, он был счастлив, что с ним заговорила мэмсахиб, и, мечтая стать когда-нибудь достойным того, чтобы ходить по одной улице с такими, как она, он побежал к железнодорожному мосту, отделявшему мир сахибов от туземной части города.

Нет, у него не могло быть ничего общего

ни с прокаженными, выставлявшими свои болячки и скулившими: «О, человек, подай мне пайсу», — ни со слепыми нищими, которые распевали псалмы, качая головой вверх и вниз. Муну говорил себе, что принадлежит к какому-то высшему миру, так как имел счастье пройти через этот высший мир. «Я окончил четыре класса, — думал он, стараясь обосновать свое превосходство, — и я служил в доме бабу, которого однажды посетил настоящий сахиб».

Более мрачные воспоминания чуть не заслонили величественный блеск этих фактов. Но Муну подавил их, он не хотел помнить ни о чем, кроме двух обстоятельств: учения в школе и пребывания в одной комнате с шам-нагарским сахибом.

Шум, стоящий возле извозчичьей биржи против старого каравансарая, все же отвлек его от этих мыслей. Пестрое зрелище открылось перед ним.

Загорелые, сухопарые бородатые крестьяне со связками покупок на спине, ожидавшие отправления линеек; краснорожие свирепые патаны в ярких тюрбанах, расшитых золотом алых бархатных куртках, широких шальварах и толстых туфлях, шнырявшие повсюду и предлагавшие покупателям ножи и лечебные травы; хилые индусы-кондитеры в просаленной одежде, сидевшие на корточках перед медными подносами с лакомствами; чавканье коров и буйволов, храп и ржанье лошадей — все это были знакомые картины и звуки, здесь он чувствовал себя как дома. Муну уже не жалел о том, что он не англичанин; гораздо веселее было чувствовать себя маленьким босоногим

кули в грязной куртке и набедренной повязке, с узкой полоской тюрбана на голове.

Единственный вопрос занимал его — как и где найти работу. Ему не хотелось возвращаться на Овощной рынок, не хотелось и домой, пока там не было Тулси. Да и все равно придется уходить оттуда в конце месяца. «Тулси хорошо, он может достаточно зарабатывать на Зерновом базаре, — думал Муну. — А я не могу. Так что же мне делать?» «Уезжай отсюда», — как бы услышал он ответ. Но куда? Ведь не назад же в Шам-Нагар? Он дяде не писал ни разу. Они умерли друг для друга.

Он продолжал идти по улице, опустив голову, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, что где-то бьют в барабан: дум-дум-дум. Он поднял голову и увидел городского глашатая, остановившегося на перекрестке, за ним шла группа мужчин, которые несли огромные раскрашенные афиши; на одной была изображена женщина в одежде сахибов, ее грудь была увешана множеством медалей, она размахивала бичом, угрожая стае свирепых львов, тигров и слонов; на другой — она поддерживала громадный камень; на третьей — толкала головой экипаж, полный мужчин.

— Мисс Тара Бай! Мисс Тара Бай! — кричал глашатай. — Мисс Тара Бай! Женщина-великан! Мисс Тара Бай! Первый в мире цирк! Последнее представление в Даулатпуре! Удивительная сила! Невиданные номера! Чудо пяти континентов! Мисс Тара Бай покажет образцы силы, мощи и выносливости, за которые она получила призы от всех королей и королей Европы. Укротительница диких зверей!

Царица цирка! Воспользуйтесь последней возможностью увидеть ее, так как она сегодня ночью уезжает в Бомбей, а затем на несколько лет в Англию. Мисс Тара Бай! Мисс Тара Бай! Чудо века! Женщина-атлет! — И глашатай снова стал бить в барабан — дум-дум-дум-дум-дри-дри-дум, — и двинулся дальше.

«Я непременно хочу в цирк,— решил Муну, и глаза его загорелись. — И я хочу в Бомбей».

Он подхватил листок, которые раздавали люди-«сэндвичи», и прочел:

*Возле театра Мадан Лала
у Холл-Гэта*

Мисс Тара Бай! Женщина геркулес!
Блистательное чудо.

Самое захватывающее зрелище в мире!

Неподалеку, шагах в пятидесяти, он увидел красные кирпичные стены Холл-Гэта, озаренные солнцем, слепившие глаза. Немного отступя, осененная величественным зданием театра Мадан Лала, белела огромная холщевая крыша цирка.

«Бомбей, Бом-бом-бомбей», — звенело в его мозгу, словно бой часов на городской башне.

Точно по волшебству перед ним всплыло все, что он когда-либо слышал о Бомбее.

Один кули, брат которого уехал искать работу в Бомбей, утверждал, что на тамошних фабриках можно заработать в месяц от пятнадцати до тридцати рупий и что это действительно чудесный город, нельзя умереть, не повидав его. Брат этого кули убедил его копить деньги на дорогу и хоть день и ночь работать, а попасть туда. Оттого что, если кто уж попадет туда, так работы там пропасть.

И суда отходят из Бомбея и идут за черные воды, рассказывал тот кули, и весь остров зарос кокосовыми пальмами, под которыми живут богатые южане и парсы.

«Это остров, конечно, остров, — вспоминал Муну учебник географии. — Бомбей расположен на острове у Мадагаскарского побережья. Бомбей, бом-бом-бомбей. Я поеду в Бомбей», — решил он.

Он перепрыгнул грязную канаву возле палисадника, за которым белела холщевая крыша цирка мисс Тары Бай, и прочел афишу: самое дешевое место стоило восемь анн. Тогда он решил, что проберется в цирк бесплатно. «Нельзя тратить рупию, которую мне дал Прабха, на такие бесполезные развлечения», — и он пощупал серебряную монету, завязанную в уголок его набедренной повязки. Доброта Прабхи побуждала его к экономии.

Он миновал главный вход.

Гнедой мерин, белая кобыла и курносый пони, фыркая, ели траву из небольшой охалки. Муну увидел также проворного человека с торчащими кверху усами, очень напоминавшего Сарабджи, аптекаря-парса, хотя на нем были бриджи, а составитель лекарств всегда носил бумажные брюки и белую куртку.

Муну заполз под грязный холст маленькой палатки и стал терпеливо ждать. Он посмотрел направо и вдруг увидел, что из палатки беззвучно вышел слон, а за ним последовала толпа городских мальчишек; на голове слона сидел темнолицый наездник, заложив ноги за уши животного.

— Ты знаешь, он пляшет, лазает по лестнице и играет на губной гармонике, — сказал

один мальчик другому. Муну подбежал к мальчикам и присоединился к их толпе.

Предводитель толпы принял это за нападение и, сорвав с головы Муну полоску материи, заменявшую ему тюрбан, бросил ее слону. Грациозно раскланявшись, Джумбо проглотил ее, словно это была солома.

Муну, в ответ, сорвал шапку с головы мальчишки и тоже швырнул ее слону. Не успел он опомниться, как пострадавший обхватил его за шею. Муну извернулся и так лягнул ногой противника, что тот полетел в канаву. Мальчишка выбрался из нее весь в грязи, и его товарищи, глядя на него, завывали от смеха. Слон испуганно метнулся в сторону, служитель ткнул слона железной палкой и обругал Муну.

— Он первый начал, — виновато заявил Муну.

Служитель соскочил на землю и, схватив его за ухо, чтобы напугать, потащил прямо слону под хобот.

Все мальчишки с криком отскочили.

Муну решил, что настал его последний час. Но Джумбо только обдал его струей мощного дыхания и пошел прочь.

— Я не боюсь, — храбро заявил Муну.

Служитель улыбнулся.

— Отлично, — сказал он. — Пойди-ка, позови сюда того человека, садовника, вон он идет по дороге и несет охапку травы на голове.

Муну мигом исполнил приказание, так как понимал, что если вернется с садовником, то доступ в помещение цирка будет ему открыт и без билета.

Он побежал за человеком, который нес траву, поймал его у входа в конюшни и привел.

— Мне хочется посмотреть представление, — сказал он служителю, когда трава была принесена; его заискивающая улыбка молила о снисхождении.

— Пошел! Пошел! — спокойно ответил служитель.

— Ну, как же, — настаивал Муну, — я же исполнил ваше поручение.

— Не лезь ко мне, — пугнул его тот. — Сядь где-нибудь и смотри сквозь дыру в холсте.

Муну стал искать дыру, но нигде не находил. Он попытался приподнять край холщевой стенки.

— Брось сейчас же! — крикнул служитель. — Еще повалишь! Вот здесь!

Муну кинулся к щели, в которую служитель всунул указательный палец.

Представление было в самом разгаре. Арена лежала в кольце из стульев, их ряды поднимались амфитеатром.

Где-то недалеко от щели оркестр играл европейские мелодии, а под холщевым потолком цирка группа гимнастов только что совершила головокружительный прыжок, перелетев с одного конца арены на другой; теперь они уходили.

При звуках аплодисментов сердце Муну запрыгало. Но он забыл о гимнастах, когда под новый взрыв аплодисментов на арене появилась, покачиваясь на ходу, слоновобразная мисс Тара Бай.

В щель ему было трудно рассмотреть ее лицо, но она сразу же легла наземь и ей нава-

лили на живот громадный камень. Затем двое мужчин стали бить по камню большими молотками, вроде тех, какими кули разбивают глыбы камня на мелкие осколки, чтобы ими мостить новые дороги; а она — хоть бы что. Наконец силачка спихнула с себя камень, вскочила на ноги и раскланялась. Муну раскрыл рот от восхищения.

Быстрый, упругий топот, раздавшийся где-то совсем рядом, отвлек его от женщины-геркулеса. Оказалось — просто белая лошадь.

Муну прижался к щели и увидел, как лошадь выскочила на арену, а за ней следом — молодой человек в необыкновенно обтягивающих белых брюках и длинном плаще из серебряных пластинок. Этот молодой человек искажался Муну резиновым — с такой ловкостью вскочил он на спину скачущей лошади, постоял несколько мгновений, балансируя на ее хребте, подпрыгнул, встал на голову ногами вверх, а затем соскользнул по хвосту лошади на песок, словно сошел по удобной лестнице.

Муну смотрел на арену зачарованный, без мыслей, сбитый с толку совершающимися перед ним чудесами.

— Вот бы мне так!.. — мечтательно произнес он про себя, охваченный восхищением. Но следующий номер ловкого наездника, после которого тот как ни в чем не бывало вскочил на спину лошади и умчался галопом, показался Муну недостижимым искусством. «Этот искусник поедет потом в Вилайт, за моря, откуда родом сахибы; туда я не могу поехать, я ведь только простой кули. Но я поеду в Бомбей. И я, вероятно, заработаю там доста-

точно, чтобы тоже поехать по ту сторону черных вод».

В это время, как будто из недр самой аплодирующей публики, вынырнули два клоуна в островерхих колпаках и пестрых балахонах; их лица были размалеваны красной и черной краской. Они сначала поиграли ярким мячом, балансируя им на кончиках своих длинных наклеенных носов, а затем стали передразнивать гимнастов; сначала их движения были неуклюжи, но потом достигли такого же совершенства. Муну был поражен.

И вот служители вкатили клетку со львами. Но, увы, в эту минуту мимо Муну прошел его новый знакомец и лишил его возможности насладиться предстоявшим зрелищем.

— Пойдем-ка, мальчик, поработай, помоги мне отнести вот эти ведра, ты уж посмотрелся...

Трудно было Муну оторваться, но он считал, что всем обязан служителю при слоне и не в праве отказать ему в помощи.

— А ведь слон наверно пьет больше чем по ведру, — заметил Муну, опасаясь, что ему придется перетаскать множество ведер.

— Да я только хочу обмыть ему зад, — пояснил служитель.

Муну наполнил у колонки на углу два ведра и понес их к тому месту, где стоял Джумбо, доедая траву.

«Всякий видит сразу, что я кули», — размышлял Муну, таща ведра. И на миг его охватило уныние: нет, никогда, видно, не придется ему поехать за моря, как тому сверкающему наезднику. «Но в Бомбей мне, может быть, все-таки удастся поехать», — утешал он себя.

От таскания воды кровь в его теле побежала быстрее, мышцы напряглись, и после третьей пары ведер он почувствовал себя легко и весело.

— Вы не могли бы взять меня помощником и прихватить с собой в Бомбей? — спросил он служителя, и его голос вдруг прозвучал решительно и настойчиво.

— Места я тебе не могу дать; надо долго учиться, чтобы ходить за слоном, а мы скоро едем за море, — сказал тот. — Но ты можешь потихоньку забраться в поезд, в котором мы поедem в Бомбей. Когда я был твоих лет, я весь юг зайцем изъездил.

— Вы правду говорите? — спросил Муну.

— Ну да. Оставайся тут, помоги нам уложиться. Я выхлопочу тебе плату за твою работу. А ночью я тебя спрячу в поезде.

— О, вы добрый человек, — сказал Муну радостно. — Такое вам спасибо...

— Молчи, — сказал погонщик сухо, — кто-нибудь может подслушать нас. Пойди, принеси еще травы для Джумбо.

Глава четвертая

Паровоз специального поезда, в котором ехал цирк, пронзительно свистнул и тронулся.

Сердце Муну трепетало от страха и от разлуки с Даулатпуром; он лежал возле стенки открытой платформы, на жестких складках свернутого холста, и смотрел на звезды. Он вспомнил ту ужасную ночь, когда бежал из Шам-Нагара. Но сейчас было не так знойно, и он не чувствовал себя виноватым: он заслужил это место в поезде. Разве не таскал он

всю вторую половину дня громадные стальные кольца, которые были прикручены к центральным столбам цирка? И он не был так одинок: где-то там, в вагоне для прислуги, ехал его новый друг.

Правда, в свистках паровозов среди мрака было, как и год назад, что-то зловещее и токсичное. Но это относилось к далекому миру, лежавшему в другом направлении, чем тот, куда он ехал, к мрачному миру, давно оставленному им позади.

Он не хотел вспоминать ни Шам-Нагар, ни Даулатпур. И тот и другой были к нему жестоки. А теперь он уезжал, он ехал навстречу новой жизни, навстречу новому волшебному городу, где были корабли и автомобили, гигантские дома, восхитительные сады и богатые люди, которые так и швыряются деньгами, щедро награждая кули за всякий пустяк.

Поезд медленно тащился мимо нефтяных цистерн «Бирманской компании», Муну хотелось, чтобы он шел как можно быстрее: хотя мальчик и чувствовал себя в безопасности, но все еще слегка побаивался, как бы кто-нибудь не явился и не вышвырнул его отсюда. А тогда пришлось бы возвращаться на Овощной рынок. «Нет, — решил он, — лучше убью себя, а туда не вернусь».

Поезд ускорял ход. Громоподобное слилось в сплошной однообразный гул. Высокие пятиэтажные дома Даулатпура давно остались позади. Жаркий летний ветер со свистом обдувал лицо. Лай собак тонул в грохоте колес.

Муну сел на свернутый холст и посмотрел вокруг. На фоне черной земли и неба смутно

выделялась своим еще более глубоким мраком только густая листва плодовых деревьев. Ночь давно проглотила все остальное — крыши, минареты, купола и причудливые очертания даулатпурских стен. Чтобы спастись от видений прошлого, Муну снова улегся и постарался заснуть.

Проснулся он только на рассвете и услышал крики и беготню пассажиров и лязг буферов у соседних платформ. «Интересно, какая это станция?» — подумал он сквозь дремоту, но даже не открыл глаз. Сквозь голоса торговцев, кричавших: «Индусские сласти», «Магометанский хлеб», «Горячий чай», «Холодная вода», он различил еще чей-то голос, возвестивший: — Узловая станция Амбала, город Амбала, пересадка на Калку! — Затем ритмическое гудение шмеля слилось со скрежетом колес. Предутренный ветер приятно освежал голову. И мир снова погас...

Он проснулся на центральной станции Дели. По железной крыше вокзала трудно было заключить о великолепии этой столицы Индии — такой, по крайней мере, ее представлял себе Муну по книжкам.

Он выглянул на платформу и увидел толпу, с криком и дракой ломившуюся в уже полный вагон.

Муну воспользовался суетой, спрыгнул на другую сторону и облегчился у водокачки, на путях. Затем снова лег и уснул.

— Пойдем, я найду тебе местечко в закрытом вагоне, а то днем ты здесь не выдержишь, так жарко будет. Я принес тебе поесть, — дошел до него голос служителя.

Муну спрыгнул с открытой платформы и

вошел за своим покровителем в товарный вагон, где было свалено множество бамбуковых подпорок.

— На, поешь, — сказал служитель. — Я проведу тебя опять в Ратламе.

Муну кое-как примостился на жестких неровных палках. Когда он принялся за еду, поезд отошел от станции.

Поглощая куски поджаренного хлеба и маринованной моркови, Муну размышлял о великодушии своего друга: «Отчего это одни люди — добрые: Прабха, цирковой служитель, а другие — злые: Ганпат и этот полицейский, который прибил меня на вокзале?» Затем он стал смотреть на проплывавшие вдали развалины крепостей, гробницы и мавзолее. Казалось, они вросли по колено в эту бесплодную почву, среди изглоданных корней кактусов и дикого кустарника, и курятся, не горя, перламутровым дымком, подожженные яростными, всепожирающими лучами солнца. Мальчик вспомнил легенду о том, что город Дели будто бы основан династией царей, которые были потомками солнца. «Может быть, солнце — этот праотец царей раджпутов, свергнутых магометанами — мстит мусульманам, испепеляя их крепости и мавзолее?» — наивно думал он.

За окном вагона потянулись на многие мили унылые красные кирпичные здания нового Дели сэра Эдвина Лютъена, расположенные как дрова в погребальном костре, и это зрелище как будто подтверждало предположения мальчика. Но затем ему показалось сомнительным, чтобы солнце стало сжигать дома, построенные англичанами, так как говорилось

же в его учебнике истории, что «Солнце никогда не заходит над Британской империей».

Два крестьянских мальчика шли за своими буйволами, запряженными в неуклюжие деревянные плуги, они одиноко чернели на этой бескрайней равнине, покрытой пылью и песком, и их вид вернул Муну на землю. Он стал думать о жизни этих людей, обрабатывающих пустыню в тщетной надежде извлечь из нее жизнь.

Под медным оком солнца однообразные пески тянулись бесконечно, совершенно бесплодные, и только местами покрытые обглоданным засохшим колючим кустарником.

Поднявшийся вихрь взвил облако песка и пыли, погнал его волчком по степи, осел кругами и зарылся в какой-то яме.

«Может быть, это призрак павшего раджпутского воина? — Ведь согласно индусским поверьям, мертвые посещают землю, приняв вид пылевых смерчей...» Как бы там ни было, но он чувствовал себя вне опасности здесь, в поезде, который бесстрашно неся по этой пустынной земле, под еще более пустынным небом, презирая даже угрозы свирепого солнца, пожиравшего все вокруг своим злым огнем.

«Поезд, действительно, чудесная штука. Не будь паровозов, никогда бы мне не убежать из Шам-Нагара в Даулатпур, и уж ни за что не попал бы я в Бомбей, ведь пешком так далеко идти невозможно».

Но тут его поразила другая мысль: «Ну, еду я теперь в Бомбей, а что я там делать буду? Никого я не знаю. И где же я найду работу, за которую дают тридцать рупий в месяц, как

рассказывал кули на Овощном рынке? Я ни за что не хочу просить милостыню».

Ему представилось, что он нищий, подобно черным мужчинам, женщинам и детям пустыни, которые кланчат пайсы на улицах Даулатпура, и его сердце сжалось от ужаса, так как это значило — упасть на дно. «Все-таки у меня есть рупия, — успокаивал он себя, — и разве кули на Овощном рынке не уверял, будто найти работу в Бомбее ничего не стоит?»

Он попытался представить себе Бомбей. Перед его мысленным взором выросли огромные здания вроде красивых белых домов в английской части Даулатпура. Но, помимо них да еще широких улиц, воображение не нарисовало ему больше ничего.

Духота запертого вагона и равномерное покачивание утомляли и нагоняли дремоту. Он силился преодолеть сонливость и снова стал смотреть на пустыню. Но непрерывное мерцающее струение зноя словно зачаровывало: глаза невольно смыкались; и он забылся.

Под вечер внезапный толчок разбудил его. На черной доске белыми буквами было написано по-английски и на индустани: «Станция Котах». Он продолжал дремать. Он был весь покрыт испариной, члены онемели от лежания на бамбуковых палках.

— Я принес тебе сладостей и молока, — сказал ему цирковой служитель, — и мешок, ночью подстелешь. Сегодня тебе вряд ли удастся ночевать на открытой платформе, сахибы парсы и прочие господа гуляют вечером на станциях. Мне с моим слоном меньше хлопот, чем с тобой, но я рад помочь тебе... Когда я

был твоих лет, один человек помог мне добраться из Калькутты в Мадрас. Ну, будь осторожен и не вывались.

--- Ладно! — кивнул Муну, поглядывая на сливочное пирожное, засахаренные сливы и глиняный кувшин с молоком.

Поезд продолжал бежать по широкой-широкой пустыне вслед за отважным дерзким паровозом, предостерегающе бросавшим свой свистки навстречу пронсящимся, как гром, поездам.

В зрелище этой пустыни было что-то приковывающее. Она словно начинала жить особой призрачной жизнью — с ее песчаными миражами и изредка маячившими сквозь знойную мглу вереницами верблюдов; животные плелись гуськом, а за ними шли люди, преодолевая голод и жажду. Случайная кучка палаток или разрушенное строение напоминали Муну каравансарай в предместьи Шам-Нагара. Он попытался представить себе суровую жизнь этих людей, торговавших лошадьми и буйволами. Горизонт не имел границ, и глаза Муну, наконец, заболели от раскаленного воздуха, струи которого дрожали, как дыхание, выбрасываемое гигантской печью.

К вечеру плоскую равнину сменило плоскогорье и холмы, окаймленные укреплениями, яркие краски дня таяли в зарослях акаций и мелкого кустарника, чью листву щипали, вытянув шею, козы и верблюды. Над руслами высохших рек появились кучки хижин; мужчины приветствовали поезд, опершись на мотыки; женщины с кувшинами молока на голове спешили стыдливо закрыть лица, дети глазели засунув в рот палец, голые, не ведающие стыда.

Муну вспомнились дни его детства; как часто играл он возле шоссе с толстым пузатым Бишамом, с тощим Бишамбаром и с этим зазнайкой — Джей Сингхом. Но замкнут был мир в пурпурных холмах Кангры и не было там железной дороги, на которую можно было бы поглазеть. «Хоть и тяжело было расставаться, а все-таки хорошо, что я ушел отсюда, — говорил себе Муну. — А теперь вот я еду в Бомбей, и там я, наверно, увижу диковинные вещи — таких не увидишь ни в моей деревне, ни в Шам-Нагаре, ни в Даулатпуре».

Поезд оставил позади холмы, заросшие бурой травой, дикими цветами и мелким кустарником, и шел по сверкающей красками долине, окаймленной вдали цепью рыжих гор. «Может быть, в этих горах — старинная крепость Читтор, — думал Муну, — где Падмини сражался с Ала-уд-Дином, царем Дели, и где герои Мевара облеклись в желтые одежды и совершили «джоухар», а женщины, во главе с корслевой, предпочли «сати», чем быть обесчещенными победителями. Мне хотелось бы побывать там, увидеть Читтор. Но ведь работы там не достать. Нужно ехать в Бомбей—в Бомбей и работать. Интересно, когда мы приедем?»

Поезд, свистя, подошел к Ратламу, и день внезапно и как-то совершенно неожиданно умер; наступала ночь.

Паровоз разрывал лиловые покрывала сумерек, и, казалось, время мчится вровень с ним мимо телеграфных столбов. Оно помчалось еще быстрее, когда Муну приступил к еде, снова принесенной ему его благодетелем, и вовсе перестало существовать, когда ночь зажгла свои низкие светильники над песчаными

дюнами и вершинами гор. Небо было иссиня-черное, исчерченное серебром, и мир — полон волшебства; что-то вспыхивало в густой тени, что-то обволакивало Муну, подобное той зловещей беззвучности, с какой призраки выходят из пустоты. Наконец ему все-таки удалось уснуть на мешке, немного смягчавшем неровности бамбуковых подпорок.

Когда он проснулся, кругом зеленели заросли пальм, а под Бародой потянулись обширные возделанные поля. Внимание Муну было привлечено специальным поездом Махараджи, выкрашенным в белый цвет, его лакированная поверхность излучала ни с чем не сравнимый блеск. Возле поезда сновало несколько мужчин в белых костюмах, золотистых шапках и черных сапогах, таких же, какие носил его шаманагарский хозяин. «Ни за что не мог бы я раньше купить себе сапоги, — подумал он, — но если теперь в Бомбее добуду работу, первое, что я сделаю — куплю именно такие сапоги».

Плодородные долины, тянувшиеся по обеим сторонам полотна, перемежались с крутыми скалами, на них стояли гигантские храмы или здания, увенчанные высокими дымящими трубами. Значит, скоро Бомбей, и надо подумать о том, как найти работу.

Вдали сверкнула серебряная черта водной поверхности, казалось, не имевшей конца, она играла и дробилась на мириады искр, и в сердце мальчика вспыхнула радость — он впервые увидел море. Скоро у его ног вдоль насыпи уже бежала голубая дорога воды, и его сердце билось созвучно с ритмом волн.

Радостная встреча с морем еще углубила то чувство страха, которое, с приближением к

Бомбею, вдруг придавило его душу. Он встал и решительно встряхнулся, чтобы сбросить немой гнет почти непереносимого ужаса. Подошел к окну. Вытерся краем грязной куртки Песож, прилипший к ней, оцарапал его нежные, разгоряченные щеки. Провел рукой по волосам — и на ладони остались крупинки угля и пыли. Муну вздохнул, готовый расплакаться так остро было чувство неуверенности и покинутости. Он сел и принудил себя смотреть на бежавшие мимо зеленые поля, словно омытые солнечными лучами, и на блеск морских вод.

«Постараюсь, как приеду, найти какого-нибудь земляка с севера. Только как отыщешь человека в таком огромном городе?»

Бомбей уже начался, мальчик понял это по надписям на стенах фабрик, возвещавшим латинским шрифтом, а также иероглифами странного языка трудные имена каких-то Рустамджи-Джамсетжи, Каримбхойев, а также имя города: БОМБЕЙ. За время своего путешествия с севера на юг ни разу, на протяжении двух тысяч миль, не видел он города, предместья которого тянулись бы так бесконечно, как предместья Бомбея.

Поезд несся, проплывали пальмовые и фиговые рощи, купола, минареты, церковные шпили, фасады домов, разукрашенные цветами, фабрики, пламенеющие горные вершины, кладбища, кирпичные ограды, рыбосушильни, красивые с бесконечными коврами разложенных для просушки свежепокрашенных шелков и ситцев, стада баранов и коз, стада буйволов и коров, мужчины, женщины, дети в одеждах самых странных и разнообразных цветов и покровов.

Страх Муну все возрастал. В животе сосало все мучительнее. Во рту пересохло. Глаза тревожно бегали по сторонам. Он елозил на неудобном сиденьи, поднимал то одну, то другую затекшую ногу. Его мысли спутались. Кровь пульсировала с такой быстротой, словно он бежал. Лицо побледнело. Тело покрылось испариной. Он ни о чем не думал, ничего не сознавал.

Молнией пронеслись полустанки предместий, паровоз еще раз свистнул, судорожно дернувшись на стрелках и, задыхаясь и хрипя, словно загнанный насмерть, остановился у одной из платформ Виктория-Стэйшен.

Муну выглянул из вагона и увидел, что с другой стороны стоит товарный поезд. Подождать ли ему своего покровителя или ринуться к выходу, в широкие двери которого несколько кули вкатывали тюки и можно было выскочить на улицу?

— Идем-ка, брат, ты прибыл в страну своего желания, — сказал, входя, его рябой друг, цирковой служитель. — Этот поезд скоро уйдет на Баллардский порт, где мы погрузимся на корабль и поплывем через черные воды в Вилаят. На, поешь. Идем, я покажу тебе, как незаметно выбраться с вокзала.

Муну спрыгнул на платформу.

Вст он наедине с человеком, который был так добр к нему, и даже не в силах поблагодарить его. Наоборот, ему неловко, ему хочется скорее удрать..

— Чем больше город, тем он более жесток к сыновьям Адама, — сказал служитель, пролезая под буферами. — С тебя дерут даже за воздух, которым дышишь. Но ты хороший

парнишка... Пройди вон там, как будто ты обыкновенный прохожий. Да хранит тебя бог.

Мальчик взглянул на него: некрасивое лицо было только маской. Муну пошел по указанному направлению, его сердце было переполнено благодарностью и страхом.

Он вышел из вокзала. Итак — перед ним был Бомбей, этот странный космополитический город-гибрид, на чьих улицах краснолицые европейцы в безукоризненных костюмах, башмаках и шлямах мелькали рядом с длинноносыми парсами в сюртуках, белых брюках, конусообразных митрах, с быстроглазыми магометанами в пышных шальварах, длинных туниках и фесках, с гибкими индусами в муслиновых рубашках, дхоти и черных ладьевидных головных уборах; где сари парсиянок и пестрые одежды индусских женщин затмевали белые покрывала женщин, соблюдавших парду, и легкие платица мужеподобных англичанок; где ревели автомобильные гудки, дилинкали виктории и трамваи, где повсюду теснились люди, смутно известные Муну под именем арабов, персов, китайцев, и раздавался говор на множестве языков и наречий, Муну совсем неизвестных.

Растерянно смотрел он на это мелькание красок и форм, слушал хаос звуков, дышал запахом, отличным от всех ведомых ему ароматов и зловоний, — смешанным запахом сырости и липкого пота, пыли и зноя, мускуса и чеснока, ладана и навоза. Муну растерялся. Исчезла уверенность шага, решимость во что бы то ни стало итти дальше и дальше.

Он пересек мостовую. Он посмотрел вокруг, словно проверяя свою силу в единоборстве с миром. Высокие купола и башни главного почтамта справа, широкие купола и башни вокзала слева, величественные купола и башни университета и суда прямо впереди словно переглядывались друг с другом, надменно вещая о высотах совершенства, достигнутых готикомусульманской архитектурой, и, казалось, вынуждали его решить, кто из них самый великолепный, не подозревая о том, что это простой, скромный маленький горец, готовый при виде любого большого здания безоговорочно признать его величие и собственное ничтожество.

Подавленный, смятенный, шагал мальчик через площадь, отирая пот, обильно струившийся по лицу, и, наконец, увидел скамью у подножья мраморной статуи приземистой, широкозадой королевы Виктории со скипетром и в короне; на голову королеве только что нагадила сине-черная ворона, и теперь каркала о недоверии к миру, приплясывая и отряхиваясь.

Муну в изнеможении упал на эту скамью. Отвернувшись от улицы, где пестрая толпа ждала странного трамвая, катившегося без рельс и дуги, он раскрыл сверток, который дал ему в последнюю минуту цирковой служитель.

Он держал в руке сладости, созерцая желтые пирожные, шоколадные расгуллы и сбитые сливки. Это было восхитительно вкусно, но его желудок был пуст. Поэтому он ел с жадностью, не успевая насладиться. Он мигом проглотил почти все.

Когда в мешке осталось только одно пирож-

ное, ему захотелось пить, и он посмотрел по сторонам, в поисках колонки. Но едва он отвел глаза от сладостей, как ворона, сидевшая на голове королевы Викторнии, подлетела к нему, вырвала из рук задумавшегося мальчика мешок и бросила его на мостовую.

Муну опомнился и полусердито, полушутливо выругался по адресу вороны:

— Ах ты, дочь вора!

Но тут вдруг появилась целая стая ворон; яростно каркая, они набросились на выпавшие из мешка сласти и, вновь вспорхнув на свое высокое пристанище, расселись на голове королевы, на плечах и вокруг ее грузного торса.

Муну смущенно поднялся, стараясь не привлекать ничего внимания; он думал: «Эта дочь вора как будто знает, что я не буду подбирать пищу с мостовой, по которой ступали ноги в башмаках... вот она и караулила, пока я отвернусь. Хитрая дрянь!»

Он снова зашагал по мостовой, по которой непрерывно мелькали люди. Вон старик-астролог с глубоко врезавшимися в лоб знаками священнической касты, с белой, развевающейся бородой и жирным телом, облаченным в снежно-белую длинную муслиновую одежду, предсказывает судьбу клерку-гуджерати; рядом — брадобрей-магометанин разложил перед собой бритвы и инструменты, смотрится в большое зеркало и покуривает кальян, ожидая клиентов; еще дальше — выставка книготорговца: книги, журналы с цветными иллюстрациями, изображающими красивых европейских женщин, и брошюры, где на индустани повествуется о тайнах и загадках пола; затем продавец фруктов и кондитер, а в уголке за

тротуаром лежит кули, положив голову на руку, сжавшись в комок, словно из опасенья занять слишком много места.

Когда Муну увидел этого бесприютного кули, его сердце упало. «Значит, даже здесь кули спят на улицах!» — и рассказ даулатпурского кули о том, что в Бомбее деньги на мостовой валяются, показался ему враньем. Его рот пересох от жажды. Тело ныло. Ночь приближается и застигнет его на этих улицах, одинокого, без друзей. Он постарался отогнать эту мысль. Она, наконец, угасла, сознание опустело.

Он дошел до перекрестка. От него расходились четыре бульвара, застроенные высокими красивыми восьмиэтажными зданиями, которые напоминали дома английских кварталов Даулатпура, с той разницей, что тут их ряды как будто уходили в бесконечность.

Минуту он стоял неподвижно, словно прирос к земле, не зная, куда идти, не отваживаясь вступить в цивилизованный мир бульваров. Затем он присмотрелся к людям, которые спокойно шли по ним, — увидел даже нескольких кули в гораздо более грязных куртках, чем у него. Тогда и он свернул на один из бульваров.

Он даже до того осмелел, что стремительно пробежал мимо поднявшего руку темнолицего полицейского в синем с желтым мундире, выглядевшего совсем иначе, чем голоногие полицейские в провинции. Мальчик задержал шаг, поравнявшись с воротами высокого дома, возле которых висела медная блестящая доска. «*Кокс и К°*», прочел он английскую надпись и почувствовал удовольствие, оттого что

эти черные буквы открывают ему доступ к миру сахибов. Однако тут же вспомнил, невольно оробев, как обошлась с ним англичанка в европейском квартале Даулатпура. Розоволицых здесь было все же почему-то мало, все больше индусы. Итак, он продолжал идти. Ему нестерпимо хотелось пить, и он смотрел по сторонам, не попадет ли, как в Даулатпуре, палатка с бесплатной водой. Огромные витрины мебельных магазинов чередовались с величественными порталами учреждений или таинственным подъездом банка, но нигде ни колонки, ни колодца, где бы можно было напиться воды.

Наконец он увидел большой белый тент, стеклянные двери, ряды цветных бутылок с содовой водой; у окон, за столиками, на английских стульях сидели люди, ели, пили и болтали. Муну пил однажды содовую воду в Даулатпуре в лавке у продавца мороженого, когда ходил с каким-то поручением. Хорошо бы выпить и сейчас стаканчик. Люди, сидевшие за окном, очень чисто одеты. Верно, это богатые бабу или купцы, а он только грязный кули. «Но ведь стакан содовой стоит всего одну анну, — размышлял он, а у меня в уголке дхоти есть целая рупия. Я могу войти и выпить стакан».

Он вошел с легким сердцем, хотя его ноги были словно налиты свинцом, чуть не упал, задев за порог, и остановился, ослепленный, растерянный, посреди комфортабельно обставленного ресторана. Однако постарался тут же овладеть собой, хотя все и смотрели на него. Отодвинув стул, Муну сел за пустой столик и провел рукой по лбу, чтобы отереть пот и успокоиться. Он все же храбрился настолько,

что стал даже разглядывать посетителей — как они наливают горячий чай на блюдечки и потягивают его сквозь зубы. Но тут к нему подошел человек в муслиновой одежде и с жирно смазанными маслом расчесанными на пробор волосами.

— Кули? — спросил человек.

— Да, — признался Муну, и сердце его замерло.

— Сядь на пол, вон там, чего тебе? — грубо сказал человек.

Муну неловко поднялся со стула, отошел и молча сел на асфальтовый пол.

— Чего тебе? — переспросил человек.

— Бутылку содовой, — сказал Муну.

Кое-кто из посетителей, дую на блюдечко с чаем, искоса посмотрел на него, как смотрят на прокаженных, а официант многозначительно повел плечами: каково, мол, кули содовой захотелось!

Муну был взбешен. Он старался утишить свой гнев, убеждая себя в превосходстве этих чисто одетых богатых людей, которых его всегда учили почитать. Так как сидевшие вокруг бесцеремонно его рассматривали, он стал смотреть в окно.

— Давай деньги, две анны, — крикнул человек, а Муну почудилось, что тот сейчас наступит на него.

Муну вздрогнул. Склонив голову и чувствуя на себе все эти взгляды, он развязал уголок набедренной повязки, достал серебряную рупию и отдал официанту.

Тот принес стакан зеленой шипящей содовой. Затем положил ему на ладонь четырнадцать анн сдачи.

У содовой был острый, свежий, сладковатый вкус, она защекотала ему нёбо и вызвала на глаза слезы. Хорошо бы ее пить понемножку, глоток за глотком, в полной мере насладиться ею. Но Муну слишком волновался: он чувствовал себя виноватым, осмелившись вторгнуться в этот мир богачей. Поэтому он выпил воду залпом. Поставив стакан в угол, он пошел к двери. Но газированная вода тотчас оказала на него свое действие, вызвав отрыжку, которую он был не в силах сдержать.

— Пошел вон отсюда! — крикнул ему вслед официант. Муну выскочил из ресторана, как ошпаренный.

Отбежав шагов на сто, он оглянулся. Нет, официант не гнался за ним. Мальчик посмотрел украдкой во все стороны и поплелся дальше, отчаянно браня себя за то, что сунулся в этот ресторан. Только зря деньги выбросил. От этого официанта прямо оскомина во рту осталась. «Уж очень мне пить хотелось, — оправдывался он, — а теперь все-таки больше не хочется». Он снова отрыгнул, словно и его желудок подтвердил эту мысль. Муну шевельно рассмеялся.

«Если бы он только толкнул меня, — вернулся он к воспоминанию об официанте, — я бы ему показал... Он напомнил мне мое место, пусть, но я ведь заплатил за содовую, и я не неприкасаемый. Я кшатрия, раджпут, я принадлежу к касте воинов».

Он вдруг ощутил себя сильным и могущественным при этой мысли о касте воинов, сильным, могущественным и счастливым, и чувство собственного достоинства вернулось к

нему. Его глаза невольно остановились на огромном цветном изображении Таллулах Бэнкэд, соблазнительно смотревшей на него большими глазами сквозь длинные ресницы; она была совершенно нагая, в одном только жемчужном бюстгальтере на молочнобелом теле и в жемчужной набедренной повязке. Опасаясь, что, может быть, кули запрещено любоваться столь пленительным видением, он посмотрел вокруг, не наблюдает ли кто-нибудь за ним, и только что собрался перейти на другое место, откуда лучше было видно это тело, вдруг пробудившее в его крови странное волнение, как до его слуха донесся взрыв звуков: лай автомобильных рожков, тенькание трамваев, сердитые окрики извозчиков и возгласы: «Идиоты!» «Куда ты прешь, черномазый!» Он замер на месте в ужасе, решив, что нарушил правила движения. Ему почудилось, что он уже мертв или сейчас умрет. Порыв к жизни заставил его стремительно обернуться. Он увидел, что ему ничто не угрожает, но на другой стороне улицы убого одетый, небольшой темнлицый человечек с седой головой и кривыми ногами, сгибаясь под тяжестью узлов, тащит за собой обвешенную вещами женщину, она тащит за руку мальчика, а маленькая девочка, застряв посреди улицы, отчаянно визжит.

Уступая одному из тех внезапных порывов, которые так часто рождались в его пылкой душе, Муну бросился на середину улицы между двумя потоками движения и, подхватив девочку, перебежал к тому месту, где беспомощно остановилось все семейство, бормоча проклятия и молитвы.

— О, да будет твоя жизнь долга, да будет

твоя жизнь долга, сын мой, — запричитала женщина, обращаясь к Муну и схватив дочь в объятия. Затем обратилась к мужу: — В какое ужасное место ты привез нас!

— Тише, женщина, ты чуть не погубила моих детей, — сказал муж.

— Надо было держать их! Ты бросил меня на середине улицы, а сам побежал спасаться. Ва! Хорош отец! — протестовала она.

— Не сетуй, мать, не сетуй, — сказал Муну тоном взрослого.

— Брат, — обратился старик к Муну, погладив его по спине и складывая затем руки в знак мольбы и благодарности, — эта маленькая дрянь была бы убита, если бы ты не подбежал и не спас ее. Ведь машины — настоящие дьяволы!

— У вас так много вещей, — сказал Муну. — Далеко вам? Давайте, я помогу.

— Я работал полгода у Сирджабита (сэра Джорджа Уайга), это хлопчатобумажная фабрика, потом поехал в деревню за семьей, — сказал старик. — Завтра я опять пойду на фабрику и попрошу работы. А сейчас мы идем в город, где-нибудь около запертой лавки или на мостовой найдется уголок, чтобы переночевать. Мы ведь бедные. А теперь нам пора. Рам, Рам, — и он хотел двинуться дальше.

— Брат, — сказал Муну взволнованно, — я чужой в Бомбее, и я тоже ищу работы. Как ты думаешь, можно мне будет поступить на фабрику, где ты работаешь? Я кули; родом я из деревни.

— О, да, пойдем с нами, брат, — отозвался старик. — Переночуем вместе и завтра двинемся на фабрику. Я представлю тебя сахибу,

мы снимем хижину возле фабрики, и ты можешь жить с нами.

— Да, брат, это именно то, чего я хотел бы, — сказал Муну, стараясь казаться как можно взрослее и серьезнее.

Они покинули западный деловой район торговых контор и больших зданий с куполообразными крышами, бросавших на улицу глубокую мрачную тень, миновали спортивную площадку и вступили в пестрые восточные кварталы Гиргаума.

Муну посадил девочку на одно плечо, мальчика — на другое и стал похож на Ханумана, обезьяньего бога, когда тот, по преданию, переносил Раму и Шиту, героя и героиню Рамаяны, с Цейлона в Ауд. Муну, наконец, был не один, и к нему вернулись уверенность и мальчишеская восторженность.

— Брат, — сказал он, подбегая к старику, — как твое имя?

— Меня зовут Хари, Хари Хар, — отозвался старик, отирая пот, струившийся по бледнокофейному лбу на кроткие глаза и густые усы. Он прислонил свой груз, который тащил на спине, к железной клетке дерева и обдал Муну струей горячего прерывистого дыхания.

— А далеко итти нам? — спросил Муну.

— О, нет, небольшой кусок по Бхенди-базару до Чаупати, — спокойно отозвался Хари. Затем обратился к жене, которая отстала и тоже приостановилась: — Сядь, Лакшми, мать Моти, и отдохни немного.

Женщина смиренно покачала головой и только поправила жестяной бидон, зажатый подмышкой.

— Тени вечера уже спустились, и дети заснули, — изрек Муну тоном умудренного жизнью старца. — Не будем мешкать.

— Помянем имя божества и пойдем дальше, — сказал Хари. — Я знаю сокращенную дорогу до Чаупати.

Они вошли в узкую улицу, здесь дома были притиснуты друг к другу, верхние этажи нависали над прохожими, ряды окон, то затененных дешевыми маркизами, то лишенных даже занавесок, выходили на облупленные ветхие балконы, с которых зной давно слизал краску.

Трудно было продираться через толпу гуляющих, одетых в ткани самых дешевых и пестрых расцветок, какие только знает германская химическая промышленность, и самого причудливого вида, какой только может придать людям смешение национальных костюмов самых разнообразных народностей.

«Ну, здесь, — решил Муну, — совсем как в Даулатпуре и Шам-Нагаре, только еще пестрее». Он погрузился в себя, стараясь не замечать серебристых, оранжевых, зеленых, золотистых, бирюзовых и огненных тонов на одеждах арабов, индусов, мусульман, парсов, англичан, евреев.

Вскоре этот вихрь красок стал еще причудливее, озаренный электрическими лампами, вспыхнувшими в каждом домишке, палатке, витрине; от него рябило в глазах, кружилась голова. Муну раздражал этот гомон на двадцати диалектах; он с трудом проталкивался со своим живым грузом среди горлающих мужчин и женщин. Все же его влекли к себе витрины, особенно те, где были выставлены

стальные игрушки и крупные манго, крупнее тех, которые он видел в родной деревне, Шам-Нагаре и Даулатпуре. Но возле витрин толпились богатые люди, препираясь о ценах, а посмотреть было некогда.

Изможденный человек, все тело которого свело параличом, полз по краю дороги, у самых колес проезжавших мимо экипажей, и повторял жалобным, осипшим голосом:

— О, человек, подай мне одну пайсу!

— Пошел прочь! Пошел прочь, — крикнул на него владелец магазина, парс, замахиваясь длинным бамбуковым шестом.

Немного дальше Муну увидел темнолицего слепого старика. Он опирался на руку дочери и на палку, которую держал узловатыми корешками пальцев. Дочь, стройная и гибкая, видимо, когда-то была полна жизни, но теперь вся фигура ее выражала отвратительную приниженность, в глазах светилась страдальческая покорность, она беспомощно улыбалась и, сложив руки, назойливо клячила милостыню.

— Попли отсюда! Пошли! Дайте нам покой! — сказал индус-купец в одежде цвета соломы. Он сидел у окна своей лавки и бил мух. Услышав мольбу девушки, он жестко усмехнулся, и эту усмешку словно отразили, сверкнув, рубины в кольцах его серег.

«Значит, и в Бомбее деньги не валяются на улице, — размышлял Муну. — И здесь бедных хоть отбавляй...»

Пройдя базар, они вышли на улицу с большими домами, фасады которых, по образцу европейских, были украшены гипсовыми барельефами в виде цветов и арабесок. Большие плакаты перед кино, освещенные разноцветными

электрическими лампочками, еще больше подчеркивали европейский вид этой улицы.

— А что если здесь лечь спать, брат? — сказал Муну.

— Нет, — отозвался Хари, — ночевать близко к домам богатых нельзя. Тут бывает много краж, честных людей забирают вместе с ворами и лодырями и сажают в тюрьму. Ночевать можно только на тех улицах, где рано запираются лавки и ступеньки свободны.

Они протащились еще шагов двадцать до перекрестка, тут им предстояло свернуть направо или налево.

Но Хари вдруг остановился, и Муну чуть не налетел на него со своим живым грузом уснувших ребят, ринувшись слишком стремительно в сумрак лежавшей перед ним широкой улицы, укрытой густыми тенями домов.

— Или ты забыл дорогу? — спросил Муну, увидев, что Хари стоит не двигаясь.

— Нет, — покачал Хари головой. — Но мы опоздали. Трудно будет теперь найти место, эта улица полна спящих мужчин и женщин. Придется подождать, пока на базаре закроются лавки, если только все места не окажутся занятыми кули, которые работают пососедству.

Обернувшись, Муну взглянул на жену Хари; она стояла неподвижно, лицо ее все еще было скрыто покрывалом, а далеко в конце улицы играли разноцветные огни кино и сулили радость.

Муну посмотрел вдоль широкой улицы, освещенной бледным светом редких газовых фонарей. Повсюду лежали кули, едва прикрытые лохмотьями. Одни — подобрав под себя ноги, другие — уткнувшись лицом в скрещен-

ные руки, иные распластались на животе, подсунув под голову свой узелок или сундучок, иные еще сидели по закоулкам на корточках, разговаривая, или на ступеньках лавок, тесно сбившись в кружок. Иные же забылись сном, подобным смерти, прерываемым только тяжкими вздохами.

— Пройдем подальше, может быть, и найдется местечко, — предложил Муну, ободренный струей свежего бриза, который донесся, извиваясь змейкой, с недалекого моря, и он храбро пошел впереди.

Но не прошел он и трех шагов, как споткнулся об одеяло, прикрывавшее изъязвленное тело прокаженного, высунувшего в виде предупреждения забинтованную руку и ноги.

Охваченный отвращением и жалостью, ужаленный скорпионом страха, Муну отскочил, но тут же кинулся в другую сторону, так как был встречен сильным стоном нищенки: она защищала своим телом ребенка и смотрела в темноту взором тигрицы.

Муну вернулся к Хари, улыбаясь судорожной улыбкой.

— Смотри под ноги, сын мой, — заметил старик. — Не надо мешать людям спать. Я покажу тебе, куда идти.

Муну пропустил Хари вперед и последовал за ним с величайшей осторожностью, стараясь приноровиться к тяжести спящих детей. Он дивился, как это жена Хари видит в темноте из-под покрывала, и ему очень захотелось, чтобы она открыла лицо. Если она такая же старая, как Хари, то он спокойно может попросить ее об этом, ведь она тогда ему, четырнадцатилетнему, в матери годится.

Он оглядывался, ища предлога, чтобы заговорить с ней.

Вдруг острый душераздирающий крик пронзил рапирой его слух. Невдалеке тело какого-то кули с тупым звуком грохнулось оземь и скатилось по ступенькам крыльца, подгоняемое пинками сторожа, видимо, вознамерившегося запереть железную дверь, предохранявшую дом его хозяина от воров. Кругом застонали, завздохали, зашептались. Несколько кули, опасаясь, что их постигнет та же участь, поднялись с земли и вышли из закоулков и нор, куда они забились на ночь. Тела, разбросанные по мостовой, завозились, люди сбрасывали с себя белые лохмотья простынь, потягивались словно полированными черными телами или встряхивались, чтобы сбросить оцепенение сна, садились и начинали бормотать какие-то ласковые, тихие слова и заклинания, точно эти магические формулы могли зачаровать судьбу и отворотить все несчастья.

Вернулся Хари с утешительной вестью:

— Идем. Я вижу на той стороне свободное местечко.

Муну последовал за ним, размышляя о том, насколько здешние кули отличаются от виденных им на Зерновом базаре в Даулатпуре. Тела у северных жителей гор и Кашмира были крепкие, кряжистые, голенастые, грубые, а эти кули казались тонконогими, хилыми, щуплыми. Но боялись блюстителей порядка северные кули не меньше, чем южные. И он вспомнил, как в страхе карабкался на мешки и дрожал, что его увидит сторож.

На той стороне действительно оказалось свободное место — от крыльца какой-то лав-

ки тянулась галлерейка фута в три шириной, видимо, предназначенная для того, чтобы ставить на день обувь владельцев. Рассматривая эту галлерейку, они никак не могли понять, почему она свободна.

Там сидела только полуобнаженная женщина, обхватив голову руками и словно борясь с нестерпимой болью. Она взглянула на Хари и его спутников и сказала голосом, прерывавшимся от рыданий:

— Здесь прошлой ночью умер мой муж!

— Он обрел освобождение, — сказал Хари. — Мы отдохнем на его месте.

Муну почувствовал весь ужас смерти. Ему чудилось, что перед ним выступили из мрака огромные, уродливые, демонические очертания бога смерти. Он видел однажды в Даулатпуре литографию: бог смерти сторожит души злодеев, сисящиеся переплыть океан крови. Его собственная кровь точно высохла. Но его согрело теплое дыхание ребенка, которое он чувствовал на своей щеке, а Хари сказал:

— Мы привидений не боимся.

К счастью, его жена не слышала предостережения женщины, она молча стояла в стороне, изнемогая под тяжестью вещей.

— Пойди сюда и дай телу своему отдых, Лакшами, — сказал Хари. Он принялся развязывать узлы. Она послушно исполнила волю мужа и господина.

— Мы ляжем с тобой на мостовой, — сказал Хари, ласково положив руку на спину Муну. — А дети устроятся с матерью там наверху. — Муну опустил мальчика на приготовленную для него постель. Затем вернулся и сел наземь у стены дома.

Горбатые камни еще хранили в себе солнечный зной. Но он видел, что многие кули вокруг него уже завернулись в простыни. «Привыкаешь, — думал он. — И я скоро привыкну. А пока я еще новичок».

Все казалось ему странным здесь: дома в Даулатпуре были сравнительно невысоки, и кули, примостившиеся вокруг них, напоминали муравьев возле муравьиной кучи, но среди этих гигантских каменных сооружений, чья тень покрывала собой весь узкий базар, им просто не было места. И было что-то гнетущее в этом нависшем южном небе и в черном, неподвижном плотном воздухе. Стояла такая тишина, словно все умерло.

Муну чувствовал глубокое одиночество.

Его коснулась жаркая струя воздуха, повеяло тошнотворным запахом прогорклого масла, сандалового дерева, мочи, кислого молока, рыбы и гнилых фруктов. Он посмотрел в ту сторону, откуда потянуло жаром: он услышал полувздых, полустон и шорох откинутой простыни. Он посмотрел в другую сторону: там какой-то кули тревожно перевертывался с боку на бок и что-то бормотал. Третий метался по земле совершенно голый, хлопал себя по коленям и мерзко ругался.

Муну устремил глаза на ту сторону улицы, затем на Хари, который улегся рядом с ним, и снова на вдову: она все еще сидела, подперев голову руками. А повсюду на мостовой валялись тела, тела, тела. Если полумертвые—общество, то он, конечно, был не один. Но в душу его заползал невыразимый ужас, ужас перед их сном, перед их беспомощностью, ему чудилось, что вот они сейчас откроют воспа-

ленные глаза, будут скрежетать, стенать, рычать или все так же цепенеть в немой и глубокой неподвижности.

Безмолвно и торопливо вытянул он ноги, принял позу спящего, закрыл глаза и стал убеждать себя, что вокруг вовсе не призраки, а такие же люди, как и он; они тоже приехали с севера и тоже ищут работы. «Интересно, платили они за билет или ехали зайцем? А цирковой служитель? Где-то он сейчас? Должно быть, уже плывет по черным водам. Какой добрый был! А Прабха? Если бы они знали, что у меня уже есть друзья и завтра я получу работу! Они оба говорили, что я молодчина. Да, я не пропаду. А что бы я делал, если бы все люди были такие, как Ганпат и полицейский? О чем Хари думает? У него лицо всегда одинаковое. Попрошу его завтра, пусть расскажет свою жизнь. У жены его все еще опущено покрывало... Хотелось бы мне видеть, какая она...» Эта мысль вызвала в нем какой-то трепет. Его лихорадило. «Сон, сон, приди, сон», — звал он про себя. Его волнение росло, тревожное, возбуждающее, грозное, оно так потрясало его, что мысли как бы ранили мозг. «Сна, сна!» — молила его душа. И он изо всех сил зажмурился. Но хотя его глаза устали, а кости ныли, он слишком истомился, чтобы уснуть. Его тело то дрожало в ознобе, то покрывалось испариной. Задыхаясь, он повернулся на бок и увидел, что Хари крепко спит. Муну постарался лечь в то же положение, что и Хари, надеясь, что и он заснет. На миг он затих. Перед ним возникло видение жены Хари под покрывалом. Он снова открыл глаза: безнадежно. Мучительно хо-

телось ему вскочить и бежать — прочь, прочь, прочь отсюда, подальше от этих улиц, туда, где есть хоть капля свежести. Он вертелся упругим телом с боку на бок до тех пор, пока от камней не разболелись кости. Тогда он опустил лицо в ладони, лег ничком. И удушающий мрак обрушился на него.

На рассвете поднялся ветер. Он проникал в дыры рваных простынь, которыми были прикрыты кули, прокаженные, нищие, бедняки.

Они вздрагивали от холода, жались друг к другу, съеживались в комок.

Еще порыв...

Голые прокаженные стонали. Здоровые плотнее кутались в свои тряпки или вдруг пробуждались от сладкого утреннего сна и благодарные небу даже за холод, бормотали: — Рам, Рам...

Имя божества все чаще срывалось с уст отверженных, так как, согласно ритуалу, каждый приступ кашля, каждый плевок, каждый вздох является в Индии поводом для того, чтобы призывать Всемогущего.

Тех, кого не разбудили ни астматический и чахоточный кашель, ни громopodobное отхаркивание и хрип, ни призывы к божеству, тех подняла вооруженная дубинкой рука закона, которая принялась очищать от спящих мостовую. В их числе был и Муну. Хари уже встал.

— Рам, Рам, братец, — приветствовал его Хари. — Нам давно уже пора на фабрику.

— Дети проснулись? — спросил мальчик и тут же с готовностью предложил: — Если нет, я понесу их.

— Мы навлечем на себя гнев божества, — отозвался Хари. — Нужно их приучать рано просыпаться. Ведь им придется уходить на работу до восхода солнца. Разве не затем уехал я из Бомбея четыре месяца назад и теперь привез их сюда, чтобы они, подобно другим детям, начали зарабатывать себе хлеб насущный? Только так можем мы сводить концы с концами. — Он взглянул туда, где спали дети, а жена всю ночь стерегла их: — Ну что, Лакшами, проснулись?

Женщина начала ласково трясти малышей. Но они только стонали.

Хари угрожающе направился к ним.

— Я понесу их, дай им поспать, — сказала Лакшами, всем телом защищая их от мужа.

— Не можешь ты тащить восьми- и девятилетних балбесов! — огрызнулся Хари.

Он подскочил к детям, схватил за плечи, стал трясти. Но их руки безжизненно повисли. Они только всхлипывали, не открывая глаз, их тела были налиты свинцовой тяжестью сна.

— Я понесу одного, как вчера вечером, брат Хари, — заявил Муну, смущенный предстоящей семейной сценой.

Хари поднял с земли жестяной сундучок, Муну взял на руки мальчика, маленького крепыша, смуглого до синевы, Лакшами понесла девочку. Постели были скатаны, и все пустились в путь.

Улицы просыпались. По ним уже сновали белые, бронзовые, кофейные, черные люди в набедренных повязках, в трусах. Проносились в автомобилях жирные коммерсанты. Шли в школу мальчики и девочки, одни — лениво и неохотно, другие — весело и торопливо. Оза-

ренная потоками солнечных лучей, назойливо выпирала напыщенность смешанных архитектурных стилей и их хвастливая нелепость.

Муну особенно не приглядывался к людским толпам. Он уже начинал привыкать к этому городу, хотя глубокие пещеры темных комнат, черневшие за дверями и окнами в недрах домов, возбуждали его любопытство. Казалось, рои мужчин и женщин кишели здесь, этаж за этажом, какое-то вертикальное нагромождение людей, одни над другими. Выходя и входя в дома, они не здоровались друг с другом. «Чудно, — размышлял Муну, не понимая, причин их отчуждения, — южане чудной народ...»

Хари и его семья едва плелись, словно еще не вполне очнувшись.

Подгоняемый все вновь и вновь закипавшими в нем порывами нетерпения, Муну несколько раз порывался ускорить шаг. Но голова его кружилась, и мышцы быстро ослабевали.

Он взглянул на Хари, старик двигался машинально. Казалось, в его теле не осталось никакой силы: несмотря на все попытки идти быстрее, он только беспомощно семенял голыми ногами.

Жену его точно сковывал вес ребенка, юбка в тяжелых складках и природная женская хрупкость.

«Как бы мне хотелось взять у нее и девочку», — думал Муну, чувствуя, что его спину обдаёт поток кипящего зноя.

Солнце взошло за его спиной, оно поднималось все выше над городскими крышами, казалось, оно выжигает ему печень, высасывает из него всю энергию.

Когда пришлось спускаться под гору, Муну показалось, что жилы его раздуваются. Но он сделал усилие и рванулся вперед.

Утренние туманы поднимались. Склоны холмов были изрезаны глубокими оврагами, на невысоких вершинах кое-где стояли пальмы, солнечный свет лежал на их зелени бледными пятнами.

Широко раскинувшаяся даль придавала очарование этому пейзажу. При подъеме на плоскогорье слева открывался вид на поля орошения, где сушились тысячи кож, — их дублированием занималась колония кожевников, ютившихся в глиняных хибарках, справа тянулись ряды длинных серых корпусов, а у их подножья теснились сотни крытых соломой лачуг, щелястые стены которых были залатаны джутовыми лохмотьями, — и все это окутывал дым бесчисленных фабрик.

— Теперь уж недалеко, одна миля осталась, — сказал Хари, отдуваясь.

— Ваша южная миля, выходит, куда длиннее нашей северной, — заметил Муну.

— Мы будем жить в одном из этих больших домов или в хижине с соломенной крышей? — спросила жена Хари.

— Дай сначала работу получить, и то счастье будет, — раздраженно отозвался Хари, уставший от путешествия и побаивавшийся встречи с сахибом — старшим мастером.

Они шли теперь по пыльной дороге, усеянной щебнем, миновали жалкие хибарки и крытые соломой лачуги, тянувшиеся ярдах в ста от огромных мусорных куч и кончавшиеся недалеко от группы больших строений. Высокие четырехэтажные здания были приятны своей

простотой, в них не было архитектурных претензий городских домов. Но штукатурка отваливалась, и белые заплатки извести казались на темном фоне кирпичей болячками прокаженного. Наконец Муну увидел цель их путешествия.

— Вон фабрика Сирджабита, туда мы идем, — сказал Хари, указывая пальцем на одну из труб, торчавшую выше остальных; из нее вырывались пласты дыма и уходили в неизвестные дали Индии.

Муну посмотрел туда, куда показывал Хари, но его взгляд затерялся среди фабричных крыш, восходивших словно ряды пологих холмов к острым коническим трубам.

Тучи шумливых ворон с криком летали над узкими тропками, соединявшими между собою хижины, возле которых сидело несколько полубнаженных мужчин и женщин, видимо, молившихся после утренних омовений. Однако поблизости не было видно ни колодца, ни колонки, и Муну дивился, где же они брали воду. Он взгляделся попристальнее и увидел за пригорком мелкий пруд с гниющей зеленой водой, подернутой густой пленкой слизи. Над прудом летало еще больше ворон, они клевали болячки коров и телят, лежавших в воде или пасшихся на вонючих болотцах возле пруда. Муну был поражен, увидев, с какой ловкостью ныряют в эту воду снующие по берегу подростки. Он вспомнил те времена, когда сам купался в мелководной Биас, и почувствовал непреодолимое желание раздеться и тоже броситься в воду.

— А мы не искупаемся здесь? — с мольбой обратился Муну к Хари, подходя к самой во-

де и стараясь, в своем наивном энтузиазме, не замечать исходившей от нее ужасной вони.

— Нет, брат, сейчас некогда. Если мы получим хижину недалеко от пруда, мы будем хоть каждый день купаться в нем.

Но Муну отнесся к невозможности искупаться сейчас уже спокойнее, так как, пройдя несколько шагов, увидел огромную, состоявшую из битого стекла, кирпичей, бумаги и всяких отбросов, кучу мусора, край которой омывался водою пруда.

— Еще только миля, — утешал Хари своих спутников.

Последнюю милю пути, вернее — последние пятьсот шагов, они шли уже не по строившемуся шоссе, но кочковатой тропинкой, кончавшейся в тени высокой стены, усыпанной сверху битым стеклом, которое днем отражало лучи солнца, а ночью пресекало всякие поползновения воров перелезть через стену.

На пустыре, разделенном надвое рельсами узкоколейки, валялись ржавые куски рельсов, кучи угольного шлака и все виды отходов ткацкого производства. За этими кучами и в глубоких ямах и впадинах, полных грязи, куда ноги проваливались и увязали, укрывались люди. Присев на небольших расстояниях друг от друга, они облегчались. Более ровные места были покрыты лепешками навоза, издававшего нестерпимую вонь. Все существо Муну сжалось в комок, содрогаясь перед этой гнилью и распадом.

Над запертыми воротами висела надпись большими раскоряченными буквами:

СЭР ДЖОРДЖ УАЙТ, ТКАЦКАЯ ФАБРИКА.

— Стой! — крикнул рослый патан, стукнув о землю прикладом двустволки. Патронные ленты перекрещивались на его груди поверх расшитого золотом красного бархатного жилета, ветер шуршал его широкими шальварами, полускрытыми длинной туникой и спускавшимися до тяжелых туфель с загнутыми носками, и развевал концы его голубого шелкового тюрбана, обернутого вокруг вышитого «кула», благодаря которому лицо свирепого стража казалось чернее, чем лица северных индусов.

Лакшами убежала в таком страхе, что, будь она беременна, то непременно скинула бы ребенка.

Перед Муну стояло само воплощение власти — не ангези саркаров, так как на патане не было мундира, но власти и мощи фабрики, тем более, что за железными решетчатыми воротами, видимо, царил строжайший порядок и организованность — начиная с четких контуров фабричных зданий и кончая тенями, которые они отбрасывали.

Но Хари, видимо, хорошо изучил нрав этого «стража порога».

— Салям, Кхан сахиб, — сказал он, обращаясь к патану с большим почтением, чем того требовала обычная учтивость. — Я Хари кули, я проработал здесь четыре месяца и уезжал за семьей. Я хотел бы видеть Чимта¹ сахиба, старшего мастера.

— Ладно! — сказал Надир Кхан презрительно и обернулся к посыльному, мальчику-парсу, одетому в английское платье и сидевшему возле деревянной будки. — Лалжака, пойд и

¹ Ч и м т а — искаженное «Джимми».

скажи Чимта сахибу, что тут приехал старый кули и хочет опять получить работу.

Ребенок, спавший на плече Муну, проснулся, оцумлась и девочка на руках матери. Они соскользнули на землю и стали беззаботно копаться в дорожной пыли.

Муну сидел на придорожном камне, спиной к фабрике, и смотрел назад, на контуры навозных куч, на уголь, обломки рельсов и ямы, полные грязи, на весь этот пустырь, через который они только что прошли. Впечатления странных сцен и необычайных событий, пережитых и виденных им за последние дни, забытые, но опустившиеся на дно его души, казалось, снова всплывают на поверхность и населяют вокруг него пространство; он почувствовал себя подавленным и одиноким. Ему захотелось вскочить и бежать отсюда, бежать без оглядки в горы Кангры, или хотя бы на незатейливую улицу Шам-Нагара, или в беспорядочный, но знакомый мир Даулатпура. Однако, когда он взглянул на здания фабрики, в суровой прямолинейности их очертаний было что-то до того притягивающее, что он вдруг перестал себя чувствовать здесь чужим. В них словно таилась какая-то высшая неведомая жизнь, и огромные трубы показались ему теперь чудом архитектуры; он пытался представить себе машины, которые должны находиться под ними, озаренные жаром печей более мощных, чем даже печи в Даулатпуре, откуда он выгребал золу. «Вот такую штуку надо было Прабхе построить для отвода дыма, — размышлял Муну, — и не было бы тогда никаких историй с женой Рай бахадур сэра Тодар Мала, и хозяина не избили бы в участке

по приказу сына сэра Тодара». Однако высокая кирпичная труба показалась ему не идущей к Даулатпуру. «Старый город, — пробормотал он пренебрежительно. — Бомбей не такой тесный и старый, как Даулатпур... Это хороший город. Он такой, как рассказывали кули на Овощном рынке. Верно про эти фабрики говорили кули, будто тут платят большое жалованье!»

Мальчик воображал, что будет жить в одном из больших домов с несчетными окнами, мимо которых они проходили.

— Сахиб очень хороший, — сказал Хари после двадцатиминутного безмолвного ожидания, желая ободрить Муну.

А Муну размышлял об этом англичанине, с которым ему сейчас предстояло встретиться. Он представил себе мелкие черты мистера Инглэнда и блестящую лысину сахиба, приехавшего в переулок Кошкодавов. Он ждал с нетерпением.

Лакшами смотрела на мужа, словно собираясь сказать что-то, ибо и ее сердце взволнованно забилося от предстоящей встречи с одним из этих розоволицых людей, которых она видела всегда лишь издали сквозь свое покрывало. Но она подавила радостное любопытство и молчала. Опасаясь, что дети попросят есть, она постаралась отвлечь их внимание голышами и кусками камня, валявшимися на дороге.

— Не швырять камней! — заорал Надир Кхан, заслышав веселый и вольный ребячий смех и стукнув о землю прикладом. Дети подбежали к матери и спрятались в ее юбках. Хари накинулся на них.

Лакшами прижала их к себе.

Муну, глядя на них, сочувственно улыбался.

В эту минуту появился Джимми Томас. Механик из Ланкашира, он вот уже пятнадцать лет работал старшим мастером на одной из крупнейших ткацких фабрик Бомбея. Это был грузный человек с багровым бульдожьим лицом и короткими нафабранными усиками, его массивное тело было облечено в засаленную белую рубашку, засаленные белые брюки и засаленную белую шапочку для поло, кожаный хлястик которой свисал на жирный затылок.

— Салям, хузур, Чимта сахиб, — приветствовал его Хари, низко кланяясь и касаясь пальцами лба.

— А, Хари, — сказал Джимми Томас, — ты вернулся?

— Да, хузур, — продолжал Хари, складывая руки, — и я привез с собой жену и детей, пусть они тоже поработают, и вот еще молодого человека с севера.

— Ты бы еще приволок всю деревню, сын пса, — буркнул Джимми, усвоивший не только индусскую речь, но и индусские ругательства.

— Если вам нужны еще рабочие, я напишу кое-кому, хузур, — простодушно отозвался Хари, не подозревая насмешки.

— Ты туп, как вол, — рассердился Джимми. — Нет здесь никакой работы. Вот, может быть, только для этого молодца найдется, — пробормотал он, разглядывая Муну, — уж и так тесно...

— О, хузур! — взмолился Хари, униженно складывая руки. — Вы, сахиб, даете хлеб нам, беднякам. Вы нам отец и мать. Уж вы нас как-нибудь всуньте.

— Ладно, ладно, тридцать рупий в месяц на всех, — сказал Джимми Томас, воздевая голые руки, покрытые от плеча до кисти татуировкой в виде тигров, женщин и змей, — десять тебе, десять за мальчишку, пять за жену и по два с половиной за каждого сопляка.

— О! хузур! — занял Хари, касаясь рукой черных башмаков мастера и перенося прикосновение бычьей кожи на собственный лоб. — Будьте милосердны! ведь надо за комнату платить, и кормиться тут очень дорого.

— А что ты сделал для меня? Почему я должен со всем этим считаться? — сказал мастер, густо покраснев и омущенно крутя ус. — Ты разве привез из деревни какой-нибудь дар для моей жены? Так почему я должен быть милосердным к тебе? Ты ни разу даже корзинки плодов не поднес нам с женой на рождество! Согласны на такую плату — берите, нет — скатертью дорога. — И он сделал вид, что уходит.

— О, хузур... — закудахтал Хари и чуть не бегом бросился за сахибом. — Мы все сделаем! Только будьте милосердны! Я один получал здесь раньше пятнадцать рупий.

— Ты что же воображаешь, чортов болван, что можешь кататься взад и вперед, когда тебе заблагорассудится и получать все ту же плату? Главный сахиб приказал мне больше не принимать на работу тех кули, которые хоть раз бросали работу. Ему не нужны старики и инвалиды. Я тебе милость оказываю, чурбан!

— О, хузур, — снова сложил руки Хари, — пожалейте нас, хотя бы ради вот этих детей моих...

— Ну, еще бы, — сказал мастер, — вы

будете вместе валяться и плодиться, как кролики, а я должен жалеть тебя, когда ты являешься с твоим выводком, чурбан черномазый, дикарь!

— Хузур сахиб, — вдруг вмешался Муну, — а я слышал в Даулатпуре, что самая низкая плата на фабрике — тридцать рупий.

— Врешь, — крикнул Джимми Томас и обрушил бы все свое негодование на Муну, но Лалжака принес ему какую-то книгу, чтобы он расписался.

— Поищем работы еще где-нибудь, — шепнул Муну, потянув Хари за локоть.

Но Хари мало надеялся на другие фабрики, да он и знал, в чем тут дело.

— Говори, будешь работать или нет? — решительно спросил Джимми. — Места ты больше нигде не найдешь. В Бомбее сотни кули не могут найти работы. Я беру тебя, потому что ты уже опытный, а этот парень, должно быть, смышленный.

— О, хузур, — сказал Хари, — мы хотим работать у вас, но рис так дорог здесь...

— Ладно, даю на вас обоих по пятнадцать рупий в месяц, уж пожалею тебя. Хотя ты ничего для меня и не сделал... Но я жалею твою семью... — И затем, с довольной улыбкой, перешел к делу: — У тебя, вероятно, денег нет? Так и быть, дам тебе авансом десять рупий, процент — четыре анны с рупии; эту сумму я прибавлю к ежемесячным комиссионным, которые ты мне будешь платить. Идет?

И он ушел за деньгами.

— Я-то даю деньги по меньшим процентам, — пробурчал Надир Кхан. — Две анны с рупии.

— Да ведь мы уже сговорились с сахи-

бом, — сказал Хари, и его сердце затрепетало от страха, что теперь на него будет в претензии Надир Кхан.

Муну воспользовался отсутствием сахиба и исчезновением Надир Кхана, который скрылся в сторожевую будку, и снова зашептал Хари на ухо, что нелепо платить мастеру комиссионные, раз тот уже берет такие чудовищные проценты.

— Все это ни к чему, — отвечал Хари, уныло пожимая плечами. — Везде то же самое. Мы платим комиссионные мастеру, чтобы застраховать себя, иначе он выбросит нас на улицу в любую минуту. Ведь он главное лицо на фабрике.

«Странно, — думал Муну, — видно, сахиб и вправду важное лицо, а ходит грязный». Он не подозревал, что этот сахиб в просаленной одежде является фактическим хозяином фабрики, так много функций совмещает он. Мальчик не знал, что он агент владельца по найму рабочих и от него зависит прочность их места, если они уже получили его; что он — старший механик, и должен, вместе с другими механиками, следить за исправностью машин; что на нем лежит обязанность технического обучения рабочих; что он является посредником между хозяином и рабочими (через него хозяин извещает рабочих о всяких изменениях на фабрике) и что, ввиду всего этого, он берет с каждого рабочего комиссионные за предоставленную ему работу, причем размеры суммы повышаются в зависимости от свободных рабочих рук; кроме того — дает деньги в рост по чудовищным процентам и является владельцем сотен крытых соломой лачуг вблизи фабрики,

которые сдает тем же кули на весьма выгодных для себя условиях.

В роли домовладельца он и выступил, когда вновь появился с деньгами.

— Есть у меня домик, — сказал он, — в начале переулка Сахибов, стоит пять рупий в месяц, сейчас он свободен. Пойди и займи его, а то пушу другого. Я его сдам тебе за три рупии.

— Хузур, вы милостивы, вы мне отец и мать, — отвечал Хари, снова касаясь ладонью лба.

— Ладно, ладно, иди и будьте все завтра утром на месте с первым гудком, — сказал Джимми Томас, снова покручивая ус с улыбкой благоволения на мясистом лице.

Хари и его спутники вернулись той же дорогой, по которой и пришли. — Вот это и есть переулок Сахибов, — сказал Хари, когда они спустились в овраг, по сторонам которого гнили груды отбросов и шумели сточные воды.

— Не эту ли хижину нам сдал сахиб? Ведь он говорил, что она в начале улицы? — И Хари указал на одну из хижин, высотой около шести футов и длиной около пяти, в ряду других лачуг, толпившихся неподалеку от длинных серых зданий. Видимо, старик, проживший в этом фабричном поселке целый год, знал здесь каждую пядь земли.

Он подошел к хижине, о которой говорил, и откинул занавеску из холстины, закрывавшую низкий вход, наклонился и вошел с семьей и Муну в тесную комнатку, казавшуюся пещерой.

Соломенные циновки крыши по обе стороны потрескавшихся подпорок, поддерживавших ее посередине, нависали так низко, что Муну и жена Хари не могли стоять выпрямившись, и только Хари, с его сутулостью, не рисковал ушибить себе голову. Земляной пол был ниже уровня улицы и зарос травой, которую питала затекавшая в комнату дождевая вода. В хижине не было ни окна, ни трубы, чтобы впускать свет и воздух и отводить дым; но разве не висела на ее двери настоящая крепкая холщевая занавеска, тогда как у большинства соседних хижин вход был завешен рваными джутовыми мешками и старыми циновками или заставлен погнутыми жестяными листами и поломанными бамбуковыми ставнями?

— Давайте устраиваться и отдыхать, — сказал Хари. — Покорми-ка нас всех, Лакшамми, у тебя ведь осталось кое-что после дороги.

Когда Муну, согнувшись, вошел в эту сумрачную яму и вдохнул ее сырость и затхлую вонь, он понял, что его мечты — жить в большом доме, в одной из верхних комнат с таким чудесным видом — рухнули.

Лицо его вдруг покрылось испариной, мучительно закружилась голова. В глазах потемнело. Он задышался в этом липком, вонючем и затхлом воздухе. Растерянно улынувшись, он лег на землю, чтобы не потерять сознания.

Лакшамми, вынимавшая из чемодана засохший сладкий хлеб, бросилась к нему.

Когда мальчик пришел в себя и почувствовал, что отдохнул от долгого путешествия и от новых впечатлений, он вышел с Хари пройтись по базару и сделать кое-какие закупки.

До базара было около полумили по шоссе, которое сворачивало в сторону от фабрики сэра Джорджа Уайта; впрочем, одна слава, что базар: несколько покосившихся палаток и лавок, где были выставлены крашеные цыновки, стеклянные бусы, поддельный жемчуг, жестяные игрушки, матерчатые туфли, бритвы, ножи, пульверизаторы и тот заманчивый фабричный хлам, с помощью которого Европа покорила сердце Азии. Однако здесь было и несколько настоящих магазинов: винный магазин, который содержал жирный парс; лавка торговца бири и бетелем — большая ее половина была занята огромным зеркалом; мрачная закусовая с засаленным хозяином-магометанином; магазин готового платья, где сидел портной и шил на швейной машинке, и, наконец, бакалея, с золотобородым хозяином-сикхом в чистом тюрбане, узких брюках и куртке со стоячим воротом. Он сидел у прилавка, помахивая безменом, которым, с помощью каменных и железных гирь, отвешивал чечевицу, рис, муку и сахар, наполнявшие корзины на узких полках, которые поднимались ярусами до потолка.

— Салям, сардарджи! — приветствовал его Хари и смиренно заморгал.

Муну стеснялся и предпочел, в ожидании Хари, усесться перед лавкой на кирпич. Против входа, прямо на земле, расположились полукругом несколько кули в блузах, набедренных повязках и тюрбанах. Какой-то человек в белом тюрбане и белой одежде, туго стянутой красным кушаком, расстилал перед владельцем лавки большой белый платок.

— Ека, ека! Дуа, дуа — скандировал нарраспев хозяин, отвешивая покупателю рис,

словно не слыша почтительного приветствия Хари.

— Когда вернулся, Хари? — спросил один из кули, стоявший возле деревянного столба у входа в бакалею, держа подмышками по цыпленку.

— Вчера, — отвечал Хари, складывая руки в знак приветствия.

— Жена и дети как? Здоровы?

— Здоровы, я привез их сюда.

— Ека, дуа, ека... Нечего тут горланить! — прикрикнул на них хозяин. — Мой магазин — не место, чтобы языки чесать! Отойдите-ка, отойдите! Не застите мне свет и воздух! Расселись тут, и ваши грязные тени пачкают мой товар.

Кули умолкли, переглянулись с робкой покорной улыбкой и уныло повесили головы. Сумерки быстро тустели.

— Что еще угодно Чимта сахибу? — спросил хозяин, после того как он уже много раз доставал то одно, то другое с полки и кружкою отмеривал в платок, развернутый посыльным старшего мастера, а тот завязывал покупки в углы платка и перетягивал их джутовыми бечевками.

— Два белых хлеба, — сказал посыльный, — дюжину яиц и пару цыплят.

— Вот два хлеба, — сказал сикх. — А вот... раз, два, три... дюжина яиц. Ну, а насчет птицы... — Он вдруг обернулся к кули, продававшему цыплят. — Эй, ты, сын совы, Шамбу, сколько ты просишь за них?

Шамбу так заспешил, что даже споткнулся.

— Пощупай, сардарджи, пощупай-ка, — сказал он, протягивая по очереди то одного, то

другого хлопавшего крыльями и кудахтавшего петушка?.

— Гм, — промычал сардар, презрительно ощупывая птицу, и одновременно подмигнул посыльному: — Это старый петух, а тот слишком легкий, как перо. Не мясистые они, одни кости. Сколько ты хочешь за них?

— Сардар сахиб, вы хозяин, вы мне отец и мать, — сказал кули. — Прошу вас, назначьте за них справедливую цену. Это вкусные молодые петушки, мы сами голодали, а их откармливали хлебными крошками.

— Ну, вот и все, Бардр Дин, — сказал хозяин, вручая посыльному петушков и делая ему знак, чтобы тот ничего не говорил о цене при кули, продававшем их. — Я все запишу за сахибом. А вот, — продолжал он, извлекая из кувшина горсть разноцветных английских леденцов, — подарок для мэмсахиб. Заходите как-нибудь вечером, и мы все подсчитаем.

Посыльный сунул петушков под левую руку, забрал конфеты в карман и удалился с развязностью, свойственной слугам белых людей.

— Охе Шамбу! Хочешь получить за своих петухов деньгами или рисом? — спросил хозяин.

— Часть деньгами, а часть продуктами, сардарджи, — смиренно ответил Шамбу.

— Вот тебе четыре анны, и я свешаю тебе еще сир рису, — и сардар взялся было за бремен.

— Сардарджи! — взмолился Шамбу, сложив руки и становясь на колени, — ведь каждый из петушков стоит рупию. Жена их уж так кормила... и если бы мы им дали вырасти,

мы бы потом целую неделю ели их. Я ни за что не хотел продавать, но у нас нет денег. Сардарджи, расплатитесь со мной по совести!

— А ты что же, считаешь, что я надуваю тебя, свинья? — побагровев, заорал бакалейщик. — Если хочешь знать — так я с сахиба ничего за петухов не получу! Это взятка, чтобы он не запретил мне торговать здесь. Я их взял себе в убыток!

— И вы и сахиб — оба мои хозяева. — сказал Шамбу. — Вы оба богатые и можете делать друг другу подарки. Я как-нибудь обязательно поднесу вам в дар птицу. Но эти петушки, сардарджи, это все, что у меня есть. Я кругом в долгу. Весь мой заработок пошел на уплату долгов да на штрафы за брак. Жене и детям есть нечего. Одного сира рису и на день нехватит. А что купишь в Бомбее на четыре анны? Прошу, молю вас, будьте великодушны, дайте мне справедливую цену!

— Ты опять говоришь так, будто я даю тебе несправедливую цену? — закричал сикх, притворяясь разгневанным и возмущенным. — Несправедлив я, видите ли! Ты обвиняешь меня в несправедливости! Меня, который чтит великого Гуру! Ты мараешь мою репутацию! Бери свои две анны и рис. Пошел прочь отсюда и нечего тут шуметь. Меня ждут другие покупатели!

— О, сэр, — возобновил свои мольбы Шамбу, придавая исхудавшему лицу и ввалившимся глазам выражение всей той покорности, бессилия и униженности, на какие он был способен: — Прошу, будьте великодушны, пожалейте меня и моих детей. Заплатите мне за петухов по справедливости!

— Будет ныть, грязный пес, — вышел из себя лавочник, — пошел вон отсюда, — и вдруг, приподнявшись, он ударил Шамбу несколько раз длинным деревянным совком.

Шамбу отпрянул, но только тогда, когда удар пришелся ему по губам. Он заплакал судорожно и смешно, как ребенок.

Во время спора Муну сидел равнодушно на том же месте. Но все тело его затрепетало, когда хозяин стал бить Шамбу. А когда кули упал и заплакал, мальчик вдруг опять словно окаменел.

— Пойдем, пойдем, будь мужчиной, — уговаривали кули товарища, не смея обнаружить своего сострадания, ибо все зависели от милости бакалейщика и не хотели ссориться с ним.

— Вот еще одна анна и рис этой свиньи! — сказал сикх. — Возьмите и уберите его с глаз моих долой, во имя Гуру.

Кули помогли Шамбу подняться. Он отер кровь, бежавшую из разбитой губы, подобрал деньги, сложил руки и заныл, обращаясь к бакалейщику:

— Прости меня, сардарджи, прости!

Затем исчез в темноте.

— А вам чего? — спросил торговец остальных кули.

— Ничего, сардарджи, — отвечал один за всех. — Мы ждем, не понадобится ли вам перенести какой-нибудь груз.

— Нет, сегодня ничего не нужно переносить, — ответил тот раздраженно. Затем обратился к Муну: — А тебе, тебе, охе, что нужно?

— Он со мной пришел, — пояснил Хари, — это новый рабочий с нашей фабрики. Он хотел бы тоже открыть у вас счет. Может быть, вы

узнаете меня, вашего покорного Хари? Я здесь работал в прошлом году.

— Я теперь повысил процент на деньги, которые даю взаймы, Хари, — сказал сардар.

— Я не занимать пришел, сардарджи, — сказал Хари, — но если вы отпустите мне в кредит на две рупии рису и на рупию гороху, я буду очень благодарен. Остальное я куплю на наличные.

— За товары, отпущенные в кредит, я беру теперь по анне с рупии, — заявил сардар.

— Если такова ваша воля, хозяин, я подчинюсь, — сказал Хари.

— Тогда расстилай платок! И скажи, чего ты хочешь, кроме гороха и рису! — отозвался хозяин, словно оказывая покупателю милость.

— А какая цена на муку, сардарджи?

— Мука стоит рупию за сир, рис — восемь анн, топленое масло — пять рупий, лучшее горчичное мало для стряпни одна рупия за сир, горох — восемь анн, английский сахар — восемь анн. — Сикх называл цены одну за другой, торопливо, раздраженно, пренебрежительно. — А теперь живо — у меня другие дела есть.

Хари попросил отпустить ему десять сир муки, пятнадцать рису, пять — гороху, один сир горчичного масла, один — индийского сахара.

Он не считал, какую сумму ему придется за все это уплатить в конце месяца, так как совсем не умел считать.

Муну же было все равно, сколько истрачено денег; мысль о том, что он будет зарабатывать ежемесячно пятнадцать рупий, наполняла его восторгом.

Фабричный гудок прорезал холодный утренний воздух.

Лакшами уже встала и, почти раздетая, вошла в хижину, собираясь покормить семью холодным рисом и горохом. Несмотря на двух детей, ее лицо все еще казалось цветущим, как у молодой девушки, а жизнь в деревне придавала этой молодости особенно яркие краски. И оттого ли, что она еще мало извела страданий, или врожденная энергия поддерживала в ней постоянную бодрость, но порой даже искорками веселья вспыхивали ее бархатистые черные глаза, особенно красивые в сочетании с горячими тонами бронзовых щек, оттененных поблескивавшей в полутьме золотой точкой колечка в ее тупом носике, а на слегка раскрытых губах и вокруг наивного подбородка с ямочками играла смелая и простодушная улыбка.

Услышав пронзительную стальную песню фабрики, она насторожилась, как олень, услышавший рев льва в джунглях. Ее охватил озноб от предчувствия чего-то страшного, и, вместе с тем, она чуть не рассмеялась от странной, почти физической щекотки, вызванной этими звуками. Она поспешила поделиться своим волнением с мужем, как дитя, которое, испугавшись, бежит к родителям. Лакшами ухватила его за большой палец правой ноги и, со всем почтением, которое можно было вложить в столь грубый прием, стала трясти.

— Хэм... Хэм, хо! — пролаял Хари и вскочил, сразу открыв глаза.

— Пора на работу, — ласково сказала Лакшами, — только что прогудел гудок. — И она принялась будить детей, протирая им слипшиеся глаза мокрым концом своего сари.

— Проснись, брат, — сказал Хари и стал трясти Муну за плечо.

Мальчик медленно открыл глаза, зевнул, потянулся, расправил упругие мышцы, сел и с изумлением уставился на лицо Лакшми без покрывала. Ему случалось видеть по утрам на берегах реки Биас молодых девушек ее возраста, таких же стройных и подвижных, с такой же бледнобронзовой кожей. И все его существо было согрето тем радостным чувством, которое вызывается созерцанием прекрасного человеческого лица.

— Можно мне получить воды, чтобы умыться? — спросил он, обращаясь не прямо к Лакшми, но так, чтобы она слышала.

Она посмотрела на него, улыбнулась, отвела взгляд и, наполнив небольшой кувшин, поставила его в дальнем углу возле каменного стока для воды.

— Есть некогда, если мы хотим совершить омовение из пруда по дороге на фабрику. — сказал Хари, видя, что она наклывает всем рис. — С завтрашнего дня мы будем вставать до первого гудка.

Несмотря на запрет мужа, она уговаривала детей поесть. Но они не выспались, капризничали и есть не захотели.

— Пойдем, пойдем. — торопил Хари; едва вскочив с простыни, на которой спал, он уже был готов бежать на фабрику. Он первый вышел из дому.

Муну умылся и вытер освеженное лицо полкой рубахи, но во рту оставался противный вкус — он уже много дней не чистил зубы.

Лакшми спокойно собрала детей, всякую

мелочь и появилась в дверях только после властного окрика мужа:

— Выходи сейчас же, сука! Опоздаем! Все уже пошли!

Они закончили свой туалет, совершив омогение сначала скрытых частей тела, а затем лица, для чего воспользовались водой из пруда, черпая ее пригоршнями из-под слизистой пленки, покрывавшей его поверхность.

Третий и последний гудок застал их в нескольких ярдах от фабрики, к которой они шли неуверенным шагом с толпой других кули, скользя в грязи немощеных тропинок, извивавшихся по росистым полям. Рабочие молчали, на их лбах застыли морщины страха, головы клонились к земле от тяжелых дум. Время от времени тинину нарушало лишь хриплое ругательство какого-нибудь кули, неосторожно попавшего босой ногой в лужу, или старик благочестиво приветствовал другого бормотаньем «Рам. Рам», или молодой пареня торопил замешкавшегося товарища. Толпа двигалась медленно, очень медленно.

Когда подошли к самой фабрике, Муну увидел, что стрелка фабричных часов показывает шесть. Следуя за Хари, он миновал будку Надир Кхана, затем грязный двор, засыпанный мусором и загроможенный тюками хлопка и грузовиками.

Фабрика состояла из нескольких корпусов, в которых, казалось, не может разместиться и половина этой толпы.

Но остальные кули словно не замечали, как тесно на фабрике — оттого ли, что привыкли к ней, или, после своих хибарок, все же предпочитали относительную роскошь фабричных

зданий, казавшихся им чуть не дворцами. Гораздо больше понравилось Муну бунгало — впоследствии он узнал, что оно принадлежит Чимта сахибу, старшему мастеру — оно стояло особняком, за главной конторой, окруженное садом, где пышно разрослись златоцветы, мальвы и настурции.

У дверей барака, через который надо было проходить на территорию фабрики, стоял Джимми Томас. Поравнявшись с ним, рабочие вскидывали на него глаза, руки сразу поднимались в «саляме», поднимались вдруг и ноги, и рабочие бегом бросались в помещение фабрики, словно цыплята, испугавшиеся тени. Но так как вход на фабрику был слишком узок, то это давало Чимта сахибу первый повод показать этим черномазым методы организованного поведения на производстве.

— Эй, сын борова! Куда прешь? Почему ты не пришел во-время? А теперь бежишь! Опоздать боишься! Друг за другом, гуськом! — командовал сахиб на том особом индустани, на котором в Индии говорят только англичане.

— Салям, сахиб, — обратился к нему Хари, благоразумно дав пройти всем остальным.

— Новые кули, — сказал сахиб, вытирая пот грязным платком, — идите сюда, я покажу вам, где вы будете работать.

Барак, через который проходили рабочие, был в десяти ярдах от маленькой дверцы, ведущей на фабрику. Чимта сахиб стоял у входа в барак.

— Женщина, дети, сюда! Вы здесь будете работать. Спросите старшую, она покажет вам, что надо делать.

Лакшми не понимала того исковерканного языка, на котором он говорил. Она стояла молча, все ее лицо было скрыто покрывалом.

— Живей, живей!.. — и он топнул ногой, весь багровый не то от злости, не то от духоты.

Смертельно испуганный и дрожащий Хари подбежал к жене и втолкнул ее в барак так стремительно, что дети остались позади.

— Иди, иди, женщина, тут никаких змей нет, — сказала старшая, встречая ее.

Муну видел, что теперь черед его и Хари. Поэтому он осторожно прошел через барак и стал подниматься по крутой железной лестнице в цеха, твердо решив, что не споткнется. И, конечно, споткнулся.

— Ну, поторапливайся! — заревел мастер, ловко обгоняя его, несмотря на толщину. — Что мне, целый день тебя дожидаться?

Мальчик заспешил, но ему было страшно: один неверный шаг, и он убьется насмерть или расшибет голову об железные ступени.

Слева тянулась стена, затем он увидел комнаты, словно коробки, с глыбами машин посередине; видимо, туда можно было проникать только через прядильную. Мальчику становилось все больше не по себе, и он несколько раз чуть не упал. Хари исчез. Муну решил, что старик знает здесь все входы и выходы и давно на месте.

— Живей, свинья! — заревел мастер, покрывая голосом гул машин, и, схватив мальчика за шиворот, втолкнул его в одну из комнаток и толкнул к пустому деревянному табурету между Хари и человеком лет около тридцати с приятным лицом и изуродованны-

ми, как у борца, ушами. — Эти кули покажут тебе, что надо делать, — сказал мастер и к великой радости Муну повернулся и пошел.

Муну посмотрел вокруг. Черные, лишенные выражения, лица казались непроницаемыми. Первое впечатление от этого мира машин глубоко потрясло мальчика. Размашистые движения валов и рычагов своим гудением и скрежетом оглушали, сбивали с толку, и только в деревянных столбах, поднимавшихся вокруг чудовищного стального сооружения к железным листам низкого потолка, чудилось что-то устойчивое, спокойное. Через несколько минут, однако, мальчику стало казаться, что он заперт в клетке. Растерянно смотрел он по сторонам, чтобы отделаться от этого впечатления. Но стены, ворсистые от покрывавших их, словно кристаллы, волокон хлопка, не представляли ничего утешительного, радовали только лучи света, сочившиеся в слишком маленькие вентиляторы под потолком. Воздух становился удушающим. Он был пропитан непривычным для Муну запахом хлопка и машинного масла. Пот покрыл лицо мальчика, рубашка на спине прилипла. Ему казалось — он всем чужой и одинокий. Ему казалось — он сейчас сойдет с ума.

— Стой здесь, парень, — сказал Хари, сидевший слева, — и верти ручку правой рукой, вот, как я. А как только у тебя порвется нитка, свяжи...

«Ну, это легко», — решил Муну. Он принялся за работу.

— побыстрее, брат, — сказал Хари.

Теперь Муну вертел ручку слишком скоро. Нитка лопнула, и он не знал, как связать ее.

Человек, сидевший с другой стороны, окликнул его:

— Смотри! Связывать вот так надо! — и он порвал нитку и стал связывать ее.

Муну повторил его движения, оказалось — правильно. Сознание того, что он научился этой работе, подбодрило его. Теперь он мог вертеть ручку с той быстротой, которой требовала машина.

Никогда еще не было у него такой работы. Она требовала напряженного внимания и осторожности. Приходилось буквально не спускать глаз с нитки. Воздух становился все удушливее; тяжелое дыхание машины, чмоканье поршней, стрекотанье винтов, бешеный бег широких приводных ремней, бряцание цепей, зной, исходящий от всех частей машины, жирный запах масла и волокна, не противный, но вызывавший во рту горечь — все это, казалось, превращалось в какой-то черный призрак, сжимавший горло Муну незримиыми пальцами. Мальчик вспомнил, что у него возникало похожее ощущение в темных закутах ткачей его родной деревни, в подвалах маслоделов, где вол, незрячий благодаря кожаным наглазникам, ходил все кругом и кругом, привязанный к колесу. Это напоминало также огромную мукомольную мельницу в Даулатпуре, где Муну таскал мешки с зерном для привередливых старух, которые желали иметь муку всегда свежего помола.

Однако, чем ближе к полдню, тем больше эта преисподняя теряла свое сходство с чем-либо виденным им до сих пор. Июньское солнце давало себя знать, проникая не только через крошечное отверстие вентилятора в вос-

точной стене, впускаявшее прямоугольный поток света, отчего хлопковая пыль над машиной переливалась всеми цветами радуги, но и сквозь щиты железа на крыше. Около полудня пот уже стекал ручьями по лицу Муну и по всему телу. Во время работы он не мог вытирать его, поэтому старался привыкнуть, уверяя себя, что с испариной из тела уходят яд и потеть очень полезно. Но пот был липкий и горячий. Кроме того, он щипал глаза. Мальчик посмотрел вокруг, чтобы узнать, как с этим справляются другие. Кули давно снимали с себя рубашки, и их нагие тела были исчерчены дорожками маслянистой влаги.

Он решил тоже снять рубашку. Но не знал, как это сделать, пока заняты руки.

Прогудел гудок, и ручки машин перестали вертеться, хотя стальные колеса по бокам главной машины еще продолжали завывать до хрипоты. Все кули поднялись, отирая руками пот.

Муну тоже встал и пошел к двери, чтобы глотнуть воздуха. На ходу он стал через голову снимать рубашку.

Грязная, смятая домотканая рубаха задралась до подбородка и застряла, так как он забыл спереди расстегнуть пуговицы. А он все продолжал тянуть, стараясь сдернуть ее. Она, наконец, соскользнула с левой руки, освободив его голову, но с правой так и не снималась. Вдруг горячая струя ветра от приводных ремней раздула подол рубашки, подхватила ее, втянула в колесо, вращавшееся со скоростью двадцати миль в час, и рубашку мгновенно искромсало в клочья. Муну рванулся было вслед за рубашкой, желая спасти ее.

Кули с изуродованными ушами остановил его, вытянув мускулистую руку и рывкнув:

— Снятил, болван, убьет ведь!

Хари в страхе подбежал и оттащил его. Муну казалось, что многоголовый, многорукий машинный бог, похитив у него рубашку, радуется своей проделке.

Когда мальчик вышел во двор, он несколько примирился со своей потерей: большинство рабочих были до пояса обнажены; их лица были изборождены узором глубоких морщин, брови судорожно нахмурены, впалые щеки чернели ямами, скулы торчали, а коротко остриженные волосы, брови, веки и ресницы были покрыты слоем пуха.

Кули, работавшим на фабрике, негде было вымыться, за корпусами имелась только одна колонка, и вокруг нее, среди огромных бидонов с нефтью и тюков с хлопком, толпились сотни людей, жаждавших выпить глоток воды.

Им негде было и поесть — ни закуской, ни буфета, ни даже лотка со сладостями. Только за стенами фабрики сидел человек с корзиной и продавал простой поджаренный хлеб и дешевые сласти.

Но запасливые хозяйки прихватили с собой перекусить, и большинство кули, сидя в тени пальм, катали в руках большие шары риса и глотали их торопливо, жадно. «Так, — думал Муну, — никогда не едят жители севера».

— Что случилось с моей женой? — спросил Хари, видя, как другие семьи спокойно принялись за еду. И он бросился в барак.

Муну улегся в скудной тени какой-то изго-

роди, с тревогой ожидая Хари. Прогудел гудок, и он вернулся на фабрику мимо колонки, из которой с шипением бежала холодная струя навстречу зною.

Когда Муну вернулся в цех, послеполуденная жара, словно электрический разряд, ударила ему в виски. Нестерпимо жгло уши, веки. Мозг словно превратился в плотный, тупой ком. Все тело ныло. Его мучил голод. Его мучил суеверный страх.

Чимта сахиб привел на место Хари другого кули.

Наконец прибежал Хари и, задыхаясь, рассказал, что его мальчик повредил себе руку, неловко коснувшись в прядильной приводного ремня.

Но Муну словно окаменел. Он не мог почувствовать. Он посмотрел на Хари в упор и промолчал.

— Вы показали его врачу? — спросил рабочий с обезображенными ушами.

— Нет, брат, нет еще, — ответил Хари дрожа. — На фабрике нет врача, Чимта сахиб отпустил меня, чтобы я отвез мальчика в город, в больницу. Но теперь я наверняка потеряю работу. Сахиб сердит, что я с самого же начала работаю неполный рабочий день. — Затем, охваченный отчаянием от невозможности выполнить все свои многообразные обязанности, он собрался уходить. Вдруг, словно вспомнив что-то, он обернулся и сказал, обращаясь к Муну: — Брат, когда пойдешь домой, возьми с собой мать моего ребенка. Ей одной не найти дороги.

Хари вышел и сердце Муну потянулось за ним. Он чувствовал, что сам должен на спи-

не отнести мальчика в больницу, ведь старик устанет, ковыляя по пыльному недомощенному шоссе, которое ведет от города к фабрике... Вот Хари бредет мимо рельсов, сваленных в кучу досок и ржавых стальных ферм, брошенных среди груд развороченной земли. Вот поравнялся с прудом, где буйволы и коровы лежат по шею в вонючей зеленой воде; вот вошел в хижину с холщевой занавеской на двери и снова вышел и затерялся в грязных и убогих городских предместьях. Что, если мальчик умрет по пути, на плече у Хари? Муну чувствовал, что, случись это, он будет не в силах жить дальше с Хари и его женой, так как они могут связать постигшее их горе с его присутствием. Они не знают, что он сирота, и это хорошо, не то они решили бы, наверное, что это он принес им несчастье. «Неужели я, в самом деле, приношу людям несчастье? — раздумывал он. — Мой отец умер после моего рождения, затем умерла и мать, я принес несчастье Прабхе, а теперь, видно, и Хари. Но если я такой, то почему я не умираю? Моя смерть освободила бы мир от злополучного человека. Мне бы хотелось умереть. Умереть лучше, чем жить. Да, лучше умереть. Этот город не принес мне удачи. Работать здесь жарко, и глиняная хибарка моей тетки в горах все-таки лучше здешней сырой хижины».

Теперь, когда ушел Хари, он был совсем один среди рабочих. Бесконечный оглушающий рев машин мучительно раздражал слух. Мальчик чувствовал себя разбитым, голод глодал его внутренности, точно крыса, большая скользкая крыса, от одного вида которой мутит. Демоны в нем и вне его, казалось, осаждают

мозг, разбивая его мысли, как разбиваются волны, борясь и растекаясь пеной. Крошечный челн его души носился туда и сюда у этой озаренной солнцем пенной каймы, словно малая песчинка, которая тщетно пытается переплыть реку, прежде чем ее закружит надвигающаяся гроза.

Веселые базары с пестрой толпой знатных сахибов, богатых купцов и оборванцев, громадные, удивительные дома в городе и большие дома в рабочем поселке, даже фабрика, в которой он был заточен, отбрасывали на него отблеск еще неведомого будущего; и иллюзия этого неведомого будущего обретала особенную притягательную силу благодаря звону денег, обещанных ему Чимта сахибом — столько он никогда еще не зарабатывал, — благодаря надежде приобрести все эти вещи, черные сапоги, часы с цепочкой, шапочку для полу, трусы, — словом все атрибуты пресловутого «сахибства». Но то были тайные желания, тайные надежды, опасно засматриваться на них раньше времени.

«Да, да!» — повторил он, стараясь укрепить в себе эти мысли. И снова в нем просыпалось желание жить, радость жизни, о которой говорили его душе четкие иероглифы его многообразных желаний: «Я хочу жить, я хочу знать, я хочу работать, работать на этой машине, — говорил он себе, — я вырасту и буду настоящим мужчиной, сильным, как этот борец...» Он взглянул на борца, и, словно тому передались его мысли, кули с обезображенными ушами оказал:

— Меня зовут Ратан. Я из Пенджаба, а ты, верно, горец?

— Горец. Я уже работал на равнине в Шам-Нагаре и в Даулатпуре.

— Земляки, значит. Как тебя зовут?

— Муну, — отозвался мальчик и не мог не залюбоваться честным, открытым лицом своего соседа. Он почувствовал, что уже не один. Но раздался гудок, разгоряченные машины, дымя, пыхтя и хрипя, остановились. Кули ринулись прочь из цехов, словно тигры, почуявшие мясо.

На пути к выходу Муну зашел в прядильню.

Она была полна женщин и детей. Матери привязали детей на спину или к коленям, многие малыши ползали по липкому полу, крича или всхлипывая, другие играли под когтями машины, сортирующей хлопок.

Удивительно, думал Муну, что все ребята не поломали себе тут руки и ноги, не разбили головы, не растерзаны в клочья этой машинной, смертоносные части которой торчат во все стороны, ничем не огражденные.

Когда Муну отыскал Лакшами, она плакала.

Часы над головой Надир Кхана показывали, что прошло одиннадцать часов с тех пор, как все они вошли сюда.

Солнце уже опустилось за горизонт, и густые сумерки повисли над землей, словно грязные холсты над молочно-белой дорогой. Бомбей был окутан странной сыростью, и плотные, серые, тяжелоногие облака тащились над ним к отдаленнейшим равнинам Индии.

В субботу во вторую половину дня были свободны даже кули.

Хари снова понес сына в город на перевяз-

ку. Лакшами хотелось посмотреть магазины, а Муну жаждал увидеть чудеса цивилизации.

И вот они очутились в толпе других кули, тоже спешивших в город, — кто выпить пальмового вина, кто пройтись по Большому проспекту. Над пыльной землей стоял угрюмый зной, смугло-черная, она в тоске распростерлась под ним, гигантские облака завалили небо и медленно ползли с юга на север.

Муну то и дело смотрел на небо, пораженный происходившими там необычными явлениями. Затем снова опускал глаза, задыхаясь, ища в знойном тумане хоть одной свежей струйки, и благодарил судьбу за то, что в этот бездыханный день на нем нет липкой рубашки.

На углу возле больницы его вдруг пронизал порыв ледящего ветра. Казалось, кто-то внезапно всадил кинжал в самое сердце зноя.

Им пришлось ожидать в приемной. Но Хари давно научился терпению, Лакшами же совершенно стусевалась. Девочка была оживлена, мальчик, сидя на коленях у отца, смотрел вокруг широко раскрытыми глазами. Один Муну чувствовал тяжелую атмосферу приемной, насыщенную запахом неведомых лекарств и очарованием надменных розоволицых сиделок, которые работали с четкостью электрических моторов и разговаривали, как соловьи.

Муну, наконец, вышел из душного угла в последнем ряду скамеек и пересел в первый. Хари с семьей устроились на полу. Над первым рядом висело электрическое опахало, и мальчик надеялся, что там воздух менее сперт.

Большой купец в муслине быстро отодвинулся и придавил сидевших рядом с ним пациентов.

Сиделка, не спеша регистрировавшая за ма-
леньким столиком больных, подошла к Муну
и, нахмурившись, прошипела:

— Вон!..

Муну вспыхнул и встал, растерянный. Ему
было стыдно смотреть на Хари и других ку-
ли, сидевших на полу, хотя тем было все
равно, оскорбляют его или нет. Он вышел из
приемной в коридор. Услышав певучее кло-
котанье, он догадался, что это невдалеке шу-
мит море. Он добежал до конца улицы и там,
за покатою набережной, увидел кипящие и ре-
вущие волны; они мчались как разъяренные
вспененные белые кони. Сила, с какой они
разбивали колени о набережную и падали, из-
раженные и расшибленные, захватила его, и он
стоял неподвижно.

Затем, где-то вдали, рухнула глыба грома,
вдруг рванув середину неба, и по тучам зачер-
тили изломы молний.

Казалось, земля сотрясается и стихии вторят
ей с томительным волнением. Муну, охвачен-
ный холодной дрожью, побежал обратно в
больницу.

Дочь Хари радостно приветствовала его в
дверях, указывая на одинокую чайку, боров-
шуюся с ветром, который был слишком силен
для нее.

Но Муну встревожился: небеса потемнели и
с них свергались друг за другом вспыхиваю-
щие огненные завесы, за которыми следовали
с грозной внезапностью оглушительные раска-
ты грома.

Он втащил девочку обратно.

Навстречу ему шли Лакшмами и Хари с маль-
чиком на руках.

Едва они оказались на улице, где керосиновые фонари горели красным воспаленным огнем и над кастрюлями в закуской вился пар, как с неба донеслось яростное рычание, словно стадо взбесившихся слонов дралось с разъяренными львами. Затем раздался взрыв неистового ржания, небесные кони помчались по облачной мостовой, высекая из нее копытами пламя, сидевшие на них всадники вонзили мечи в свою добычу, и полились крупные капли дождя, словно капли холодной крови из раненых тел настигнутых животных.

Хлынул дождь — холодный, отвесный, упорный дождь, внезапный, огромный и бесконечный. Он заливал землю с таким бурным напором, что все притаилось, — люди и животные.

Через два часа, когда пузыри на дороге уже лопались медленнее, Хари повел семью обратно в фабричный поселок. Дороги превратились в реки, равнина за городом стала озером, а пруд разлился так широко, что хижины, в которых жили кули, были снесены.

Вымокшие до костей, напуганные неистовым шумом ливня, неожиданным грозным бормотанием грома, вспышками красновато-белых молний над головой и ненадежностью осклизлой земли под ногами, Хари и его спутники пытались укрыться в рощице из платанов и пальм, на холме возле храма, стоявшего над прудом. Сотни других рабочих, чьи хижины тоже пострадали от ливня, собирались во мраке.

— Рам! Рам! — бормотал Хари, показывая дорогу.

Муну шел молча. Лакшами трепетала при каждом вздроге стихий. Дети всхлипывали.

— Охе Мунду! Охе Муну! — вдруг донесся хриплый голос до слуха Муну, сгибавшегося под тяжестью дочери Хари, которую он ташил на спине.

Муну был поглощен воспоминаниями о ливнях в родной деревне и о том, сколько они приносили радости — мать всегда пекла сладкие пирожки, празднуя начало дождей. Поэтому он не сразу обратил внимание на зов.

— Охе Мунду! — снова раздался голос, густой, веселый.

«Кто бы это?» — оглянулся Муну, всматриваясь в темноту.

— Ах ты, соблазнитель своей дочери... Подожди меня... ведь раз твою хижину снесло, я могу устроить тебя...

Муну узнал Ратана, своего соседа по цеху. Мальчик остановился.

— Охе! Стой! Подожди! — и над ним склонилась рослая фигура смеющегося Ратана; боец едва удерживался на ногах, скользя по грязи.

Хари, согнувшийся под тяжестью сына, и Лакшами, безмолвная, прекрасная и трогательная, борющаяся с напором ветра, стыдливо одергивая одежду, которая облепляла ей грудь и бедра и спадала вокруг ног мокрыми тяжелыми складками, словно вокруг древней статуи, слишком продрогли, чтобы прислушаться к голосу, доносившемуся из темноты.

— Стой, Хари, брат, — крикнул Муну. — Это Ратан!

Но когда он взглянул Ратану в глаза, то увидел в них буйный блеск, щеки морщила

хмельная улыбка, а от толстых губ слегка пахло вином. И мальчик испуганно спрашивал себя, не задумал ли борец подшутить над ними. Этот страх усилился, когда Ратан разразился неудержимым хохотом, глядя на их мокрые смешные фигуры и судорожные попытки не упасть.

— Пойдем-ка в мои хоромы, — заявил он, хлопнув Муну по плечу с добродушием, все более угрожающим. — Идем, идем! — рявкнул он. — Идите, соблазнитель своих дочерей, несчастные черти, я ведь знаю, вам некуда деваться!

— Со мной Хари и его семья, — сказал Муну.

— Все, все идите, — ревел Ратан в порыве пьяного великодушия. — Я знаю, что это значит — работать целый день на фабрике, а потом и головы негде преклонить, нигде, кроме винного погреба! Ха! Ха! Ха! А я уж присмотрю за тобой, стервец! Не сомневайся в старике Ратане! Положись на чемпиона Индостана! Положись на чемпиона мира! — И он что есть силы ударил себя кулаком в грудь, но пошатнулся и с проклятием упал. — Ах, соблазнитель своей дочери! Вот дождь так дождь! Ну уж бог и напрудил! Да! Я понимаю! Видно бог вздумал помочиться!

Он несколько раз приподнимался, но падал снова. Наконец он встал, откашлялся и начал извиняться: — Прости меня, прости старика Ратана. Заложил он немножко, видишь ли! Но он не подведет. Нет, не подведет! Не робей, он тебя сведет в хорошее местечко! — Скользя, спотыкаясь и едва удерживаясь на ногах, он повел их за собой.

Муну пригласил жестом и Хари, стоявшего в нерешительности.

— Идите же, все идите, — более трезвым голосом убеждал их Ратан. — Чемпион Индии не подведет, он поможет вам в беде.

Муну догнал Хари и потащил его обратно, они снова двинулись в путь, на этот раз — следуя за грузной, комической фигурой борца. Муну инстинктом чувствовал прямоту и сердечность Ратана, но недоверчивые южане все еще колебались.

— Это верно? У Ратана в самом деле найдется для нас место? — спросил Хари.

— Идите, идите, бедняги, — уговаривал их Ратан, и в его голосе звучала подлинная сердечность.

Они шли, скользя, спотыкаясь, перепрыгивая через канавы, брели среди одиночества темных изрытых пустырей, окружавших фабрику, прислушиваясь то к доносившимся до них пронзительным крикам, то к бурной дрожи тамтамов, ритм которых сливался с глухим ритмом неумолчного дождя, вспыхивающих молний и громовых раскатов.

Все по очереди падали с глухим стуком, и была такая минута, когда трое оступились одновременно. Но они поддерживали друг друга, безгласные от холода и огорчения, за исключением, впрочем, Ратана, который, хотя и трезвел, но продолжал ободрять их с той же теплотой и сердечностью. Наконец они добрались до больших домов за три улицы от их бывшей хибарки.

— Ну, идем, идем, бедняги, — сказал Ратан, хлопнув Муну по спине с новым приливом покровительственной жизнерадостности,

ободрившей мальчика, но не согревшей его окоченевшей поясницы.

— Я боялся, что мой бедный сынишка умрет сегодня! — сказал Хари чуть не плача. — Но да будет благословение божества на вас обоих, Муну и Ратан. Вы спасли жизнь моему сыну, а то некому было бы и похоронить меня.

— Пойдем, пойдем, пойдем наверх, — торопил Ратан. — Какой же я борец, если не помогу тебе? И кто назовет меня чемпионом Индостана, если тело у меня большое, а сердце не будет большим?

Муну в душе восхищался Ратаном. Он нашел себе нового героя. Он постарается стать таким, как Ратан.

Корпус, в котором жил Ратан, представлял собой трехэтажное здание; строители, видимо, никак не планировали пространство вокруг него — здесь не было ни двора, ни сада, ни площадки для детей. Дом был окружен с трех сторон такими же зданиями, отстоявшими от него не больше, чем на ярд, и образовавшими темные проулки.

Комната на третьем этаже — точная копия сотен других комнат этого дома — находилась недалеко от витой узкой железной лестницы и имела футов пятнадцать длины и футов десять ширины.

Когда Ратан и его спутники вошли, Муну увидел сквозь наполнявший ее дым от очага хромого, высохшего человека, бледную молодую женщину, сидевшую на полу, и маленькую девочку. Появление гостей было встречено суровым и замкнутым молчанием. Но Муну

уже начинал привыкать к необщительности фабричных рабочих. Немногие из них стремились узнать друг друга, хотя, зачастую, жили и работали в двух шагах друг от друга.

Бледное пламя жестяной лампочки не в силах было одолеть мрак, вливавшийся в одинокое окно на северной стороне, тем более густой, что плотные грозовые тучи все еще застилали небо. Но в окне и двери были крупные щели, и порывы сквозняка раздували огонь тлевшего на двух кирпичях полена, и тогда по южной стене пробегали длинные искривленные тени.

— Ты говорил, что хочешь сдать полкомнаты, охе Шибу? — начал Ратан, дожидаясь в дверях, пока войдет Хари. — Я привел тебе семью, с которой живет этот парнишка, он земляк наш. Их хижину в переулке Сахибов снесло ливнем.

— Ладно, — сказал Шибу, попыхивая трубкой. — Идите сюда, идите, сядьте, добро пожаловать у нашего очага, — продолжал он, увидев Хари и его жену. — А ты откуда? с севера, охе Муну?

— Из Кангры, брат, — ответил Муну, спустив девочку на пол и с любопытством осматривая комнату.

— Из Кангры... из Кангры, был я в Кангре, — начал старик. — Конечно, в дни, когда я был еще ребенком. Я ходил к гробнице в горах, где являлась богиня Кали...

— На вот лепешку, ешь, — обратилась к нему жена, чтобы остановить этот поток воспоминаний.

— Да, да, отец, расскажи нам, что тогда случилось — начала к нему приставать девочка.

— Пошла спать, маленькая ведьма, — крикнул на нее Шибу, которому хотелось, прежде чем заняться гостями, уточнить деловую сторону вопроса. Он нагнулся к Ратану и стал ему что-то шептать.

«Завтра спать здесь будет слишком жарко,—размышлял Муну, усаживаясь на пол.— Но сейчас мне холодно. И постоянно будет дым, ему некуда выходить, кроме окна. Но здесь все-таки лучше, чем в хижине. И пол настоящий».

— А ведь тут получше будет, чем в твоей хижине, — обратился и Ратан к Хари.

— Конечно, лучше, — опередил Муну ответ Хари. — Вот если бы мы сразу сюда попали! Мы не потеряли бы все свое имущество в проклятой хижине.— Он был увлечен новыми соседями, которые тоже оказались северянами. А болтливый старичок ему очень понравился.

— Да, брат,—отозвался Хари,—но главный сахиб рассердится, что мы сбежали из его хижины, и возьмет с нас за целый месяц.

— А сколько вы там платили?

— Три рупии.

— Ну, здесь выйдет только на две рупии дороже.

— Мы и так уже должны сахибу старшему мастеру десять рупий, а теперь еще придется занимать, ведь надо купить посуду и пищу. Может быть, завтра удастся отыскать что-нибудь из старой посуды и из вещей. Видно, бог разгневался на нас!

— Но будьте уверены, что надежный друг у вас все-таки есть, — сказал Ратан, гордо ударив себя в грудь и засмеявшись.

— Ты был так добр к Муну, — сказал Ха-

ри. — А он на-днях спас жизнь моей дочери. И опять благодаря ему ты спас жизнь всем нам. Я очень благодарю тебя. Я заплачу, сколько ты сказал.

— Не думай об этом, брат, — прервал его Шибу. Убедившись, что эта семья действительно поселится в его комнате и квартира будет обходиться ему дешевле, он стал чрезвычайно великодушен. — Попробуй-ка лепешек моей жены, сейчас она вам сварит рис. Поешьте и лягте. Вы, верно, измучились. Завтра, когда стихнет дождь, мы пойдем искать ваши вещи.

— Ты очень добр, — стал отказываться Хари, — не нужно нас кормить. У тебя самого семья...

— Иди, иди, брат, — продолжал Шибу, — хоть мы и в Бомбее, и бедны, но еще не забыли обычаев севера. А вот мешок. И если вы ляжете все рядом, я накрою вас одеялом.

— Сколько мы вам беспокойства причинили, — извинялся Хари.

Муну радовался, что явился косвенным виновником оказанного его друзьям гостеприимства.

Однако после тревожной ночи, когда он то и дело просыпался от холодных сквозняков, а утром его разбудила нестерпимая вонь, он уже не радовался.

— Откуда этот запах? — спросил он Ратана, который курил свой кальян.

— Не знаю, верно из канавы под окном.

Муну подбежал к окну. Он привстал на цыпочки и, при тусклом свете скрытого облаками солнца, увидел, что из засорившейся сточной трубы вода льет прямо в узкий вонючий проход между домами.

— Охе Ратан! — сказал он, — весь проход залило навозом.

— Возможно, — лениво отозвался борец, — внизу на двести человек семь уборных и только один сторож, чтобы чистить все после ночи. Если хочешь облегчиться, дай ему одну анну, и он проводит тебя в отдельную уборную. Впрочем, пойдем, я покажу тебе, где.

Муну последовал за своим другом по коридорам, заваленным всяким хламом — бельем, тряпками, жорзинами, игрушками. Когда они дошли до осклизлых стен, перед которыми, покуривая, сидел уборщик, Муну зажал нос уголком набедренной повязки, до того нестерпим был запах мочи и кала.

— Этот парень из моей стороны, — сказал Ратан, — отпирай ему отдельную уборную.

— А тут можешь умыться, — сказал Ратан и указал Муну на колонку, возле которой стояла толпа женщин с кувшинами. — Тебе придется постоять в очереди.

Муну не решился пройти по грязи, впитавшей воду из колонки.

Когда он поднимался вверх, он встретил Хари, тот, видимо, собрался пойти за вещами.

— Я пойду с тобой, — сказал Муну. — Я вымоюсь из пруда.

Джимми Томас высился словно колосс среди фабричного двора. Он покручивал тонкий ус, лицо его было красно, как сырое мясо, — с лиловатым оттенком, вследствие злоупотребления виски, — синие дуги бровей нахмурены.

Муну и Ратан увидели его еще издали, об-

гоня толпы кули, спешивших к фабрике по кочковатым тропкам. Муну заранее начал готовиться к утреннему «салям, хузур», хотя ему оставалось пройти еще около ста ярдов: поклониться этому белому человеку всегда стоило Муну особенных усилий.

Он вскоре понял, почему. Подойдя к железной решетке двери, он увидел, что Чимга сахиб размахивает руками, бранится, вот он нескольких кули пнул ногой, других ударил, продолжая бегать взад и вперед, словно бешеный.

Сердце Муну замерло — он боялся среди жертв увидеть Хари.

— Что б вас!.. Отчего вы не предупредили меня, что выезжаете из этих хижин? — рычал мастер.

— О, хузур, о, хузур! — только и отвечали кули; они жалобно стонали и вопили, валились наземь, трепеща, словно испуганные дети.

— Хузур, крышу хижины снесло и все кругом было затоплено, — услышал вдруг Муну голос Хари. Кровь Муну побежала быстрее — в созвучии с затаившимся в этом ответе протестом.

— Врешь, свинья! — и мастер угрожающе придвинулся к нему. — Я сам ходил туда вчера, не было там никакой воды!

— Хузур, вода была вчера, я насилу вычерпал ее и достал свою посуду.

— Хорошо, хорошо, Хари, — пробормотал Муну. Он был в восхищении от того, что старик Хари протестует, он не считал его способным на это.

— Выходит, я вру, свинья? Да? — мастер подбежал к Хари и пнул его ногой.

— Сахиб, это правда, в хижине была вода, — сказал Муну: он не мог помочь Хари, но был в страшном возбуждении.

— И ты лжешь, ты ведь живешь у него! — И он повернулся к мальчику.

Жена Хари, стоявшая у ворот с женами и детьми других кули, жалобно вскрикнула.

— Мои слова правда, сахиб, — заявил Муну.

Мастер поднял руку, чтобы ударить его.

— Оставьте его, сахиб, — сказал Ратан, подойдя к сахибу, и оглядел его с головы до ног, словно примериваясь. Он был спокоен, но решителен, его гигантская сила просыпалась не сразу. — Их в субботу затопило ливнем, — продолжал он. — Весь фабричный поселок был затоплен. Я знаю наверняка, что крыша уничтожена. Я видел. И не вздумай обозвать меня лжецом, или я так проучу тебя, что во век не забудешь. — Он сказал это, выпрямившись во весь рост, его глаза сверкнули, он закрипел зубами и воинственно выставил подбородок.

Старший мастер отступил.

— Ну, иди, иди, иди работай. Уходи, не то я тебе наподдам, дурак. Я им сдал дом, не тебе, и не твое это дело.

— Нет, мое дело, — зарычал Ратан. — Пошел в свое бунгало, иначе я тебе голову проломлю!

— Ратан! Ратан! — закричали кули. — Сахиб...

— Начальству дерзишь, — сказал мастер. — Ты в своем уме?

— Сахиб, не сахиб, все равно, — возразил Ратан. — Может быть, ты и мастер, но бить рабочих ты никакого права не имеешь.

— Я с них взыщу плату за целый месяц, —

сказал мастер, отступая. — Хватит! Внимание! Марш на работу! Все по местам!

— Деньги ты из них, конечно, выжмешь, — продолжал Ратан, — но только посмей кого-нибудь пальцем тронуть, и я покажу тебе.

— Хорошо, хорошо, господин герой, — сказал Надир Кхан. Он оттащил Ратана и разогнал толпу.

Ратан отправился в ткацкую. Кули разбежались по местам. Они были в полном ужасе. Муну тоже пошел в цех, делая Ратану торжествующие знаки, а остальные глазели на них, выкатив глаза.

— Берегись теперь, — сказал молодой кули Ратану. — Он отомстит тебе.

— Видал я таких, — сказал Ратан с пренебрежительной усмешкой. — Да перестаньте вы бояться этого кусака. Не беспокойся! Недаром я борцом был!

— Ратан, брат, беда случилась, — сказал Муну, когда они сели у станков.

— Плюнь, — сказал спокойно Ратан, — видали мы таких — я работал на сталелитейном заводе Тата в Джамшедпуре. Там было пятьдесят тысяч рабочих. Все мы забастовали, оттого что они сократили нам заработную плату. Кто заставил компанию пойти на наши условия? Я!

— А почему же ты ушел оттуда?

— О, мы потом опять устроили стачку, в знак протеста против удлинения рабочего времени, грубого обращения и плохих жилищных условий. Уж тут компания победила. Она пустила в дело подкуп, и нас все-таки подвели. Я поймал одного из предателей и проучил его. После этого я и ушел оттуда. Да мне там ра-

бота все равно не нравилась. Тяжелая работа. Жарко очень.

— А я хотел бы поработать на металлургическом заводе,— пылко заявил Муну.— Уж, конечно, лучше, чем нитки связывать.

— Было мне тогда восемнадцать лет, — начал Ратан вспоминать. — У горнов, правда, мне и раньше работать приходилось, в Даулатпуре — у нас в семье все медники. Но жар даулатпурских домен — это прохладный ветерок в сравнении с жаром в Джемшедпуре! Не вытерпеть! И никуда от него не денешься. Представляешь — целое поле раскаленного железа, пар идет. И всегда у тебя перед глазами пляшут волны зноя. От накала глаза слепнут. День и ночь. Зиму и лето. Когда шел дождь, железо шипело там, где вода попадала на раскаленные бруски. А пар! целые облака обжигающего пара!

— Как же ты там получил работу? — спросил Муну, решив, что непременно отправится в Джемшедпур.

— Я искал работы, — продолжал Ратан, — была война, и людей было трудно достать, большинство кули предпочитали солдатчину и верную смерть.

— А работа на заводе была легкая?

— Легкая, говоришь? — насмешливо переспросил Ратан. — От шести до шести. Семь дней недели. Весь рабочий день перед домной, где плавится и кипит сталь и вскакивают пузыри, как на кипятке в кастрюле. А над головой грузчик то и дело отцепляет от подъемного крана пачки дымящихся рельсов. Закроет лицо от чудовищного жара, отцепит крюком и кричит: «Осторожно! Железо го-

рячее!» И оно было горячее! Красное, словно солнце на закате, если смотреть сквозь клубы дыма. Иной раз чуть не полчаса ждешь, пока оно почернеет. А тогда оно всего опаснее. Когда красное — хоть знаешь, что оно горячее, а когда почернеет, нечаянно рукой опереться можно или ногу поставить... Да, не одно красное железо жжется... Я работал и сверхурочно. Например, при переходе с дневной на ночную смену или наоборот; по двадцать четыре часа работал, а один раз, когда не пришел мой сменный, так тридцать шесть часов.

— Тридцать шесть часов! А разве тебе спать не хотелось? — спросил Муну просто-душно.

— Я работал не сплошь все тридцать шесть часов. Но тридцать два уж наверное. На четыре часа я надул компанию во время ночной смены. Все-таки спал урывками, по пятнадцать — двадцать минут. Вместо кровати — доска, вместо подушки — кирпич. Возле газового крана находилась будка контролера. Но он был курильщиком опия. И он знал, что трудно спать на металлургическом заводе. Уж очень шумно. И все время что-нибудь падает. Какой-нибудь медведь-крановщик зацепит брусочек да и повалит на тебя весь штабель. Безопаснее не засыпать. Но тридцать шесть часов не спать трудно.

Муну с восхищением смотрел на Ратана.

Ратан почувствовал его юношеское жадное любопытство и продолжал.

— Нет, и не мечтай о Джамшедпуре. Оставься тут лучше, сучи нитки. Там наскочишь на торчащую болванку и сразу не досчитаешь-

ся ребра. Там над головой у тебя всегда тонны стали. Их носит туда и сюда подъемный кран. Двенадцать брусьев в пачке, каждая весом в четверть тонны. Если они упадут, если одна упадет... А случилось — падали. Цепь разорвется, и тогда прощайся с жизнью. Да и цепи рваться незачем. Довольно разогнуться одному звену. И груз падает, рассыпается во все стороны. Бегать и даже ходить было опасно. Так легко было удариться щиколоткой об железо. Бывало...

— Не разговаривать! Работать как следует, эй вы, все! — кричал мастер, входя.

— Все-таки он отомстит нам, — прошептал Муну.

И мастер отомстил.

Не в этот день и не на следующий, и не на этой неделе, и не на следующей, но через полтора месяца, когда рабочим выплачивали задержанную на полтора месяца заработную плату.

Это произошло в субботу, к концу дня. Солнце, снова ставшее яростным после периода дождей, словно сдирало кожу с едва прикрытых жули, столпившихся на каменистом дворе фабрики, и окрашивало их всех в медно-коричневый цвет. Лицо же старшего мастера — в вишневый. Чимта сахиб сидел под охраной Надир Кхана в тени на веранде конторы, одетый, как всегда, в грязные белые брюки, грязную рубашку с открытым воротом и грязную шапочку для поло.

— Гарри! — крикнул Джимми Томас, раздраженный обилием мух и жуков, видимо на-

ходивших жир на его усах и платье весьма вкусным.

Хари, который никак не мог привыкнуть к английскому произношению своего имени, рассеянно смотрел на Ратана и Муну, которые, в ожидании своей очереди, занялись игрой в шахматы, причем фигурами им служили камни. Джимми Томас вспыхнул и фразозлился.— Гарри! — гаркнул он опять и, взяв хлопوشку для мух, ударил ею по столу.

Ответа не последовало. Кули испуганно переглядывались, встревоженные тем, что вызываемый не выходит и гнев мастера может обрушиться на них.

— Гарри! — пролаял мастер, даже приподнявшись на стуле.

— Хари,—подтолкнул его локтем Муну,— иди же, тебя зовут.

Хари судорожно вскочил и зашаркал к веранде, волоча тощие кривые ноги с плоскими ступнями.

— Живей! Живей, — крикнул на него мастер. — Я не слуга твоего отца и не намерен торчать тут целый день ради удовольствия вручить тебе заработную плату. Давай большой палец!

— Слава богам, — отвечал Хари, кланяясь, и, выставив большой палец правой руки, обмакнул его в жестянку с чернилами и посмотрел, достаточно ли на нем чернил.

Мастер взял его дрожащую руку с такой брезгливостью, словно Хари был прокаженный, и прижал ее к списку. Затем отсчитал два банковых билета по пять рупий и десять рупий серебром и протянул их старику, заявив:

— Десять рупий ты мне должен. Да одна

рупия — проценты по долгу. Три рупии квартирная плата за месяц. Одна рупия ремонт хижины. Пять рупий — штраф за брак. Остаток получи: за себя, Муну и жену с детьми.

Хари давно были знакомы эти слова: «заработная плата», «проценты», «квартирная плата», «штраф за брак». И хотя он ненавидел их, но научился подчиняться им. Он взял свои двадцать рупий, поклонился мастеру и отошел.

Но когда он подошел к Муну, его сердце сжалось, на глазах выступили слезы! Лицо его побледнело.

— Что случилось? — спросил Муну.

— Ничего, брат, — ответил старик, судорожно глотая слезы. — Пять рупий он вычел за брак, а с вычетом платы за хижину, процентов и долга мы, вместо сорока пяти рупий, получили только двадцать. Вот твоя часть — десять рупий.

— Нет, — сказал Муну, — оставь их себе, Хари. Я должен тебе за пищу и квартиру.

— Нет, брат. Ради чего тебе страдать? Бери свою долю, — настаивал Хари.

— Ну, хорошо, дай ему пять рупий на карманные расходы, — сказал Ратан, чтобы разрешить этот спор великодушный.

— Ратан!

Борец направился к веранде. Он не дал мастеру открыть рот.

— Никаких штрафов за брак, сахиб, — заявил он. — И никаких процентов, я ведь не занимаю денег под проценты.

— Получай девятнадцать рупий! — сказал мастер. — Одна рупия за опоздание на работу!

— Двадцать рупий! — загремел Ратан. Он

стоял перед мастером, полный сдержанной и спокойной силы. — И ни пайсы меньше.

Мастер поднял глаза и встретился с суровым и пылающим взглядом Ратана. Он неуверенно покрутил усы. Его лицо пошло пятнами и стало похоже на спину хамелеона в лучах солнца.

— Хорошо, — сказал он, чтобы спасти собственное достоинство. — На этот раз прощаю. Палец!

— Грамотный, — буркнул Ратан.

Старший мастер дал ему ручку и положил на угол конторки двадцать рупий бумажками: он только и ждал, когда этот человек, наконец, уберется.

Но Ратан не спешил. Он медленно вывел свое имя на индустани, пересчитал деньги, сказал «мое почтение, сахиб» и повернулся спиной, не то что другие кули, которые, уходя, обычно униженно кланялись.

Когда он вернулся на прежнее место, ни Муну, ни Хари там не оказалось. Ратан решил, что они отправились домой, и тоже ушел.

Но не успел он перескочить канаву, отделявшую горбатую дорогу от топкого поля, как увидел, что какой-то плечистый патан держит Хари за шиворот, а коротконогий магометанин бьет старика прикладом и отчаянно бранится. Муну же нигде нет.

— Улизнуть вздумал? Хотел проскочить под ногами других кули? — услышал Ратан голос магометанина. — Плати сейчас же долг Надир Кхану!

Хари раздвинул складки своего дхоти и извлек банковый билет, но в это время патан пнул его ногой в зад и так рванул ворот курт-

ки, что зубы старика ляскнули, а материя затрещала.

— Это не все, — заявил патан. — Одних процентов пять рупий. У тебя еще есть деньги. Давай-ка их сюда.

— У меня много вычли из жалованья, Кхан сахиб,—сказал Хари, складывая руки с зажатой между ними ассигнацией. — Я не могу заплатить все в этом месяце. Я заплачу в следующем.

Коротконогий вырвал у Хари деньги, а плечистый собрался снова пнуть его, но в это время медленно подошел Ратан и схватил патана за шиворот.

— Сейчас же отпустите его, мерзавцы.

— Тебе-то какое дело?—закричал коротконогий.

— А вот и дело! Он заплатил вам? Чего же вам еще надо? Что вы над стариком измываетесь! А ну, посмотрим-ка, кто кого!

— Ладно! — покорился патан, отпуская Хари, так как чувствовал грозную тень борца за спиной и его мощную лапу на своей шее.

— Ладно! — повторил и коротконогий. — Оставшийся долг мы прибавим к прежнему. Мы запишем его в книгу. Пошел!

Хари уже пустился от них семенящей рысцой, сердце его разрывалось, глаза были полны слез, все тело бессильно обмякло.

Ратан выпустил шею патана. Магометане направились к другим кули, храбрясь и скрывая злобу.

Ратан догнал Хари. Хари так боялся преследователей, что, услышав за собой шаги, споткнулся и упал.

— Хари! Хари! Не бойся же! это я. Ра-

тан, — и борец помог ему подняться. Молча пошли они рядом.

Когда они подошли к дому, наконец преодолев раздражавшую их липкую грязь, они увидели возле лестницы Муну и полицейского.

— Он требует квартирную плату, — сказал Муну, идя навстречу своим друзьям. — Я сказал, что заплатит Шибу.

Хари вынул три рупии. — Ты дай две рупии, брат. А потом с Шибу сосчитаемся.

Муну дал деньги.

— А это моя доля, — сказал Ратан, протягивая две рупии полицейскому.

Хари поднялся по лестнице, лицо его напоминало морщинистый кулачок, тело одеревенело, ноги дрожали. Дойдя до своей комнаты, он со вздохом опустился на пол. Лакшами почтительно гладила его колени.

Ратан закурил бири.

Муну, куривший до сих пор только украдкой, тоже потянулся за папиросой. Но при первой же затяжке закашлялся. Неудача рассмешила его. А Ратан заливался смехом, как дитя.

— У меня вычли пять рупий за брак, — сказал, входя в комнату, Шибу. — Какое уж тут веселье!

— У меня они не посмели вычесть, — отозвался Ратан. — Надо быть мужчиной и уметь постоять за себя. А еще лучше — пойдете-ка со мной да вступайте в союз. Вы все точно спите.

— Я вступлю в союз, — заявил Муну. — Скажи, где это.

— Пойдем, — повторил Ратан, — вы запишетесь. Зачем терять время.

— Ничего, Лакшами, — сказал Хари; ободренный вниманием жены, — теперь я отдохнул, пойду и запишусь в союз.

— И я, поднялся Шибу.

— Отлично, а потом мы все зайдем в винный погреб и выпьем. Я угощаю, — заявил Ратан.

Дружба между Ратаном и Муну крепла, как может крепнуть дружба между двумя пылкими, наивными и сердечными сыновьями Пенджаба. Она завязалась мгновенно и быстро развивалась, так что они теперь говорили, что они друзья еще со времени своего «под-столпешком-хождения».

Эту дружбу как нельзя больше скрепляли условия их существования, в которых братские отношения были единственным отдыхом от горькой жизни на фабрике, где они работали, и в битком набитых комнатах, где проводили свой досуг.

Как никак, двенадцатичасовой рабочий день изнуряет.

А спать вповалку в тесной клетушке, вечно дышать дымом и вонью тряпни, среди кастрюль, горшков, постелей и ползающих младенцев, всегда быть на людях — в умывальной, в уборной, на лестницах, — все это невольно рождало тоску по товарищеской близости.

И больше всего Муну и Ратан дорожили теми немногими часами, которые им удавалось проводить вне этого ада.

Муну трудно бывало вставать по утрам, а до фабрики можно было добираться только пешком. На это уходил почти час. Вставал он в половине пятого. Завтракал хлебцем, остав-

шимся от вечера, мылся у пруда и шел на фабрику, куда приходил в шесть. Надир Кхан, разумеется, отмечал приход каждого на работу, и, в случае опоздания, штраф был неминуем.

Вечером, после шестичасового гудка, надо было опять ташиться домой. Только в восемь или девять уставшие женщины были в силах сварить ужин. Затем приходилось тут же ложиться, чтобы хоть немного отоспаться. Кули не нуждались в веронале. Двенадцатичасовой рабочий день — это то же снотворное.

Но такому мальчику, как Муну, не хотелось ложиться рано. Поля, винный погребок, город, — все влекло его, и он иногда ложился не раньше двенадцати.

Эти часы, проведенные с товарищами, часы, когда он действительно жил и общался с другими кули, казались ему самыми счастливыми часами его жизни. Он учился быть взрослым. Он верил в то, что скоро станет настоящим мужчиной, и все, что он в эти часы слышал, говорил или делал, казалось ему полным значения.

Каждый праздник он сиял от радости. И всегда присоединялся к великому «исходу» кули из поселка в город, чтобы полюбоваться на удивительные вещи, продававшиеся в магазинах, и хоть издали насладиться ими, раз уж он был не в состоянии их купить, хотя и крепко надеялся, что все же настанет день, когда он сможет приобрести их.

Муну и Ратан по субботам вместе уходили в город.

Пыльная дорога, которая вела из страны фабрик к городским предместьям, быстро бежала под ногами кули. Запах навоза, кожи, разлагающихся трупов кошек и собак сменял-

ся благоуханием тамариндов, душистого горошка и роз, а кочковатая дорога — обсаженным пальмами шоссе. Высокие дома белели в тени парков над клумбами росших повсюду золотистых цветов. Обезображенные трудом фигуры кули, их худые лица с ввалившимися глазами смешивались с толпой нарядно одетых горожан. Движение экипажей, такси и лимузинов становилось все оживленнее. И, как суровые сумерки, вливались в яркие базары Бомбея жители из страны фабрик.

— Сегодня я покажу тебе представление, — сказал однажды Ратан мальчику, когда они сидели в погребке; при этом на лице борца вспыхнула смущенная усмешка. Допив последний глоток пива, он встал и повел Муну сначала по залитой электричеством улице Абдуль-Раман, затем по освещенному газом Бхенди-базару и, наконец, мрачным проулком, на Главную улицу.

Муну тоже выпил стакан пива и с увлечением следовал за Ратаном. Перед ними лежала узкая древняя улица, ее грязь была затушевана сумраком, ее зловоние заглушалось ароматом, исходившим от цветочных палаток, ее мерзость была прикрыта мишурой и нарядами густонакрашенных женщин. Под грузом украшений, обложившись подушками, они сидели на низеньких табуретках у окон и на балконах над убогими лавчонками, улыбались многозначительно и кивали мужчинам, медленно прогуливавшимся в праздничных одеждах, жуя листья или орехи бетеля и высматривая сводню.

— Разве не красавицы? — наклонился Ратан к Муну. — Ты рад, что я тебя привел сюда? Скажи, какая из этих женщин тебе нравится?

Муну застенчиво улыбнулся. Его сердце забилось: слова Ратана пробудили в его теле какое-то настойчивое желание. Ему было весело и радостно, он смотрел на своего друга светящимся взором, полным восхитительной невинности, словно окутанный горячей чувственной грезой.

— Пойдем, — сказал Ратан, — я знаю, куда я поведу тебя. Мы пойдем к Пиари Джан.

Муну следовал за ним сквозь поток человеческой страсти, который, волна за волной, катился по этой улице, среди этих веселых, шелестящих белых, черных, коричневых толп, приливавших и отливавших ритмом безмолвной песни, песни желания, ища в музыке, в танце, в любви какого-то забвения, смерти, восторга, пусть временных и неполных, какого-то бегства от нестерпимого одиночества души. Мальчик не знал, как несчастно, униженно, обездоленно это человечество, толпившееся на веселой улице. Он был пленен мишурой маскарада, и ему казалось, что это просто карнавал, вроде тех деревенских ярмарок, куда люди ходят, чтобы показаться в своих лучших одеждах. Сам он не имел никакой определенной цели или намерения и думал, что и все эти люди вокруг него также лишены желаний.

Но не успел он опомниться, как Ратан потащил его каким-то темным переулком в воющий дворик, они поднялись по узкой лестнице и очутились в просторной зале, ярко освещенной высокими подсвечниками и украшенной с полу и до потолка гирляндами бумажных цепей и цветов. По стенам висели большие олеографии его величества короля Эдуарда VII и его внука, теперешнего коро-

ля, а рядом — литографии обезьяньего бога Ханумана и портрет какой-то женщины, видимо Пиари Джан в годы ее расцвета, когда у нее был «салон» в лучшем квартале, когда она плясала перед первыми купцами Бомбея и еще не была той надорванной, износившейся женщиной средних лет, которая сидела сейчас у окна, одетая в дешевые имитации шелка и дорогих тканей, с фальшивыми драгоценностями в ушах и в носу, на шее и на руках.

— Ао, добро пожаловать, герой, где ты скрывался так долго? Я себе все глаза повисмотрела, глядя на дорогу и ожидая, что ты осчастливишь своим приходом мой дом, — сказала Пиари Джан с улыбкой, смягчавшей грубую фальшь ее слов.

— Я много работал, — сказал Ратан, — да и мастер много удержал у меня в том месяце из жалованья.

— Надеюсь, в этом месяце не удержал? — сказала она смеясь.

— Нет, нет, за свою часть не беспокойся, — ответил он на ее хитрый вопрос смутным обещанием. И затем добродушно добавил: — Посмотри, я привел тебе красивого молодого кавалера.

Она подошла к Муну и, положив ему на голову свою руку, сказала:

— Прямо сын божества по красоте! Какой большой мальчик! Твой сын?

— Нет, твой любовник, — сказал Ратан. — Мой соперник.

Перед этим видением в блестящих ожерельях и прозрачных тканях Муну совсем растерялся. Благоухание, исходившее от ее тела,

кружило ему голову. И ему захотелось изведать, пережить сладость ее любви.

— Садись же, борец, — сказала Пиари Джан. — Ты попрежнему насмешничаешь? Да?

— Ну, что ж, быть мне, значит, клоуном в твоём доме, — отозвался Ратан, стараясь скрыть некоторое смущение, и опустился вместе с Муну на белый изразцовый пол.

— Ты мой высококочтимый покровитель, — возразила Пиари. — Как я смею зачислить тебя в мою труппу. Я только твоя служанка. А не пожелает ли ваша милость выпить шербету и послушать музыку? — ловко перевела она разговор, стремясь ускорить события.

— Давай, — отозвался Ратан, понимая, что это удовольствие для нее — только чисто деловой вопрос. — Вот шербет, который, надеюсь, тебе понравится, — и он поставил перед собой бутылку портвейна.

— Ты очень любезен, борец, — сказала она. — Ты щедр, как Хатам Тай. Я принесу стаканы. — И она вошла в нишу, где стояла широкая кровать, украшенная той удивительной раскрашенной деревянной резьбой, которой так славятся столяры Северной Индии.

Вернувшись с четырьмя бокалами, она крикнула: — Ни Джанки, ни Гулаб Джан! Вай Бьод Кхан!

— Значит, мы увидим и танцы? — спросил Ратан. — Не хлопочи, пойдя сюда, посиди со мной.

— Да буду я твоей жертвой, — отозвалась Пиари насмешливо и села к нему на колени. — Я слуга твоя.

Муну судорожно улыбнулся при виде их

любовной позы. Никогда не были мужчина и женщина на его глазах так близки друг с другом. Дядя и тетка всегда спали врозь. Постели для Прабхи и его жены хотя и стелились рядом, но он не замечал, чтобы муж и жена прикасались друг к другу, что же до Хари и Лакшми, то, казалось, они принадлежат к разным мирам.

Он почувствовал в недрах своего существа незнакомое движение, в груди проснулось какое-то горячее чувство, его мысли словно растаяли, и все это опьянило его гораздо больше, чем горький напиток, которым его угощал Ратан.

В комнату вбежали два пленительных видения: их ноги были одеты кольчугой из серебряных монет, нашитых на шелковые шальвары, их упругие тела закутаны в гибкие складки ослепительно-песпрых покрывал, на их лицах играла смелая улыбка, в которой сквозил какой-то пафос тоски. Они остановились, нерешительно глядя в холл, разыгрывая смущенное ожидание Бьюд Кхана, который вскоре и появился—темнолицее, беззубое, тусклоглазое существо в чистой одежде, которая, однако, не могла скрыть его грязной профессии.

— Салям! Салям, борец!—сказал сводник.— Давно не имели мы счастья видеть тебя у нас. Поспешим же развлечь тебя. Как на этот счет, девушки? — И он сел и нажал клавиши гармонии, которую поставил перед собой.

Инструмент издал протяжный жалобный звук, и, казалось, смущение девушек исчезло.

Пиари притащила два барабана и начала бить в них проворными толстыми пальцами.

Тогда гармонь издала долгий мягкий звук желаний, барабаны ответили медленным гро-

мом водопада, и обе плясуньи начали поводить руками, безжизненно свисавшими до сих пор вдоль тела, и переступать ногами, выкрашенными в красный цвет, так что казалось — они озарены невидимым огнем.

Музыка томительно нарастала, переходя в настойчивый, трепетный ритм, — такой же, каким билось сердце Муну, и Пиари запела первый куплет народной песни, а плясуньи медленно качнулись в танце, трепеща словно рябь на воде в пруду и ударяя одной ногой о другую, так что колокольчики на их щиколотках звенели в такт песне и все кругом казалось насыщенным каким-то сладостным напряжением, объединявшим их всех в одно.

Настойчивое подчеркивание Пиари любовных фраз песни, а также коварная пылкость танцовщиц, самозабвенно отдающихся движению, низкие глухие звуки гармонии и звонкие — тамбуринов — волновали души Муну и Ратана, и когда танцовщицы закружились спиралями радости и боли, будя тоскующую и тревожную нежность, и самый воздух был насыщен волнением. Ратан раздвинул верхние складки набедренной повязки и бросил на гармонию рупию, воскликнув: — Ва! Ва! Ты дала мне счастье, Пиари, жизнь моя, любовь моя!

Пиари подошла и томно опустилась к Ратану на колени.

— Рада, что угодила тебе. Хочу, чтобы и ты мне угодил.

— Я чемпион Индостана недаром, — сказал Ратан. — Подожди, пока мы ляжем.

Бьюд Кхан, услышав эти слова, зашнырял вокруг них, косясь украдкой тусклым глазом. Девушки сели на пол и прижались друг к дру-

гу, в каком-то упоении взявшись под руки, голова к голове. При словах Ратана они захихикали.

Сердце Муну вышло из берегов его тела, чтобы коснуться берегов вот этих женских тел, словно волна, но было отброшено, не успев даже приблизиться к ним.

Пиари снова сделала знак Бьюд Кхану и пропела первую строфу другой песни. Она в такт звенела запястьями, поводила глазами, покачивала головой и, казалось, колдовала над Ратаном, а аккомпаниатор подхватывал ее заговор, вторя его ритму на своем инструменте.

Пиари замолчала, ожидая второй рупии, как проститутки ждут подачи после каждого удачно исполненного куплета, если уже прочно залучили гостя.

— Моему юному другу будет приятно еще посмотреть танцы, — сказал Ратан, хитро избегая платы.

Пиари сделала знак танцовщицам, засмеявшись прямо в лицо Бьюд Кхану, свирепый взгляд которого упрекнул ее в забвении ее обязанностей.

Девушки медленно поднялись, закатывая миндалины глаз, причем стало вдруг очевидно, что эти глаза с пушистыми бровями и длинными ресницами грубо подмалеваны.

Танцовщицы словно подхватили на кончики пальцев ритм песни, которую пела Пиари, и под медлительные звуки музыки протанцовали, с внезапным ослепительным блеском и утонченным мастерством, содержание песни: любовь, страсть и наслаждение. Тут было все: искушающие движения стана, взмахи рук,плы-

вущих над головой или ударяющих в ладоши, ритмическое и грозное покачивание змей и ехидны, ярость пантер, легкий и робкий бег невинных козудь, медленное кружение заклинательниц, произносящих волшебные формулы; выразительный трепет и дрожь прозрачной оливковой кожи, утратившей искусственность грима и ставшей чутким зеркалом, отражающим странный цвет их душ.

Ратан выкрикивал одобрения, страстные звуки песни словно хлестали его тело: — Ва! Ва! Шабаш! — как принято в Индии одобрять музыку, ибо там публика обычно восторженная участница исполнения, — это не безучастные зрители с их равнодушной критикой. В конце песни он вытащил из своего дхоти еще одну рупию и положил ее на поднос, как кладут на поднос угощение.

Танцовщицы выскользнули из комнаты. Следом прошаркал Бюд Кхан.

Во время танцев Муну словно оцепенел. Теперь он весь пылал. Его лицо алело румянцем.

— Мальчик, наверно, утомился, — многозначительно сказала Пиари.

— Да, Муну, брат, иди домой, — сказал Ратан. — Поздно. Я потом приду.

Муну казалось, что он сейчас умрет от неведомых желаний. Чего-то ему хотелось, это он знал. Но, вот, чего! Он встал. Пиари погладила его по волосам.

Горько плача, выбежал он на улицу. Было далеко за полночь, когда он возвращался с веселой улицы по бессонному Бомбею, где всюду на мостовой были разбросаны тела вечно бездомных кули. Люди хрипели во сне, стонали, иные еще бодрствовали и о чем-то шеп-

тались, сидя перед запертыми лавками, и их лица в свете газовых фонарей казались особенно изможденными и бескровными.

В городских предместьях дороги четко белели во мраке безлунной ночи, но овраги и рытвины простиравшейся за ними равнины были налиты глубоким мраком, и он казался еще чернее, когда светящийся жучок садился на верхушку мусорной кучи, расправляя драгоценные крылья, или в пальмовой роще начинала тоскливо кричать сова. Тревожное возбуждение, охватившее Муну во время пляски у Пиари Джан, не утихало, а стало еще мучительнее. «Чего же мне все-таки хочется?» — спрашивал он себя, борясь с усталостью и странным напряжением. Занятый поисками отгадки, он шел, как во сне. И вдруг его шаги показались ему шагами какого-то огромного грозного демона, который, невзирая на свои размеры, боится злых духов ночи; вон их головы с развевающимися волосами, их оскаленные зубы, их длинные когти, протянутые, чтобы выцарапать ему глаза. Он зажмурился, спасаясь от этих образов, но споткнулся и ушиб ногу. Тогда он пустился бежать, бежать во весь дух, и скоро увидел вдали жилые дома. Ведьмы ночи остались позади. Успокоительно светила ему навстречу яркая точка лампы в чьей-то хижине. Муну почувствовал себя в безопасности, хотя страхи ночи все еще таились где-то в его теле. Задыхаясь, стал он подниматься по лестнице, и каждый его вздох казался ему последним.

Жена Хари ждала его; сидя в стороне от спавших вповалку людей, она чинила какое-то тряпье при свете глиняного ночника. Она

взглянула на него с горестной нежностью и, запинаясь, спросила: — Откуда ты так поздно?

Муну взглянул на нее, отвел глаза, на которых снова выступили слезы, и направился к своему месту на полу. Когда он снова поднял голову, то увидел, что Лакшми склонилась над ним, в ее глазах был влажный горячий блеск, щеки разрумянились. Он покачал головой и низко опустил ее, словно стараясь избежать того, чего так жаждал. Нежно-нежно приподняла она его подбородок. Затем, со всем пылом, со всей бережностью к угаданной поматерински тоске его порывов, она поцеловала его в лоб и прошептала едва слышно, как песню: — Наш удел — страдание! Наш удел — страдание, любовь моя! — И прилегла около него и обняла его, прижимая к своей груди, и эта безмолвная ласка была как пытка. Близость этого тела терзала его, будила безудержную юношескую страсть. пока, наконец, в волшебные часы рассвета эта страсть не нашла себе исцеления в смерти, временной смерти его существа в недрах ее существа.

Каждому нелегко начинать понедельник. Для кули он был хуже, чем страшный суд. Особенно после того как они накануне отдали целый день согревающей радости человеческих отношений и как бы вновь обрели свою душу.

Но в понедельник утром приходилось возвращаться на работу: в понедельник утром они вновь стояли лицом к лицу со смертью. И, как будто чудовище смерти было незримой силой, которая должна была неминуемо настичь их, едва они встанут к станкам, они пле-

лись на фабрику словно парализованные каким-то гипнозом, погруженные в апатию, в оцепенение, и их лица, как маска, выражали у всех одно: ужас и затаенное страдание.

«Отчего они такие печальные?» — недоумевал Муну, так как в нем самом еще оставалась доля юношеской жизнерадостности. Он пытливо всматривался в их лица. Вялые, хмурые, с перекошенными уродливыми лицами, черные, грязные, сутулые, скользили они мимо него с каким-то отсутствующим, потусторонним выражением; идиоты — уставившиеся в дымное небо, бормочущие «Рам, Рам» и другие имена божества при встрече друг с другом или воздающие благодарность Всевышнему за его дары. Муну вспомнил, как его хозяин Прабха в Давлатпуре твердил о том, что все — благословение божества, даже обиды, нанесенные ему Ганпатов, даже избиение, которому он подвергся в полицейском участке, даже лихорадка, от которой он чуть не умер; что все наши несчастья — последствия совершенного нами зла. Может быть, идущие рядом с ним рабочие тоже верят в карму? Хари, действительно, не раз говорил то же самое и надеялся, что настанет день, когда ему, наконец, повезет, ведь он совершал не только злые, но и добрые дела. Ратан смеялся над всей этой премудростью, он один шел через жизнь с легким сердцем, и лицо у него было красивое и смелое, сияющее улыбками, он один шел по ней гордо и отважно. Но другие кули гнулись к земле под бременем смирения.

Муну относился с каким-то суеверным страхом к судьбе Ратана. Когда он думал о нем, душу охватывало неодолимое предчувствие

гибели. Он старался обуздать свои мысли, повторяя обычное индусское заклинание: «Нельзя думать о Ратане, что он красив и удачлив, иначе мой дурной глаз принесет ему несчастье». Все же его мысли словно напрозорчили беду: настало утро, когда улыбка на лице борца угасла.

Чимта сахиб имел обыкновение становиться каждое утро у входа на фабрику, чтобы принимать от кули саямы и другие выражения почтительности. Сердитый жест, бранное слово, проклятие — вот все, что они получали в ответ. Он считал, что только таким отношением к ним и можно поддерживать порядок на фабрике. Один вид его грузного быкообразного тела терроризировал кули, вселял в них страх, и они приходили тогда в должное состояние для безропотного исполнения своих обязанностей. Бывало, что он провожал рабочего пинком — в тех случаях, когда с раннего утра напивался или ссорился с миссис Томас, а иногда — после прочтения в утренних газетах о новой национальной демонстрации, террористическом акте или попытке вести крамольную коммунистическую пропаганду, что, как представитель британской нации в Индии, он рассматривал как личное для себя оскорбление. О тех днях, когда сам он влачил в Ланкашире нищенскую жизнь, мастер давно забыл.

Ратан был человеком независимых мнений. Он не гнул спину, здороваясь со старшим мастером, верил в свою личную силу и, кроме того, в силу профсоюза. Ратан знал, что работает хорошо и заслуживает в конце месяца полной оплаты.

Поэтому, когда плата задерживалась или

когда у него вычитали за брак или за опоздание, он протестовал.

Чимта сахиб и Ратан отнюдь не питали друг к другу нежных чувств.

— Салям, сахиб! — задорно приветствовал мастера борец и в это утро, неторопливо шагая мимо него.

— Поди сюда, — свистящим шопотом позвал его мастер.

— Да, хузур, — сказал Ратан, подходя к нему с насмешливой торжественностью.

— Ты уволен.

— В чем моя вина, сахиб?

— Довольно! Ты уволен.

Ратан сначала взглянул на мастера спокойно, затем покачнулся, словно его ранили в сердце. Все черты его крупного лица вдруг сосредоточились в одном выражении боли, гордости и силы. Он слегка вздернул подбородок, стиснул зубы, как будто почувствовав во рту скверный вкус, и уголки его глаз покраснели, словно от вспышки скрытого огня. Он стоял выпрямившись, в мучительной жажде выразить что-то, выпустить на волю демона, чудовище страдания, которое жило в нем с тех пор как он понял всю нищету, забитость и горе окружающих его людей. Казалось, внезапный удар по его самолюбию прошел через него, как электрический ток, и озарил все его существо мощным ощущением силы. Он поднял руку для удара. Но Чимта сахиб обратился в это мгновение к Надир Кхану, а Ратан не мог нарушить рыцарских правил, обязательных для борца, и ударить врага в спину. Он потряс руками и сбросил с себя чудовищную тяжесть тихой силы, накопившейся в нем. Он ослабил

мышцы, прикусил нижнюю губу и почувствовал, как кровь в его глазах превращается в воду.

— Говорят, никогда не надо проходить позади коня и впереди офицера, — сказал Муну, пытаюсь утешить своего друга. — Я пойду и попрошу его принять тебя обратно.

— Нет, — сказал Ратан спокойно. — Я ему еще покажу. Подожди.

Он ринулся прочь и поспешил в контору Всеиндийской федерации профсоюзов, находившуюся на расстоянии полумили от фабрики, надеясь, что ему удастся лично рассказать свое дело лала Онкар Нату, председателю, который был из горных провинций и, наверно, поддержит его.

— Я хочу заявить жалобу председателю, — сказал он клерку, сидевшему на веранде бунгало, в котором помещалась канцелярия союза.

Клерк осмотрел его с головы до ног и сказал, что председатель занят.

Ратан сунул в руку клерку никелевую монету в полрупии.

Клерк поднял скобу двери, вошел, но сейчас же вышел.

— Сахиб говорит, что очень занят, — доложил он. — Он велел вам написать, если у вас жалоба. За рупию я напишу вам заявление.

Ратан закипел бессильным гневом, он готов был свернуть шею этому человеку, но пересилил себя, сел и начал диктовать заявление в союз, протестуя против несправедливого увольнения.

В тот вечер в комнате, где проживал Ратан, перебивало немало народу.

Слух о том, что борца уволили, мгновенно разнесся по всей фабрике, и кули приходили со всех концов поселка выразить ему сочувствие и в свою очередь пожаловаться на обиды.

Но это были надорванные, покорные и молчаливые люди, они просто смотрели на него карими глазами или бормотали банальные фразы, бессильные и ханжеские, вроде: «Ничего, брат, это воля божества...», «Печально, но в этом мире злые всегда торжествуют, а добрые обречены страдать...» Их убогая жизнь похитила у них всякую энергию, казалось самые души их исчезли и только страданием веяло от их лиц, как веет беспомощностью от больного, нежностью — от улыбки ребенка и бесилием — от бессловесного животного.

Однако около половины девятого появились два сахиба-индуса, Сауда и Муцаффар, и англичанин Стэнли Джексон, который часто читал лекции на фабричном майдане.

— Тебя, говорят, уволили, Ратан? — спросил Сауда.

— Да, — сказал Ратан небрежно.

— Мастер привел тебе какие-нибудь причины? — спросил англичанин на ломаном индустани.

— Нет, сахиб, — сказал Ратан. — Он с некоторых пор только и ждал случая меня уволить. Но больше всего рассердило меня поведение лалы Онкар Ната, председателя нашего союза; он отказался принять меня.

— Отчего ты к нам не пришел? — спросил Муцаффар. — Ведь ты пострадал за то, что водился с нами. Мы должны защитить тебя. Не унывай.

— Я надеялся еще где-нибудь получить работу, — сказал Ратан, — и решил, что если наведуось к вам, это разнесут сейчас же по всем фабрикам, и у меня уже не останется никаких шансов.

— Почему бы не пойти к Чимта сахибу? — вставил Муну, жадно прислушивавшийся к этому разговору и взволнованный знаменательным визитом представителей «Красного флага».

— О нет, об этом и речи не может быть, — сказал Сауда, сделав отрицательный жест. — Неужели все оскорбления, которые вы терпите, не в силах пробудить вас от спячки? Неужели все испытанные вами унижения не заставляют вас возмутиться? Говорю вам, довольно им угнетать вас и выжимать из вас пот, терзать и уродовать вашу жизнь!

— Это-то верно, — сказал Хари, ссутулившись и кивая головой.

— Посмотрите, в каких комнатах вы живете, — продолжал Сауда. — Разве тут есть место для всех вас? Тысячи из вас рады жить и в этих домах, и даже в крытых соломой хижинах, без мощеных дорог, без дворов для детей, без садов. Сколько вы можете так протянуть? Самое большее — полгода, затем вы вернетесь в деревню, чтобы умереть. А ваши дети, которые работают за одну анну? Их увечат машины, они никогда не вырастут! Неужели же вы не проснетесь? Не опомнитесь?

— Не надо обижаться на сахиба, — сказал Муцаффар, деликатно смягчая горечь слов Сауды. — Сахиб говорит любя! Он и сам из бедноты. И он знает закон, каким можно уничтожить бедность, если вы этому закону научитесь.

— Он даст вашим детям школы, — сказал англичанин.

— Не только школы, — продолжал Сауда.— Вам нужна пища. Это ваши руки сучат хлопок и ткнут пряжу. В деревне ваши руки возделывают землю, которая родит хлопок. И ваши братья сеют рожь и снимают жатву под горящим солнцем, они строят дороги, работают в шахтах и на плантациях. Богатый хозяин отнимает у вас все, что вы производите, и увозит в Вилайт, а вам бросает жалкую подачку, которой вам едва хватает, чтобы заплатить за квартиру, купить пищу и одеться или разделаться с долгами. Некоторое время вы работаете, потом уезжаете умирать на родину, а на ваше место приходят другие. Или же вас уносит эпидемия холеры. Ну, скажите же мне, разве вы довольны своей жизнью, что позволяете хозяевам так обращаться с вами?

— Нет, — сказал Ратан, — клянусь божеством, нет!

— Но что же мы можем сделать? — спросил один из кули, пришедших к Ратану. — Вы умный человек и похожи на сахиба. Поэтому вы можете бороться с другими сахибами, а кто мы, чтобы протестовать?

— Вы? люди, — отвечал Сауда с гневом. — Разве вы забыли свой иззат? Где ваша гордость? Разве вы позволите кому-нибудь сорвать с вашей головы тюрбан?

— Нет, — отозвались кули.

— Ну, так куда же делась ваша верность иззату? Где ваше достоинство? Где ваше мужество?

— Я человек, я мужчина, — ударил себя Ратан в грудь.

— Поэтому-то тебя и уволили,—сказал Муну. — Ты слишком гордишься тем, что ты борец!

Все рассмеялись, и атмосфера стала менее напряженной. Тогда заговорил Хари, уныло пожимая плечами:

— На кого-нибудь все равно надо работать, не на Чимта сахиба, так на другого.

— Да, да, работать нужно, — подхватил Сауда. — Работать хорошо, но вы гнете спину по одиннадцать часов и получаете нищенскую плату. А если вы будете исполнять то, о чем я говорю вам, — и ваш рабочий день сократится и плата повысится.

— Что же надо делать, сахиб? — спросил Хари.

— Бросьте работу все, все до одного, — сказал Сауда, — и отказывайтесь работать до тех пор, пока рабочий день не будет сокращен и заработная плата повышена, пока вашим детям не будут даны школы и новые дома.

— Бастуйте, — спокойно сказал англичанин.

— И буду, — сказал Ратан.

— Ты уже бастуешь, — заметил Муну.

Остальные кули молчали. Они знали, что работают как невольники, что медленно умирают от голода, но они думали также о текущих нуждах во время стачки, о пище, которая понадобится их детям, о собственном голоде. Им было страшно. И они повесили головы.

— Обдумайте то, о чем мы вам говорили, — сказал Муцаффар рассудительно. — А пока, брат Ратан, приходи все-таки завтра к нам, посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать.

— Салям, сахибы, — сказали кули.

— Салям, салям, салям, — ответили три коммуниста и стали спускаться с лестницы.

Муну был охвачен восторженным волнением.

Сауда, Муцаффар и Джексон убедили председателя Всеиндийской федерации профсоюзов переговорить с сэром Джорджем Уайтом относительно Ратана. Было послано письмо, в котором предлагалось принять его обратно на фабрику.

Письмо пришло вместе с сотней других; здесь были извещения о тюках сырья, лежащих на железнодорожных складах, о машинах, полученных из Англии, заказы на готовые ткани, предложения по ремонту, запросы о ценах и образцах и, самое важное — корреспонденция самого сэра Уайта.

Директор, мистер Литтл, так поспешно бросился разбирать почту, что запутался. Он не знал, с чего начать. От всех этих «уважаемый сэр», «дорогой сэр», «что касается ста тюков хлопка, которые не доставлены», «благодарим заранее...» у него мутилось в голове и глаза беспомощно перебегали с извещения железнодорожной конторы, написанного жирными черными буквами на алой бумаге, к ордерам с рваными краями фабрики Джамсетджи Джиджибхой и к украшенной коронкой почтовой бумаге сэра Реджинальда Уайта.

Мистер Литтл был нетерпелив от природы. Влажный зной Бомбея, постоянно вызывавший на лице испарину, мало способствовал укреплению его нервов. Сидя в этот день в своей конторе, он то посматривал вверх

на электрическое опахало под потолком, то ерошил волосы, то перебирал бумаги. Хорошо бы сейчас хватить виски. Но долг призвал его.

Он склонился над столом и потянулся к папкам, где лежали наскоро рассортированные письма. Прежде всего — просмотреть приказы сэра Реджинальда.

— Скрувалла! — позвал он.

Вошел клерк — молодой индус в белом английском костюме и ладьевидном головном уборе по последней индусской моде; этим убором он надеялся примирить свое национальное достоинство с пристрастием к европейскому платью. Его бронзовое лицо выражало боязнь: он никогда не чувствовал себя просто с белыми людьми с того самого дня, как один европеец пнул его ногой на углу Хорнбийской дороги за то, что он с детским любопытством и восхищением рассматривал его, сахиба.

— Ради бога, сядьте! Когда вы так стоите, у меня ноги сводит!

— Да, сэр. — пробормотал клерк, его нижняя губа дрогнула, глаза вспыхнули стыдом и страхом.

— Пишите!

Клерк бесшумно присел на железный стул за уголок широкого письменного стола. Струи прохлады, посылаемые опахалом, приятно освежали его разгоряченную кожу.

— Очнитесь! — рявкнул мистер Литтл так неожиданно, что клерк задрожал и отпрянул, словно его ударили.

— Очнитесь! — повторил мистер Литтл, стараясь сдержать свой голос, так как клерк был, видимо, напуган до полусмерти. — Начи-

найте, — продолжал он. — Наверху напишите:
ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

В это мгновение на нос мистеру Литтлу села муха. Он смахнул ее. Едва, однако, открыл он рот, чтобы продолжать, как она села опять.

— Лалкака! — крикнул он.

— Хузур, — послушно ответил голос, и из-за бамбуковых ширм, стыдливо ограждавших контору от взгляда непосвященных, вышел рассыльный мальчик-парс.

— Возьми хлопущку и убей вон ту муху, когда она сядет.

— Да, хузур, — отозвался Лалкака и поднял трость, к которой была приделана кожаная подушечка в виде сердца.

— Скрувалла, — обратился сахиб к клерку, — пишите.

Клерк опустил кончик карандаша на бумагу.

— *...Ввиду застоя в промышленности и кризиса в денежном обращении, — начал диктовать мистер Литтл медленно, вразумительно, закатив глаза к потолку и надувая щеки, — совет директоров вынужден заявить следующее: чтобы, с одной стороны, не закрывать фабрик, а с другой — сократить издержки, фабрики немедленно переводятся на неполное рабочее время впредь до особого распоряжения. Фабрики не работают четвертую неделю каждого месяца. Оплачиваться эта неделя не будет. Однако, заботясь о благосостоянии рабочих, совет санкционировал выдачу вспомоществования. Данное распоряжение вступает в силу с 10 мая с. г.*

(Подпись) Председатель сэра Реджинальд Уайт, баронет. Фабрики сэра Джорджа Уайта.

Но только что мистер Литтл собрался прослушать, по своему обыкновению, продиктованный им приказ, как муха села ему на лоб.

И Лалкака тут же ударил сахиба хлопнушкой по лбу, приняв сердитое движение его бровей за разрешение покончить с мухой даже при этих условиях.

— Идиот проклятый! Чортов идиот! — заорал мистер Литтл и судорожно взвился со стула, растирая правой рукой лоб, а левой беспомощно жестикулируя. Он, вероятно, не замедлил бы пинком ноги вышвырнуть мальчика из комнаты, если бы неожиданно не раздалась заводная металлическая трель телефона: — Терр... терр... терр... ер... терр...

— Хэлло, хэлло, — сказал мистер Литтл, вырывая трубку у клерка. — Фабрики сэра Джорджа Уйата, — подтвердил он; его лицо казалось лиловым от злости, на лбу, там, куда ударила хлопнушка, пылало багровое пятно. — Да, о, да, сэр Реджинальд... само собой... само собой!.. Я только что продиктовал приказ... Я сейчас вызову Джимми и вручу ему... да, да, само собой... само собой... вы... а когда прикажете ожидать вас?.. Перед завтраком? Хорошо, сэр Реджинальд, до свиданья, сэр Реджинальд, до свиданья... да... ничего... жарко... Ну, так, значит, мы ждем вас немедленно... до свиданья...

— Позови сюда сахиба старшего мастера... — обратился он к Лалкаке, который стоял у двери, онемев от ужаса.

Тот выбежал, но сейчас же вернулся.

— Хузур, сахиб сам идет сюда.

— Хэлло, Джимми, доброе утро. Начиная с

той недели фабрики переходят на неполное рабочее время.

— Чорт бы их взял, всех этих черномазых, — сказал Джимми. — Стаканчик?

— На буфете! Клянусь богом, я тоже пить хочу! Пффу.

— Ну, как? — спросил Джимми, вытирая лысину и наливая себе виски.

— Скрувалла перепечатывает приказ. Последите за тем, чтобы кули прочли его, только когда Реджи уже уедет, — сказал мистер Литтл. — Вы знаете, ведь среди них всякого сорта фанатики найдутся.

— Нет, единственного фанатика я вышвырнул, — успокоительно заметил Джимми. — Этот тип работал раньше металлистом. Задастся очень и на пропаганду красных податлив. И знаете, отличный работник, но не можем же мы допустить, чтобы среди рабочих разгуливала такая зараза!

— О, сегодня Всеиндийская федерация профсоюзов предложила мне принять его обратно. Я собирался расспросить вас о нем, — сказал Литтл. — Эти свиньи сейчас же поднимают историю. И почему правительство не примет меры...

— У них теперь две фракции, — пояснил Джимми, крутя ус. — Старая федерация профсоюзов во главе с Онкар Натом и союз «Красного флага», его недавно организовал какой-то Джексон, из Манчестера.

Литтл вскипел: — Всех бы их к стенке и расстрелять всю эту сволочь, до одного!

Резкое кряканье автомобильного рожка, раздавшееся у ворот фабрики, прервало разглаговольствования Литтла. Он суетливо выбежал

из конторы. Джимми снял очки, приподнял бамбуковую штору и, одергивая костюм, вышел на веранду.

— Доброе утро, Джимми, доброе утро, Литтл, — сказал сэр Реджинальд, вылезая из автомобиля, дверцу которого перед ним распахнул шофер-англичанин в ливрее. Баронет был маленьким, круглым, как мячик, человечком в сюртуке. У него было обветренное лицо, испещренное малиновыми жилками.

— Ну что, Джимми, вывесили и объяснили приказ?

— Нет, сэр, сейчас собираемся вывесить. — отвечал старший мастер, стоя перед хозяином с непокрытой головой, которую нещадно припекало солнце.

— Я бы попросил вашу жену все-таки надеть что-нибудь на себя, — заметил сэр Реджинальд, косясь на бунгало мастера, возле которого стояла миссис Томас в одном халате, с интересом наблюдая редкое зрелище — приезд сэра Реджинальда на фабрику.

Джимми вспыхнул, посмотрел на свое бунгало, разозлился, затем виновато поднял глаза на сэра Реджинальда.

— Так вот, Литтл, — засюсюкал сэр Реджинальд сквозь вставные зубы, направляясь к конторе, где Лалкака поднял штору, открывая вход для великого человека и для мух.

— Так вот, видите ли, совет директоров получил весьма тревожные вести относительно кризиса денежного обращения «дома». И вот, имея в виду интересы компании не только здесь, но и на джутовых фабриках в Калькутте и в коях Мадраса и желая предохранить пайщиков от потерь, мы и вынуждены принять

это печальное решение. Я жду известий по прямому проводу с Клайв-стрит, чтобы знать, в каком положении дело, но вы сами понимаете, если кризис.. словом..

— Клиенты задерживают оплату по счетам, сэр Реджинальд, — прервал его Литтл, — но я думаю, у нас все в порядке. Заказы прошлого месяца были очень выгодны. Конечно, давит японская конкуренция..

— Я еду с делегацией к вице-королю, и мы будем рекомендовать высокий тариф на японские товары, — сказал сэр Реджинальд. — Правительство прекрасно отдает себе отчет в создавшемся положении. Лорд Уолверхэмптон искусный дипломат, в духе лучших дизраэлевских традиций, а Болдуин человек благоразумный. Британия должна достроить Сингапурскую базу и сделать плаванье по Индийскому океану безопасным для наших судов. Вся беда в том, что эти индусы становятся все более непокорными, а тут еще и «дома», знаете ли, социалисты.. Все это очень сложно и с Ландсбэри, и с Ганди. Вы слышали, что компания Джамсетджи Джиджибхой перекупила заводы Стивенсона? Таким образом, Индия оказывается заинтересованной в текстильной промышленности на семьдесят пять, а мы на двадцать пять процентов. Перспективы неважные, однако, — продолжал он, вынимая часы, — все зависит от того.. о, как бы мне не опоздать.. Вы мне пришлете счета, Литтл, не правда ли? — Он обернулся, директор поднял штору, и сэр Реджинальд удалился, шаркая и бормоча: «До свидания, до свидания», — словно в приступе рассеянности позабыв обо всех окружающих.

Заслышав, что вводится неполное рабочее время, кули из всех цехов стекались на фабричный двор. Они жестикулировали за спиной у Чимта сахиба. При виде того, как завернул за угол длинный черный лакированный «даймлер», они метнулись к нему, смутно сознавая, что хозяин фабрики произнес над ними приговор и спешит удрать. Они упали бы, сложив руки, к его ногам, если бы автомобиль не улизнул. Тогда они бросились к Чимта сахибу и стали молить его и заклинать, чтобы он не вводил неполный рабочий месяц.

Чимта сахиб бранился и заявил, что ударит каждого черномазого, который осмелится подойти к нему или тронет его своей грязной ладонью.

Они умоляли, плакали, стонали, они протягивали сложенные руки и расprostирались перед ним, им казалось, что он все же божество, хозяин, который может спасти их и погубить. Чимта сахиб, наконец, бежал под сень своего бунгало. Надир Кхан разогнал толпу.

В этот день кули, работавшие на фабрике сэра Джорджа Уайта, расползались по задворкам фабрики, словно тени.

Они были оглушены сегодняшним приказом, отнимавшим у них единственную их привилегию — труд; это была поистине привилегия, так как она означала заработную плату, лишение же ее — голодную смерть! А они хотели работать. Они готовы были делать все, что угодно, — очищать волокно, стоять у станков, заметать хлопковый сор и пыль, способствовать превращению волокна в пряжу. Словом,

любую работу, только бы получать регулярно хоть какую-то плату, пусть даже с вычетами процентов за долги, штрафов за брак, комиссионных старшему мастеру, и только бы этой платы хватило домовладельцу за квартиру да на рис и чечевицу. Но переходить на неполное рабочее время...

Казалось, что они вдруг все умерли, что крошечная искорка жизни, побуждавшая их к произвольным движениям, вдруг погасла, и теперь это была странная раса людских существ — иссохших, сморщенных, с плоскими ступнями, изможденными лицами, впалым животом и впалыми глазами. Их горе, казалось, перешло все пределы, и вот они смирились и стали ко всему равнодушны.

Солнце бросало гневные взгляды на фабричные трубы, а на унылом пустыре перед бунгало, занимаемым Всеиндийской федерацией профсоюзов, собиралась огромная толпа. Силуэты кули, ожидавших ораторов, отбрасывали на землю четкие тени. Шопот этих людей, охваченных страхом и надеждой, нарастал волнами. Громкий окрик кого-то из администрации, прозвучавший в самой гуще толпы, поднялся над ней, кружа слозно коршун или ворон. Возглас: «Долой сокращение оплаты» — взмыл в сияющий воздух и повис в небе словно певчая птица — трепетным нарастанием бесчисленных голосов, воплем нищеты и несчастья, символом, в котором звучал плач всех этих обитателей окраин, их хилых новорожденных младенцев, их малышей с раздутыми животами, их юношей, обезображенных оспой и болячками, изнуренных солитером, их стариков, не знавших молодости, их женщин, всегда отяго-

щенных бременем неродившихся детей, их ковыляющих зловонных старух с отвислыми ртами...

— Долой, долой Юнион-Джэк! ¹ Да здравствует, да здравствует Красный флаг! — крикнуло разом несколько голосов, и вся толпа затихла на миг, как затихают вечером буйные травы тропической страны при первой электрической трели кузнечика.

Ненависть и месть, скрытые в этом лозунге, затронули струны их душ, и вот уже их лица запылали и вспышки жаркого пламени вырвались из глаз и затрепетали на губах.

— Настало тяжелое время, — сказал иссохший старик рабочий, словно извлекая слова из глубины своей груди.

— Верно, — согласился другой, средних лет, — как жить в такое время?

— Восстать против сокращения заработной платы! — заявил юноша.

— Да, — заметил старик, — нынешняя молодежь никого не уважает.

— Дедушка, — возразил юноша, — я ведь складываю перед тобою руки каждое утро, правда? Но я не буду расprostираться перед главным сахибом, который ездит в автомобиле. Он катит себе в машине, а я плетусь пешком, по пыльной дороге, под жгучим солнцем. А потом он объявляет неполное рабочее время.

— Худой хозяин, это верно, — согласился рабочий средних лет. — У моих детей башмаков нет. А девочка вчера напоролась на стекло, и врач говорит, что придется ногу отнимать.

— Англичане думают, что мы будем голо-

¹ Юнион-Джэк — английский флаг.

дать на их подачки, а они будут себе любезничать со своими дамочками, — насмешливо заметил юноша.

Затем, продолжая уже серьезным тоном: — Но ведь мы члены союза. Что союз предпримет?

Его слова подхватили.

— Тихо, — заявил Ратан, вставая. — Сейчас перед вами выступит Онкар Нат, председатель союза. А затем Сауда сахиб, Мишта Муцаффар и Джексон сахиб от Красного флага. Председатель, председатель, иди сюда, председатель!

— Иди сюда, председатель! — подхватил и Муну призыв своего героя.

— Председатель, председатель, — раздалось в толпе.

Лала Онкар Нат, холеный и тщательно одетый человек в куртке из домотканого шелка и в шелковом дхоти, поднялся на эстраду.

Ему могло быть лет около сорока, но он преждевременно поседел, и его глаза в теиях морщин резко чернели из-за круглых черепаховых очков.

Его нижняя губа кривилась насмешливой и высокомерной улыбкой по адресу всех и каждого, кроме него самого, а бритое лоснящееся лицо носило на себе как бы отпечаток всего, что произошло с ним после его пребывания в Оксфорде. Приняв программу социалистов, он надеялся обрести славу, полагая, что или Ганди, или правительство щедро оплатит его мудрую политику компромиссов. Однако просчитался. И вот теперь он снова погрузился в лоно древней и почтенной матери-Индии и

ополчился против всего, чему когда-то служил в Англии, хотя он и утверждал, что пытается сочетать великие миссии Востока и Запада, воскрешая древнеиндийское понимание Труда и Капитала.

— ...Братья, — сказал он с достоинством, которое не произвело никакого впечатления.

— А как насчет стачки, председатель? — крикнул Ратан, стоявший недалеко от эстрады.

— Это он не захотел тебя принять, когда тебя выбросили с фабрики? — спросил Муну, дернув Ратана за рубаху.

— Да, — ответил Ратан, тихонько сжимая руку мальчика. — Ну так как же все-таки, председатель?

— Ратан, брат, сядь, — сказал Муцаффар.

— Ладно, — отозвался Ратан и сел.

— Братья, — начал опять Онкар Нат. — Во все времена квалифицированные и неквалифицированные рабочие, организованные и неорганизованные были необходимыми участниками в создании богатств. Еще старая Индия понимала ту роль, которую играет рабочий в экономике страны, и те проблемы, которые возникают из взаимоотношений между работодателем и рабочим; древняя мудрость недаром говорит: редко бывает работнику дан справедливый хозяин, но и работник редко бывает верным, разумным и правдивым слугой...

— А что все-таки думает предпринять союз по поводу сокращения заработной платы? — прервал его Ратан, который никак не мог забыть обиды, нанесенной ему председателем.

— Только недобросовестный хозяин обманет ожидания своих рабочих, или не выплатив им заработной платы, или задержав ее, — про-

должал председатель в академической манере своих предков.

— Только недобросовестный рабочий будет требовать платы, не кончив работы; и плох тот хозяин, который не заплатит рабочему то, что ему причитается.

— Скажи лучше относительно стачки, — крикнул кто-то в толпе.

Председатель еще высокомерно скривил рот:

— Всеиндийская федерация профсоюзов решила вступить в переговоры с руководящими властями.

— Вы вели переговоры и в Джамшедпуре, однако ничего не вышло! — крикнул Ратан, высунувшись из толпы.

— Сядь, — приказал председатель. — Не прерывай. Бомбейские фабриканты благоразумные люди. Бесплезно обострять положение опрометчивыми действиями. Я за переговоры. По улицам Бомбея бродят тысячи безработных, да мы и не в праве объявить стачку без санкции Индийского национального конгресса и не посоветовавшись с Махатмой Ганди.

— С конгрессом или без конгресса, а мы на неполное рабочее время не пойдём! — крикнуло несколько голосов.

— Тише! — приказал председатель. — Что сделало английский рабочий класс таким сильным и сплоченным? Только организация. До моего приезда в Индии не было никаких профсоюзов. Никто о них и не слышал. Я немало потрудился для вас, и я хочу, чтобы вы послушались моего совета и поступили разумно. Хозяева дают вам работу. Они вам не враги. Если они решили сократить число рабочих

дней, вы должны вести себя прилично и организовано. Союз действует в ваших интересах. Он действует также в общих интересах — предпринимателей и рабочих. Вы должны иметь доверие к союзу и к тем методам, какими он добивается сотрудничества между трудом и капиталом. Вы должны верить мне и исполнительному комитету.

— Братья! — вдруг загремел Сауда, вскакивая на эстраду и отстранив председателя. — Члены исполнительного комитета здесь! И я тоже член! Мы немедленно должны решить этот вопрос. Лала Онкар Нат слишком верит хозяевам. Он говорит, будто предприниматели нам не враги. Вам, конечно, известно, что и нашими друзьями их не назовешь. Непроходимая пропасть отделяет хозяев, эксплуататоров, от вас, эксплуатируемых!

— Вот это правда! Вот это правда! — раздался голоса.

— Они разбойники, они воры, они грабители, и они живут в роскошных бунгало на Малабарском холме на те деньги, которые вы зарабатываете для них вашим потом, — продолжал Сауда. — Они едят пять раз в день и катаются в роскошных роллс-ройсах!

— А вы бесприютные, вы голодные, вы прядильщики и ткачи, уборщики пыли и грязи; вы рабочие, вы трудящиеся, миллионы безвестных, с утра и до вечера гнущие спину у станков! Вы кули, черные люди, вы жалкие нищие, вы живете в вонючих пригородах, по двадцать человек в развалившихся хибарках, на ваших костях нет мяса, и вы одеты в рубище. А мой друг Онкар Нат все еще уверяет, что у вас с хозяевами общие интересы!

— Верно! Верно, Сауда сахиб! — гремел Ратан.

Муну почувствовал, как в нем вспыхнула кровь от страстных слов Сауды.

— Лала Онкар Нат, — продолжал Сауда, — очень богатый человек. И никогда коварный демон бедности не окунал его в сумрачные воды этого ада, где вас жалят скорпионы голода, где пиявки высасывают из вас кровь и жирные акулы пожирают вас. Многие ли из вас не в кабале у старшего мастера? Многим ли из вас не мстили наемники капиталистов? Вот брат наш Ратан, отличный работник, и многие другие уволены без всякой вины — просто оттого, что не захотели платить мастеру комиссионные. Кого из вас тот же взяточник и ростовщик не прижимал и за воротами фабрики и даже на самой фабрике в платежный день? Вы благодарны ему, что он не требует сразу всей суммы и милостиво довольствуется процентами. Но разве вы не видите, что даже маленькая сумма, которую вы занимаете у мастера, превращается через несколько месяцев в огромный долг, так что, в конце концов, приходится отдавать ему все ваше жалованье, и вам уже не на что жить? А когда вы не можете выплатить ни взятых денег, ни процентов, так как ничего не зарабатываете, вас выбрасывают вон и обрекают на голод и нищету. О, когда же вы, наконец, поймете, когда убедитесь, что были в течение долгих веков жертвами хищников и вымогателей?

Муну пожирал глазами Сауду и старался не пропустить ни одного слова.

— В мире есть только два сорта людей — богатые и бедные, — продолжал Сауда, — и

между ними ничего общего быть не может. Богатые и могущественные, великолепные и почитаемые, чей избыток построен на грабеже и открытом мошенничестве, вызывают восторг и уважение всего мира и сами себя они уважают, а вы, бедные и смиренные, вы, кроткие и робкие, хотя вы и несчастны, лишенные своих прав, разбитые душой и телом, — вас никто не уважает и вы сами себя не уважаете.

Муну вспомнил, что давно, еще когда он был слугой в Шам-Нагаре, у него возникали такие же мысли о богатых и бедных. Но он не умел их высказать, как Сауда сахиб.

— Так вставайте же, вставайте для борьбы за свои права, вставайте за справедливость! Поднимись, пугливое стадо! Вставай и борись! Вставайте и будьте людьми и не ползайте обратно на фабрику, как черви! Вставайте за свою жизнь, не то они всех вас раздавят и уничтожат! Вставайте и следуйте за мной! С завтрашнего дня вы начинаете стачку, а мы будем выплачивать вам пособие, чтобы вы могли бороться с хозяевами. А теперь поднимитесь с земли и повторите за мной ваши требования.

Он смолк. Вся толпа встала, охваченная торжественным волнением.

Тогда он начал:

— Мы люди, а не бездушные машины.

И толпа повторила за ним.

— Мы требуем работы и отмены взяток.

— Мы требуем чистых жилищ.

— Мы требуем, чтобы у наших детей были школы и ясли.

— Мы хотим быть квалифицированными рабочими.

— Мы требуем освободить нас от кабалы ростовщиков.

— Мы требуем повышения заработной платы, а не пособия.

— Мы требуем сокращения рабочего дня.

— Мы требуем гарантий, чтобы мастер не смел выбрасывать нас по своей прихоти.

— Мы требуем, чтобы наши организации были признаны законом.

Слова декларации возносились над толпой. Сначала это были простые, неуклюжие слова, рождавшиеся с трудом, похожие на отрывистое бормотание детей в школе. Затем хриплые гортани этих людей напряглись, чтобы отразить ритм голоса Сауды, звучавшего словно гонг, и, к концу, неясный лепет вырос в страстные вопли, казалось способные свергнуть даже солнце с края небес.

Воцарилась тишина. В толпе стояли шорох и шелест, слышны были длительные вздохи этих набирающих воздух, разъятых черных ртов, а в глубоких водах этих глаз появился даже отблеск радостной улыбки. На мгновение можно было расслышать влажное шуршанье ветра в полевых и болотных травах.

И вдруг где-то, у самого края толпы, раздался отчаянный, нарастающий крик. Чей-то голос отрывисто твердил: — Украли, украли, моего сына украли! Что мне делать? Этот человек говорит, что моего сына украли!

— Украли, украли... — пронеслось в толпе как подводное течение. — Эти звери, эти наглецы мусульмане воруют индусских детей...

Все смолкли.

— Что это значит? — закричал Сауда. — Что случилось?

Ответом был только жалобный вой одного из кули, дикий, полный отчаяния, напоминавший завывание гиены.

По толпе прошла дрожь ужаса и ненависти. — Идите домой! Идите домой! Это наши враги пытаются лживыми слухами вызвать панику! — кричал Сауда. — Не выходите завтра на работу! Вы получите от союза пособие. И соберемся здесь завтра все на демонстрацию!

— Но ведь похищен индусский ребенок, сахиб, индусский ребенок, — повторил чей-то голос.

— Не один; несколько детей, — поддержал другой голос.

— Злодеи! Убийцы! От этой мусульманской сволочи совсем житья не стало. Они оскорбляют нашу религию, свиньи! Мерзавцы! Мы их проучим! — слышались яростные возгласы.

— Расходитесь по домам! — кричал Сауда. — Мы обещаем проверить это.

— Нет, нет, мы с ними расправимся! Мало им наших денег, они взяли за наших детей!

— Молчите, безумные! — закричал Ратан, вспрыгивая на эстраду. — Я буду драться за вас и ваших детей, но вернитесь сначала домой и узнайте, правда ли это!

— Вы—черномазые! Вы—чечевичники! Вы—индусы! Мы покажем вам, как оскорблять нашу религию! — раздалось в дальнем углу пустыря, и над толпой уже замелькали руки, срывавшие тюрбаны и наносившие удары.

Муну подбежал к Ратану и, дрожа, вцепился в его одежду. Когда он оглянулся вокруг, он увидел, как в водовороте толпы люди мечутся, охваченные ужасом и растерянностью. Он стоял молча, потрясенный, а перед ним

теснились сотни задыхающихся тел, напирали со всех сторон, выкрикивали брань и проклятия: это была преисподняя, озаренная одним только криком: «Крадут детей!» Он вдруг забыл бодрящую мелодию «Песни требований», он почувствовал вокруг пагубную атмосферу разрушения, которую создавали эти угрожающие жесты, эти сверкающие глаза и истерические вскрики...

Вдоль края толпы замелькали мундиры полицейских, размахивавших дубинками.

— Украли! Украли! Хай! Отродье борова! Язычники! Вот, получите!

— Иди домой, — сказал Ратан Муну и, высвободив край своей одежды из его руки, нырнул в самую гущу толпы.

— О, Ратан! Ратан! — звал его Муну. Но голос мальчика затерялся среди неистовых криков.

Муну стоял на эстраде, продолжая звать Ратана. Сумерки быстро сгущались, а он все еще всматривался в медно-черные лица с белым оскалом зубов, надеясь отыскать хотя бы Хари.

— Ты кто, индус или магометанин? — вдруг услышал Муну грубый голос патана и увидел, как тот занес над ним топор.

Муну окаменел. Казалось, над ним склонилась неминуемая смерть. Он хотел вскрикнуть, его рот открылся, но он не издал ни звука. Веки опустились и поднялись. Колебание длилось один миг; он отскочил, и топор патана с треском обрушился на доски эстрады.

Муну продрался сквозь толпу бегущих людей и, наконец, попал в струю кули, спешивших прочь с майдана.

— Эти патаны уж не первый раз воруют детей у бедняков, — говорил один кули другому.

— Их науськивают хозяева, а саркары на все это смотрят сквозь пальцы, — заметил третий.

— Да, да, — подтвердил четвертый. — Патаны выкрадывают детей и увозят на автомобилях, а саркар не принимает никаких мер, чтобы прекратить это. Разве мы можем теперь оставлять наших детей без присмотра?

— Патаны ваши враги, — сказал какой-то профсоюзный работник. — В прошлом году, когда забастовали рабочие на нефтяных промыслах, хозяева наняли двести патанов. Они и сорвали стачку. Следовало бы их проучить.

— Пойдем, потребуем к ответу Сиди-Кхана, ростовщика, — предложил молодой кули. — Спустим с него спесь.

Муну свернул на пыльную дорогу в город, ища прикрытия возле каждого предмета, отбрасывавшего тень.

Ночь была безоблачна и прозрачна, она сходила с неба на землю, точно женщина под покрывалом, убранным звездами, раскинув над немилосердно раскаленной землей широкую юбку цвета темной морской воды.

Муну знал сокращенный путь на Дхоби Талло через поселенье неприкасаемых. Он свернул на боковую дорогу; пробираясь по лужам и грязи, он брел как потерянный, тщетно высматривая местечко, где бы можно было провести ночь.

Наконец город обступил его. В небе было тихо, но не на земле, не в городе Бомбее, с его переулками и переходами, хижинами и

теснились сотни задыхающихся тел, напирали со всех сторон, выкрикивали брань и проклятия: это была преисподняя, озаренная одним только криком: «Крадут детей!» Он вдруг забыл бодрящую мелодию «Песни требований», он почувствовал вокруг пагубную атмосферу разрушения, которую создавали эти угрожающие жесты, эти сверкающие глаза и истерические вскрики...

Вдоль края толпы замелькали мундиры полицейских, размахивавших дубинками.

— Украли! Украли! Хай! Отродье борова! Язычники! Вот, получите!

— Иди домой, — сказал Ратан Муну и, высвободив край своей одежды из его руки, нырнул в самую гущу толпы.

— О, Ратан! Ратан! — звал его Муну. Но голос мальчика затерялся среди неистовых криков.

Муну стоял на эстраде, продолжая звать Ратана. Сумерки быстро сгущались, а он все еще всматривался в медно-черные лица с белым оскалом зубов, надеясь отыскать хотя бы Хари.

— Ты кто, индус или магометанин? — вдруг услышал Муну грубый голос патана и увидел, как тот занес над ним топор.

Муну окаменел. Казалось, над ним склонилась неминуемая смерть. Он хотел вскрикнуть, его рот открылся, но он не издал ни звука. Веки опустились и поднялись. Колебание длилось один миг; он отскочил, и топор патана с треском обрушился на доски эстрады.

Муну продрался сквозь толпу бегущих людей и, наконец, попал в струю кули, спешивших прочь с майдана.

— Эти патаны уж не первый раз во-
руют детей у бедняков, — говорил один кули
другому.

— Их науськивают хозяева, а саркары на
все это смотрят сквозь пальцы, — заметил
третий.

— Да, да, — подтвердил четвертый. — Па-
таны выкрадывают детей и увозят на автомо-
билях, а саркар не принимает никаких мер,
чтобы прекратить это. Разве мы можем теперь
оставлять наших детей без присмотра?

— Патаны ваши враги, — сказал какой-то
профсоюзный работник. — В прошлом году,
когда забастовали рабочие на нефтяных про-
мыслах, хозяева наняли двести патанов. Они и
сорвали стачку. Следовало бы их проучить.

— Пойдем, потребуем к ответу Сиди-Кхана,
ростовщика, — предложил молодой кули. —
Спустим с него спесь.

Муну свернул на пыльную дорогу в город,
ища прикрытия возле каждого предмета, от-
брасывавшего тень.

Ночь была безоблачна и прозрачна, она схо-
дила с неба на землю, точно женщина под по-
крывалом, убранным звездами, раскинув над
немилосердно раскаленной землей широкую
юбку цвета темной морской воды.

Муну знал сокращенный путь на Дхоби Тал-
ло через поселенье неприкасаемых. Он свер-
нул на боковую дорогу; пробираясь по лужам
и грязи, он брел как потерянный, тщетно вы-
сматривая местечко, где бы можно было про-
вести ночь.

Наконец город обступил его. В небе было
тихо, но не на земле, не в городе Бомбее,
с его переулками и переходами, хижинами и

храмами, башнями, мавзолеями, учреждениями, — в этом городе контрастов, где среди благоухающей и пестрой роскоши богачей тянуло вонью пригоревшего сала с закоптелой сковородки бедняка, в этом мире роскоши и безделья, где все претензии на благопристойность кончались мерзостью и гнилью, облаками пыли, сеявшими эпидемии, где показная доброта хозяев выдавала себя болячками и уродством нищих. И этот Бомбей был сегодня отдан во власть хаоса.

Что же случилось? Муну не знал. Он прибежал сюда, спасаясь от беспорядков в фабричном поселке, воображая, что все звуки из мира фабрик, наконец, остались позади. Однако в воздухе стояли те же крики, но более грозные, так как им вторило эхо, посылаемое высокими стенами зданий вдали.

Переулком, где у дверей перешептывались люди, он пробрался на Бхенди-базар, там людские толпы катились волнами, стремясь к площади. Он присоединился к ним, хотя и держался края толпы. На этот раз он отнюдь не был захвачен чувствами, волновавшими всех этих людей, хотя его и интересовали причины, по которым они собрались. Вскоре он узнал эти причины.

На помосте появился низенький толстый человечек и завопил:

— О, братья мои, индусы! Проснитесь, бодрствуйте, если у вас есть матери и сестры! Выходите из ваших домов и прихватите с собой дубинку, так как наше правительство не принимает никаких мер против мусульман, которые убивают и бесчестят жен и детей наших братьев. Кроме того, правительство отдало

приказ стрелять, если соберутся вместе больше пяти человек. Мы должны быть готовы к самообороне, раз наше милостивое правительство отнимает у нас дубинки. Но отнять у них дубинки и ножи не желает. Что все это значит? Это значит, что мы должны храбро дать отпор вероломным магометанам! Долой...

Муну поднялся на ступеньки запертой лавки, чтобы видеть оратора. Но перед ним взвилась тяжелая балка и обрушилась на кричавший голос.

Раздались крики: — Хай! Хай! Убит! Прикончили!

Казалось, вся толпа заскрежетала зубами, кругом стоял смутный и грозный говор и бормотанье.

Затем снова раздались крики:

— Смерть мусульманам! Мстите! Грабьте! Жгите!

Толпа, колыхнувшись, двинулась на площадь и в соседнюю улицу Абдуль-Рахман.

Появился отряд, состоявший из десяти полицейских-индусов с дубинками под предводительством молодого английского офицера в лаки.

При виде офицера Муну сошел с крыльца и ускользнул в темноту. Он понимал, что безопаснее всего бежать в сторону, противоположную той, куда двигалась толпа, и направился на Сэндхэрст Род. Голова его шла кругом от волнения. Кровь стучала в виски. Перед глазами вновь пронеслось видение взвившейся в воздух балки. Внезапное исчезновение оратора с помоста означало смерть. И мрачное, напряженное молчание смерти словно все заслонило перед ним темной пеленой. Он что-то

пробормотал прерывающимся голосом, обращаясь к самому себе, и на его растерянном лице появилось жалобное выражение. Он продолжал идти словно в бреду, плохо сознавая, где находится. «Что это? Что же это такое?» — повторял он. И смотрел вдоль улицы, ища ответа. Но улица уставилась на него, ее дома, как фантастические скалы, стояли, прислонясь друг к другу, по обеим сторонам узкой мостовой; казалось, глаза огромных чудовищ смотрят изнутри густыми пятнами мрака, скопившегося под крышами веранд. Ему вспомнились горы Кангры и их ущелья с нависающими утесами, однажды оттолкнувшие его с такой же беспощадностью, когда он бродил по ним, ища затерявшуюся козу. И здесь, в глубоких пропастях между стенами запертых лавок и под аркадами, царил та же тишина, что и в чернейших горных ущельях; сходство еще усиливалось благодаря глухому эхо грозного шума где-то наверху, вдали, за стенами. Смерть опустилась на землю призрачными массивами мрака, она, как в кошмаре, то неслышно кралась где-то рядом, то внезапно, словно задышающиеся орды, мчалась сквозь время и пространство, в судороге неистовой ярости, подобно бесчисленным личинам сатаны, который гнал людей к гибели.

Муну задержал шаг, чтобы успокоиться и убедить себя, что он не во власти галлюцинаций и что он не трус. «Нет, нет. Я храбрый горец. Я сотни раз бродил один, проходил даже мимо могил и сжигаемых мертвецов, — бормотал он чтобы придать себе бодрости. — Чего мне бояться?.. Хотел бы я знать, где теперь Ратаи, что он делает? А Хари? Лакшами

и дети, верно, дома, может быть уже спят... Но я все-таки не жалею, что сейчас не с ними. Вот я ушел из фабричного поселка, и мне не хочется туда возвращаться. Отчего это?» Внезапно чей-то вскрик пронзил сердце мрака, стоявшего перед ним пугающими очертаниями гигантского трупа. Громкие голоса тревожно зывали: «Аллах-о-акбар!» — Муну пустился бежать. Пробегая мимо базара, он увидел старика, который мчался во весь дух, заплетаясь тощими ногами и путаясь в лохмотьях, а за ним гнался громадный патан. Муну замер, вглядываясь в эту страшную пару. Появились еще двое магометан с кольями и набросились на старика. Он пискнул, как цыпленок, преследуемый псами, и забормотал: «Рам ре Рам! Смерть пришла!» Великан, бежавший за ним, ударил его в спину колом и крикнул: «Получай, язычник! Получай, сын Эблиса!» Старик охнул, застонал и тупо стукнулся о мостовую.

Наступила трагическая тишина. Муну бросился бежать, сам не зная куда, и ветер, дувший с той улицы, к которой он бежал, казался ему хриплым шопотом мусульманских заговорщиков, с длинными ножами и рапирами преследовавших его, жертву. Но никто не трогал его, и он бежал и бежал, легко и быстро, пока ему в уши не ударил целый ураган звуков, а в глаза не метнулось пламя пожара, — горел огромный дом, огонь лизал самое небо и освещал мир ураганом яростных красок — красной, золотой и сине-черной.

— Это дом Мэлджи-Мадхарджи, где кондитерская, его подожгли патаны. Не ходи туда, убьют, — сказал купец-гуджерати; он

стоял в дверях своего дома, положив одну руку на дверную скобу, а другую на плечо своего друга, которого старался удержать.

Муну услышал его слова и посмотрел вокруг, ища какого-нибудь местечка перед запёртыми на болты дверями лавок или ступеньки на лестнице, ведущей в дом, где бы он мог провести ночь в безопасности.

Но тут он услышал снова крики магометап: «Аллах-о-акбар!», вырывавшиеся, казалось, прямо из огня, а затем топот ног, бежавших в его сторону.

Он метнулся в какой-то проход, который вел к оперному театру; его остановили вопли женщины; она стояла, перегнувшись через перила своей веранды, била себя в грудь, рвала на себе волосы и причитала: — Где ты, сын мой? О, где ты? Как мне разыскать тебя?

Муну не решился подойти; вдруг ей покажется, что он хочет напасть на нее. Он посмотрел в другую сторону, нельзя ли вернуться туда, откуда он пришел. Нет: мусульмане мародерствовали и бесчинствовали по всей улице, крича: «Аллах-о-акбар!» — высаживали двери домов прикладами винтовок и кольями, размахивали кинжалами. Ему казалось, что он вступил в долину смерти. Но с той улицы, на которую он собирался выйти, уже приближались отряды полицейских, — беззвучно, так как хотели захватить мародеров врасплох. Муну спрятался в дверях какой-то лавки: увидев его, полицейский мог ударить его прикладом. Смерть казалась мальчику такой же неминуемой, как минуту назад. Однако люди в синих мундирах пробежали мимо, и даже женщина исчезла с веранды. Он перевел дух и по-

полз дальше, прижимаясь к стенам, озираясь во все стороны, не замечает ли его кто-нибудь.

Когда он, наконец, достиг конца проулка, ему захотелось оглянуться на то, что делалось позади. Между патанами и полицейскими шел настоящий рукопашный бой. Занятый зрелищем этого боя и падавших навзничь людей, он не заметил, как очутился на широкой площади перед оперным театром, где столкнулись два потока сражающихся. И тут он попал в самый водоворот.

Под яростные, отрывистые возгласы «Аллах-о-акбар» и «Кали май ки джай, Шива джи ки джай!» — тела индусов и магометан сплетались в смертельном объятии. «Мар! Мар! Ударь! тогда увидишь!» — вызывающе вопил чей-то голос, и вдруг смолк от удара кинжалом, словно сник, и раненый, с выкриком: «Убили!» — затих навсегда.

— Отродье осла! Язычники! — разносились в теплом густом мраке возгласы победителей.

«Ну, теперь меня убьют наверняка», — решил Муну, пробираясь в тени трамвая, который стоял в конце площади. Вдруг его схватила за шиворот костлявая рука и кто-то ударил в спину. Он упал.

Подняв глаза, он увидел магометанина, прислонившегося к трамваю; Муну инстинктивно закрыл глаза и ослабил все мышцы, чтобы придать себе вид трупа. Мусульманин пнул его ногой, презрительно пробормотал: «Индусская собака», — и ушел прочь.

Площадь скоро опустела. Патаны ушли, крича и топая; на миг стало совершенно тихо.

Но вот морской ветер, дувший с набережной Чаупати, стал приводить в чувство ране-

ных, замелькали пугливые тени, они выползли из неведомых закоулков и таяли в ночной темноте.

Муну открыл глаза и увидел по ту сторону трамвайных рельсов цветник в форме треугольника, окруженный железной решеткой. Он решил спрятаться там в кустах.

Но когда он оперся локтем о землю, собираясь встать, он услышал чьи-то предсмертные хрипы, и что-то лязгнуло, словно на камни упал топор. Муну с мукой прислушивался к судорожным стонам умирающего. Бежать в этом направлении было, видимо, невозможно. Он снова лег на спину и стал ждать, затаив дыхание, последнего стона умирающего.

Муну хотелось подойти к этому человеку. Но его тело от страха словно налилось свинцом, голова поникла, глаза полузакрылись, он очень устал от ожидания в темноте и долго лежал покорно, не двигаясь.

Вдруг снова раздались шаги людей. Казалось, они приближаются со всех сторон. «Неужели это все-таки конец?» — подумал Муну. Ответа не последовало. Он лежал, прижавшись к земле, ожидая, что вот-вот настанет последняя минута; о прошлом некогда было подумать, и жар желаний уже, казалось, покинул его тело.

Но это была не смерть. Два члена лиги общественной помощи подняли его и отнесли шагов за сто в безопасное место, на веранду какой-то школы.

Муну предусмотрительно закрыл глаза, чтобы придать себе вид нуждающегося в помощи, хотя отлично сознавал все, что происходило с ним. А как хотел бы он быть без сознания!

Как хотел бы, чтобы его действительно ранили или убили. Слишком нестерпима была боль, медлительной и тягучей пыткой сотрясавшая его пылающий мозг, словно бесконечный гул набата. И она мучила и мучила его, угашая все проблески иных ощущений и сжигая последние скудные запасы нервной энергии, оставшиеся в нем после этих месяцев работы на фабрике, так что, под конец, он казался себе просто световой точкой в пространстве, бездумно освещающей разнообразные эпизоды этой адской ночи.

Волонтеры лиги общественной помощи положили его на цыновку. Их фонари осветили толпившихся на школьной террасе нищих, оборванцев и кули, подобранных с улиц, где они обычно ночевали.

Врач, напомнивший Муну брата шам-нагарского бабу, так как на нем был европейский костюм и шляпа, спросил, где у него болит. Муну отрицательно покачал головой: он лежал в полной прострации. Доктор осмотрел его, что-то написал на бумажке и пошел дальше.

Волонтер лиги поднес к его губам чашку, Муну приподнялся и стал пить с робостью и благодарностью. Горячее сладкое молоко снова вызвало румянец на его щеки.

Если бы он сейчас заснул, то, быть может, встал бы наутро отдохнувший, и его силы восстановились бы. Но он открыл глаза и смотрел вокруг.

На веранде было темно. Шопот бедняков повисал в душном воздухе как густые комья хлопка.

Муну приоткрыл рот, чтобы что-то сказать самому себе; но струя нестерпимого вонючего

воздуха судорогой отвращения свела ему губы. Он решил дышать носом. Но и так вонь вызывала тошноту. Нет, надо уходить отсюда! Лучше переночевать на берегу моря. Там есть палатки, они всю ночь пустуют. Он видел их. Только бы никто не опередил его.

Он встал и направился к выходу. Никто не обратил на него внимания. Дверь была напротив, в нее все время входили и выходили люди. Вышел и он.

До набережной предстояло пробежать шагов триста. «А меня не убьют?» Но он не стал ждать и раздумывать. Он только пробормотал: «Пусть будет что будет, я хоть отсюда вырвусь». И фигуры этих людей, оставшихся там, еще долго маячили в его сознании, странным образом переплетаясь с воспоминаниями о нем самом, когда он шел босиком по горячему песку дороги в Шам-Нагар или когда бесцельно скитался по улицам Даулатпура и Бомбея. Тут он пустился бежать, и быстрое движение его тела вытеснило восприятие пространства и времени, вытеснило ужасы этого дня — они остались в душе как цепь долгих-долгих минут опасности и бесприютности; это чувство опасности и бесприютности все заслонило — и хаос плача и криков, и жесты грубо хватающих рук, и даже шорох бесчисленных волн, набегающих на далекие скалы.

Он несся, словно был огненной ракетой, которую может потушить только море. Он не чувствовал своего тела. Как вихрь промчался он мимо высоких строений за мостом Чаупати.

Тут он увидел соломенный фургон под джутовым навесом. Муну знал, что он служит днем палаткой, где продаются кокосовые оре-

хи. Он замедлил шаг, задыхаясь, и подошел к фургону. Мраморная статуя Тилака¹ казалась маленькой и ничтожной на фоне водного пространства, где волны шипели, как змеи, и выплевывали пену яда на берега Индии. Он влез в повозку. Места было хоть отбавляй. Он растянулся на полу. Вольный шум океана погрузил его в сон.

Когда он поздним утром проснулся, то не знал, куда идти, что делать и чего хочет душа его.

Ларек открывался только после полудня, никто не появлялся и не беспокоил его.

Он сидел и смотрел на солнечные лучи, заливавшие его жилище, и вслушивался в несмолкаемый рев моря за джутовой занавеской. Ночь была холодной, и он продрог на рассвете. Но сейчас становилось тепло, даже жарко. Как здесь можно было бы отдохнуть, если бы не пустота в душе и в желудке!

Он пытался утешить себя: разве он не заслужил этот отдых после долгих месяцев вставанья на заре? Ведь так жил он когда-то в деревне, бездельничая в полуденные часы и успевая вздремнуть, пока паслась скотина. Зеленые пастбища моря и в самом деле напоминали ему свободные просторы широких полей.

Однако привычка ходить по утрам на фабрику развила в нем уважение к труду. Он почувствовал укоры совести. Надо было встать и что-то делать, все равно что.

Но что же именно? Куда идти? «Чего я хо-

¹ Тилак (1856—1920) — первый представитель современного национального движения Индии, который выдвинул задачу свержения колониального господства англичан.

чу?» — снова вопрошал он себя. И ответ был: «Не знаю».

Всегда он испытывал подобное состояние, когда бывал всеми покинут; иногда и на людях, окруженный суетой.

В те дни, однако, когда он работал и приходил домой только поесть, он редко испытывал чувство одиночества, даже если был изнурен работой, а условия жизни не давали возможности отдохнуть. Но он говорил с людьми, слышал, как они разговаривают друг с другом. Он шутил с ними и смеялся, затем ложился спать, а на рассвете снова шел работать. Это была жизнь! Теперь же глубокое одиночество души, чувство покинутости, оторванности, которые он преодолевал работой, участием в жизни других людей, врожденной любовью к людям, это одиночество отягощалось еще тем, что он не имел ни работы, ни пищи, ни цели в жизни.

Вдруг ему пришло на ум, что всегда, стоит ему начать двигаться, действовать, как появляется и выход. Так, например, когда он убежал из Шам-Нагара, он встретил Прабху; затем — циркового служителя, который привез его в Бомбей; Хари; и он, наверное, не встретил бы Ратана, не попади он в Бомбей. «Но ведь я долгие дни, месяцы, годы работал и странствовал один... Все-таки надо вернуться на фабрику и узнать, что там делается».

Он встряхнулся, потянулся, зевнул, вскочил на ноги и спрыгнул с фургона.

Берег был пустынен, только рыбаки тянули сети.

Он дошел до моста Чаупати, и перед ним развернулась панорама зеленых, белых и крас-

ных домов, разбросанных по низким склонам Малабарского холма.

Казалось, здесь течет обычная жизнь, ничто не напоминало о событиях минувшей ночи. Мимо проносились автомобили, коляски, велосипеды. Пестрели вывески.

Когда он дошел до Парекха, он увидел кули — мужчин и женщин, таскавших корзины с землей из какой-то лавки и грузивших их на повозку, запряженную двумя волами. На перекрестке стоял полицейский.

Муну остановился, рассеянно глядя на волов. У них были извилистые рога, они жевали солому и терпеливо ждали, равнодушные к мухам, облепывавшим их шеи, где от постоянного трения ярма образовались ссадины.

Магазины еще не открывались, но люди быстро шли по мостовой, в одной руке держа зонтик, другой подобрав полы одежды, изпод которых мелькали их голые смуглые ноги. Муну смотрел на них до тех пор, пока ему не стало казаться, что он видит повсюду одни только ноги, ноги, ноги.

«Что ж это такое? — недоумевал он.—Разве с ночной историей покончено?» Все в это утро оказалось на своих местах.

«Нет, — мысленно продолжал он, — быть этого не может». Ему почудилось, что эти люди в заговоре против него, что все они проходят мимо, неся в себе тайну вчерашней резни.

Он жаждал поговорить с кем-нибудь, кто бы знал о событиях.

Только ворона села перед ним на подоконник, ища, чего бы поклевать.

Муну смотрел перед собой. Голова его была пуста.

Вдруг он увидел, что полицейский на углу разговаривает с богатым парсом.

Муну подошел к ним и, подражая нищим, стал собирать опавшие листья неподалеку от повозки с волами.

— По сведениям, которыми располагает полиция, — говорил констебль парсу, — слухи о похищении ребенка лишены основания. И полиция пыталась широко оповестить об этом, чтобы успокоить население. Но в фабричных поселках и в самом городе произошли крупные беспорядки, и понадобился весь состав полиции, включая и вооруженные отряды, чтобы сдержать беспокойные элементы. Хотя и имел место ряд насилий, саркар не вызывал войска. Полиция сама блестяще справилась со своей задачей. Сегодня в городе уже спокойнее. Кули вернулись на работу в железнодорожные мастерские и на фабрики. Видите, на улице нормальное движение.

Муну почувствовал приступ добросовестности: «Надо и мне вернуться на работу. Ведь фабрики открылись. Значит, стачка не состоялась. Харн, вероятно, пошел. Пойду и я», — решил он.

Но едва он сделал несколько шагов, как увидел двух волонтеров конгресса¹; они озабоченно беседовали с человеком в европейском костюме, время от времени заносившим что-то в записную книжку. Муну остановился, трях-

¹ Волонтеры конгресса — организация молодежи, созданная Индийским Национальным конгрессом. Волонтеры поддерживают порядок во время демонстраций и собраний Национального конгресса, пикетируют лавки во время кампаний бойкота английских товаров и исполняют функции агитационного характера.

нул ногой, как будто от боли, присел и стал посыпать пылью большой палец, делая вид, что зашиб его.

— В семь тридцать утра, — диктовал один из волонтеров, — Алв и другие рабочие лидеры шли с магометанином по имени Рахим в чайную на улице Супарибанг, чтобы как-то договориться с патанами. Вдруг неизвестный патан ударил Алва по лицу. Через полчаса собралась толпа в три-четыре тысячи рабочих, вооруженных дубинками, намеревавшихся напасть в отместку на патанов. Отряд вооруженных полицейских заступился за патанов, оказывая им явную помощь. Большая часть толпы повернула обратно, но некоторые зашли в контору профсоюза, которая помещается в Домодар-Текерси-Холл. Начальник полиции вызвал войска. В настоящий момент по городу разбросаны отряды Варвикшайрского полка с пулеметами, а министр внутренних дел запросил у Пунской бригады подкреплений. Ганди пригласили на заседание индусских и мусульманских лидеров вот сюда, в дом мистера Бирла...

В эту минуту подъехал лимузин, и внимание волонтеров обратилось к вышедшему из него высокому широкоплечему человеку. Сановник был одет с царственной роскошью, в одежду, отделанную каракульчой и затканную рубиновыми полумесяцами.

— Банде матрам, — приветствовала его стража.

Муну не знал, кто это, но был живо заинтересован.

— Что смотрят Ганди и Патель? — воскликнул сановник. — Что смотрит правительство и

полиция? Что смотрят только что избранные члены корпорации? Всю ночь индусы убивали патанов, а конгресс ничего не предпринял, чтобы помешать этому! Ведь если бы мисс Майо¹ приехала в Индию и написала о детях, похищенных для ритуальных целей, разве вы бы не стали опровергать это как злостную клевету?

Волонтеры конгресса молчали. Но журналист с блокнотом вылез вперед и спросил:

— Считаете ли вы положение таковым, Маулана Шаукат Али², что дело разрастется во всеиндийский конфликт между индусами и мусульманами?

— Конечно, разрастется, — отвечал Маулана. — Мы хотим организовать магометан для самозащиты, — возбужденно продолжал он.

— Махатмаджи уже образует комитет для мирных переговоров, — заметил один из волонтеров.

— Он вечно толкует о мире, — сказал Маулана. — Говорит о мире и понимает войну. А тем временем индусские хулиганы из Кальбадеви убили триста мусульман сегодня утром, и пятьдесят чиновников с магометанских фабрик подверглись нападению. Я только что из больницы имени короля Эдуарда. Раненых магометан там больше, чем индусов.

¹ Екатерина Майо — автор книги «Мать Индия», написанной по прямому заданию колониальных властей. В этой книге утверждается, что население Индии находится во власти варварских суеверий и обычаев и потому недостойно демократических прав.

² Маулана Шаукат Али и брат его Мухаммед — главари мусульманского движения в Индии.

— Ну, саяям, Маулана, — сказал журналист, ретируясь.

— Не печатайте интервью, — крикнул ему вслед Маулана. Но велосипед журналиста был уже далеко.

Подъехал еще автомобиль.

Из него вышел другой сановник и приветствовал лидера магометан и волонтеров конгресса. Но магометанин, казалось, не обратил на него никакого внимания и вошел в дом, скорее похожий на дворец. Приехавший сановник в безукоризненно белом каддаре последовал за ним. Волонтеры стали объяснять шоферам, куда отъехать.

Дверь этого дома словно притягивала к себе Муну. Он воспользовался отсутствием волонтеров, подошел ближе и заглянул внутрь. Но увидел только длинный ряд натертых до блеска ступеней, которые вели на крышу дома.

— Пошел прочь! Что тебе тут нужно? — крикнул один из волонтеров, возвращаясь на свой пост у дверей.

Муну вздрогнул, словно застигнутый на месте преступления, и побежал дальше.

Но через два шага его словно пригвоздила к земле трескотня выстрелов в стороне Бхенли-базара. Однако никого не было видно. Вдруг показались бегущие люди, раненые валялись друг на друга, вскрикивали. Муну не понимал, что это косят людей пулеметы. Его голова опустела.

За ним снова раздалось стрекотанье выстрелов.

Он видел, как на Малабарском холме колыхнутся пальмы. Он побежал туда, побуждаемый странной уверенностью в том, что на вер-

шинах гор безопасно, и это как будто подтверждалось: вокруг стоявших там бунгало, видимо, царило полное спокойствие. Выстрелы прекратились, но тревожный шум не стихал. Когда Муну добежал до конца дороги, он увидел, что начинается подъем, и догадался, что это и есть та гора, на которую он смотрел издали. Сюда шум уже не доносился.

Солнце жгло, и тени почти не было. Муну ослабел от голода и усталости. Казалось, тело уже не принадлежит ему, оно отказывалось идти дальше. «Что со мной? — спрашивал он себя. — Куда делась моя сила?» Но ответа не было.

Затем он вспомнил о людях, падавших за-мертво позади него. Вероятно, их убила полиция и солдаты. Родные и друзья будут оплакивать их. Ему тоже их жалко. Никогда не ощущал он смерти так близко, как в эти сутки. Впервые в жизни понял он, как беспощадна жизнь.

Но он не проклинал своей судьбы. Он был рожден для деятельности, и его неистощимая энергия преодолевала все препятствия. Возможность иметь пищу каждый день уже казалась ему счастьем. Влюбленный в жизнь, он живо отзывался на каждое чувство и впечатление. Он все еще с наивной радостью ребенка восхищался такими ловушками цивилизации, как сапоги, часы, соломенные шляпы, костюмы.

Муну искал глазами один из тех ларьков на колесах, какие попадаются на каждом шагу в европейских кварталах индусских городов и где для слуг сахибов продается жареная вика и дешевые сласти. Не увидев ни одного, маль-

чик продолжал утомленно брести по длинной аллее, окаймленной пальмами, листья которых плавно покачивал ветер. Слева расстиралось море, справа, на выступе Малабарского холма, выстроились, словно неприступные крепости, бунгало богачей. Над его головой благоухали висячие сады; а под погами развевалась панорама острова и Бомбейского порта.

По ту сторону дороги, окруженное двойным поясом деревьев и увитое плющом, стояло бунгало. Муну почувствовал робость: в снисходительном самодовольстве его квадратного фасада было что-то оскорбительное, надменное. Муну отвел глаза и, остановившись посреди дороги, посмотрел вниз, на остров, лежавший у его ног.

Перед ним открывался изумительный вид: в лазури моря, сквозь дымчатую мглу далекого горизонта смутно проступали леса мачт и парусов, раздуваемых неуловимым ветром. На переднем плане пестрела беспорядочная груда городских строений, осененных пальмами, а заросшие лианами скалы сторожили бухту, покоившуюся как жемчужина в раковине перламутрового тумана. Город, бухта, море у его ног — все это было овеяно какой-то неземной красотой.

Внезапно раздался вой автомобильного клаксона. Муну не успел отскочить, и чья-то машина сбила его с ног. Он откатился под уклон, инстинктивно стараясь, чтобы автомобиль не задел его, но передние колеса все же проехали по его груди, и только тогда шофер остановился.

— Ах, какая неприятность! — воскликнула миссис Мейнуоринг. — И как раз в тот день,

когда я приехала «из дому»! Сначала беспорядки, потом эта катастрофа! Надеюсь, он не убит! Покажите! — Она приложила руку к сердцу Муну и провела по его лбу уверенным жестом женщины, которая прошла курс первой помощи при политехникуме на Риджент-стрит. — Пульс хороший, — продолжала она, — он просто оглушен.

— О, мамуся, что же нам делать с ним? — воскликнула маленькая Цирцея Мейнуоринг.

— Возьмем его в автомобиль, — сказала миссис Мейнуоринг. — Если кто-нибудь увидит его, нас убьют камнями. Ты не представляешь себе, какие это хулиганы! Шофер, возьмите его в машину. Мы увезем его с собой в Симлу. Мне как раз нужен слуга.

Шофер повиновался.

— Заберите в Тадже багаж, — скомандовала миссис Мейнуоринг, — и едем как можно скорее. Только не через город, а в объезд, по Колабасской дороге, надо успеть к завтраку в Бароде.

Глава пятая

Муну пришел в себя еще до того, как автомобиль, в котором миссис Мейнуоринг ехала в Симлу, миновал предместья Бомбея.

Когда «шевроле» прогудел, подъезжая к станции в Бароде, он уже мог держаться на ногах.

А в течение роскошного и спокойного двухдневного путешествия в Калку мальчик как будто совсем оправился. На самом же деле его физическое и душевное здоровье было подорвано. Когда он думал о тех условиях, в кото-

рых жил, о напряженности борьбы, о тщетности бунта, волны которого не устояли перед гранитными твердынями собственности и привилегий, когда он вспоминал Ратана, Хари, Лакшами и резню, он чувствовал, что потерпел поражение, что ему больно, горько, что он уже старик.

Но для миссис Мейнуоринг он не был стариком, иначе она пренебрегла бы им и оставила лежать там, где нашла. Для миссис Мейнуоринг он не был ни стариком, ни человеком средних лет, ни даже одним из «этих грубых молодых людей». Для нее он был подростком с гибким, упругим телом, с узким нежным лицом и мечтательными глазами поэта. «Сколько тебе лет, мальчик?» — спросила она. — «Пятнадцать, мэмсахиб», — ответил он. И она посмотрела долгим взглядом темнокарих глаз в его темные глаза, уцепилась за его локоть игривым движением длинных тонких пальцев, погладила его лоб и, откинув желтовато-оливковое лицо и чувственно выпятив тонкие сжатые губы, улыбнулась ему и захихикала. Ибо пятнадцатилетний мальчик — это как раз то, что она хотела. Каким бы стариком Муну себя в душе ни чувствовал, это ее не интересовало, да она и не способна была бы его понять. Он был для нее мальчиком, слугой, каково она давно желала иметь, и она будет хорошо обращаться с ним, что было, впрочем, не трудно, так как природа наделила ее некоторой долей мягкосердечия.

Миссис Мейнуоринг принадлежала к старой англо-индусской семье, состоявшей из четырех братьев, которые служили наемными солдатами в Восточно-индийскую кампанию, во время

завоевания Индии англичанами. Ее дед, единственный из братьев оставшийся в живых, сражался во время Восстания в рядах Джона Никольсона; от прачки-мусульманки он имел сына — Вилльяма Смита, ставшего впоследствии отцом Мей. Вилльям Смит был сержантом одного из полков Монройской пехоты, состоявшего из евразийцев и содержавшегося на частные средства. При реорганизации индийской армии британским правительством в девяностых годах этот нерегулярный отряд был расформирован и солдат-авантюрист, сержант Смит, перешел на службу в местные войска. Зная, что белому человеку легче добиться высоких чинов, хотя и при меньшем жалованьи, в войсках Наваба в Цалимпаре, чем в британской индийской армии, он туда и поступил и дослужился до чина полковника. В Цалимпаре он женился на дочери машиниста-англичанина. Единственным плодом этого брака была Мей; жена полковника покинула мужа через год после рождения девочки, так как ожидала ребенка от кого-то другого.

В раннем детстве маленькую Мей воспитывала жена католического миссионера, затем ее отдали в монастырь Святого Сердца в Симле. Она росла среди дочерей английских чиновников, постоянно говоривших о том, как хорошо там, «дома», и в Мей развилось необычайно острое чувство своей расовой неполноценности. Она смутно знала, что имела предков-англичан только в четвертом поколении и что со стороны бабушки в ней есть индусская кровь, но утверждала, что тоже «чистокровная», соперничая в снобизме с другими детьми. Она придумала целую историю относительно

но поместий своих родителей в западной Ирландии и пыталась прикрыть смуглый цвет лица густым слоем пудры и кельтским происхождением. Однако самых надменных девочек ей не удалось убедить в чистоте своей крови; она чувствовала себя несчастной и бежала из школы в Цалимпар, одержимая мечтой поехать в Англию и, по возможности, отмыть свою смуглость добела. Она потребовала, чтобы отец отправил ее в челтенхэмский колледж для девиц, и между ними произошла бурная сцена. Однако стремление Мей стать «чистокровной белой», скрывавшееся под этим страстным желанием поехать в Европу, было удовлетворено гораздо проще: молодой фотограф немец, Генрих Ульмер, отлично зарабатывавший в Цалимпаре тем, что умел польстить тщеславию принцев и вельмож большими портретами в натуральную величину, влюбился именно в бронзовый цвет ее кожи, доставлявший ей столько забот. Мей убедила себя в том, что брак с чистокровным немцем — такой же способ узаконить ее принадлежность к «чистокровным», как и поездка в Челтенхэм.

На беду Мей, через два года после ее брака разразилась война, и немец был интернирован. У Мей уже была дочь от Генриха Ульмера, носившая романтическое имя Пенелопы, а вскоре родился и сын.

Некоторое время она оплакивала супруга. Однако она никогда не любила его по-настоящему, душой и телом, никогда по-настоящему не отдавалась ему. Хотя, — уж раз с невинностью было покончено, — она и превзошла его в физической страсти, но ее не переставал мучить страх греха: христианское воспитание

пустило в ней глубокие корни. Это привело ее к особой развращенности, тайной и лицемерной. Она отдавалась всем без разбору, по первому побуждению, причем впоследствии неизменно об этом сокрушалась.

Она испробовала свои женские чары на министре просвещения провинции Цалимпар и получила место учительницы в школе. Чтобы удержаться на нем, надо было угождать и другим мужчинам. Будучи хорошенькой и к тому же, одной из немногих эмансипированных женщин в стране, где женские лица скрыты от взоров мужчин покрывалом, она вызывала восхищение придворных, высоких чиновников и видных судей, как англичан, так и индусов. Так она стала доступной для всех мужчин, бродивших вокруг ее бунгало.

Ага Раца али шах, капитан-перс из армии Наваба, считавший себя до известной степени поэтом, тоже был пойман в сети ее черных кудрей. Он добился ее развода с Генрихом Ульмером и женился на ней. Он любил ее по-настоящему и дал бы ей счастье, — как любовник он был лучше всех, кого она знала, он был более культурен, чем Генрих и все эти напыщенные фаты из придворных кругов. К тому же хорош собой, высокий, полный сил и предприимчивости. Но на беду честолюбивое желание стать англичанкой начало в это время снова тревожить ее. Она дразнила и мучила капитана, посещая офицерские бараки и бунгало английского гарнизона в Цалимпаре. Однажды, в приступе ревности, Ага Раца али шах избил ее и вышвырнул из своего дома.

Особого горя она не почувствовала, так как в это время завела роман с молодым субалтер-

ном из полка королевских стрелков, чистокровным англичанином по имени Гью Мейнуоринг, гораздо моложе ее, почему ей и было легче втереть ему очки, чем более пожилым мужчинам. Она призналась ему, что ждет ребенка и, видимо, от него. Англичанин Гью Мейнуоринг был слишком джентльмен и рыцарь, чтобы не попасться на эту удочку.

У магометан получить развод очень легко. Она вышла за Гью и предложила ему провести медовый месяц «дома», то есть в Англии. Гью взял шестимесячный отпуск и поехал с ней и ее детьми в Лондон. Тут она подарила ему девочку с более темной кожей, чем Гью мог ожидать. Ему, кроме того, казалось, что и похожа девочка больше на капитана Раца али шаха, чем на него, подозрение, которое подтвердила сама Мей, когда однажды, в приливе самоуничижения, разрыдавшись, призналась в своей «вине». Родители Гью Мейнуоринга, которые немало гордились своей принадлежностью к голубокровному, чистокровному английскому среднему классу, узнав о браке сына, не пожелали его видеть. Гью был одинок, он был несчастен. В своей беспомощности он, как дитя у матери, искал утешения в объятьях Мей. Унаследовав вместе с голубой кровью традиционную английскую привычку убегать от действительности, он спрятал голову, словно страус, решив не думать о жизни и только выполнять свой долг. Он надеялся как-нибудь со всем этим справиться, но понимал, что никогда не взглянет в лицо фактам, касающимся Мей, как бы шепетилен ни был в других отношениях.

Мей настаивала на том, чтобы остаться «до-

ма», в этом раю, которого она столько лет домогалась. Отпуск Гью кончился, и ему предстояло вернуться к своему полку в Пешавар на северо-западной границе Индии. Под тем предлогом, что она хочет получить в политехникуме диплом учительницы и побыть с детьми, перед тем как отдать их в среднюю школу, Мей с ним не поехала.

И Гью, этот молодой безумец, опять попался на удочку. Его преследовали воспоминания о невыразимом блаженстве, испытанном им в объятиях Мей. Он стал ее рабом, прощал ей всякий каприз, всякую причуду, всякую прихоть. Он отказался в ее пользу от половины своего жалованья и положил на ее имя половину состояния, полученного после матери, которая внезапно скончалась, огорченная тем, что он так загубил себя. Из Пешавара, где он сражался с момандскими туземными племенами и охранял границы английской империи, Гью писал Мей самые нежные, сентиментальные письма.

Мей самоотверженно трудилась, стараясь овладеть духовным наследием своей расы, посещая кино, театры, бары и ночные клубы. Она жила в Бейсуотере, ее принимали вернувшиеся в Англию англо-индусы, доживавшие свой век в пансионах этого района, утратившие связь как с Индией, так и с собственным народом; среди них она почувствовала себя совсем «чистокровной». Когда она окончательно уверилась в этом, она сочла необходимым приобщиться к подлинно европейской культуре; ведь у англо-индусов не было ничего за душой: они обрели весь мир, но взамен утратили себя. Юный поэт, польщенный тем, что она

восхищается его писаниями, увез ее с собой в Богемию, чего она, собственно, и добивалась. В каждой рифмованной строфе она видела гениальную поэму, а в каждой фотографии — гениальный портрет. Она спала с любым стихоплетом и рисовальщиком, обратившим на нее внимание. Но так как она неустанно трещала о дешевых голливудских фильмах и оставалась мещанкой в своем снобизме, — они скоро уставали от нее и бросали, решив, что она дура.

Гью писал ей регулярно, умоляя вернуться в Индию. Она продолжала ссылаться на необходимость быть с Пенелопой, Ральфом и бэби. Затем, когда этот предлог уже утратил свою убедительность, она, в минуту раздумья, вспомнила, как добр был к ней Гью, и снизошла до того, что согласилась на год вернуться в Индию с бэби, отдав старших детей в закрытую школу.

Но стояло лето, и она заявила, что не выносит зноя равнин и не может жить в Пешаваре. Тогда он снял ей квартиру в Симле, близ Аннандала. И вот он жарился на равнине, а она ехала с Муну и младшей девочкой в резиденцию индийского правительства. Гью надеялся вырваться на две недели в отпуск и провести его с ней в горах. Ее это не интересовало.

Муну разглядывал мэмсахиб с затаенным восхищением; все его существо трепетало. Ни одна белая женщина, да и ни одна женщина вообще, не снисходила до того, чтобы так на него посматривать. Правда, в нем вызывала смутное томление девочка Шейла в Шам-Нагаре, ему было приятно сидеть на коленях жены Прабхи, а с Лакшами он познал любовь, но

дразнящие, обещающие и кокетливые улыбки этой мэмсахиб будили в нем что-то совсем иное.

Разумеется, он, в своем простодушии, ни о чем не помышлял. Полуиспуганный, стоял он на пороге новой жизни, поздравляя себя с удачей и стараясь угадать, кроется ли в фамильярности мэмсахиб более глубокий смысл, или это просто доброта.

Они доехали до Калки у подножия Гималаев. Миссис Мейнуоринг ушла завтракать на вокзал. Ожидая во дворе с шофером-мусульманином, Муну любовался на близкие хребты; у него была врожденная любовь к горным высотам.

Крутые склоны вырастали прямо перед ним, одетые прохладной густой зеленью, пронизанной хрустальными отзвуками маленьких водопадов. Весенний воздух был свеж, и солнце вставало здесь так же, как оно вставало над раскаленными недоступными утесами Кангры; но над Гималаями быстро неслись пушистые облака и, зацепившись за их пики, повисали как огромные хлопья ваты.

Пришла мэмсахиб и засуетилась, приводя в порядок свой туалет: теряла сумку, находила ее, теряла булавку, не находила, старалась заставить маленькую Цирцею слушаться и впадала в отчаяние оттого, что та все убегает; здесь — покупала фрукты, там — конфеты, поручала Муну сделать сотню дел на платформе, где английские солдаты, исполняющие роль полиции, посвистывали ей вслед, смущая ее; предавалась каким-то воспоминаниям со старичком начальником станции, которого знала раньше, расхаживала вдоль готового к отправ-

ке узенького игрушечного поезда, битком набитого англичанами, туземными клерками, лавочниками, горцами и багажом, нервно приказывала шоферу заpastись достаточным количеством бензина, чтобы хватило на те пятьдесят миль, которые им предстояло еще проехать...

Наконец автомобиль, делая крутые виражи, понесся дальше, по удивительной горной дороге, опоясывавшей причудливыми зигзагами горы и гранитные утесы и показавшейся Муну чудом совершенства.

Сейчас он больше ничего не требовал от жизни, особенно после того как мэмсахиб собственными руками дала ему несколько яблок, бананов и конфет. Он буквально пожирал ландшафты яркими карими глазами, в которых жила ненасытная жажда видеть и знать.

Особенное восхищение вызвал в нем маленький, словно игрушечный поезд, стоявший у платформы в Калке, и то, как поезд затем взбирался на чудовищную высоту, отдуваясь и пыхтя, точно малыш, который учится ходить, и как он проползал сквозь длинные туннели и поднимался кругами все выше и выше, не отставая от автомобиля, хотя, казалось, шел очень медленно. Муну жалел, что они едут не в поезде, и восхищение Цирцеи этой занятой игрушкой невольно заражало и его детское сердце.

Крытые соломой домики, разбросанные по склонам, напомнили ему родные места, и ему почудилось, будто он только вчера покинул деревню в горной долине; развалины крепости, черневшие на дальнем пике, были точь-в-точь разрушенный храм близ Хамирпура, а сердитые ручьи, прокладывавшие себе путь через

толщу гор, довершали иллюзию. Взором памяти он увидел себя взбирающимся по отвесным тропкам и спускающимся в пропасти, и ему казалось, что он снова вспахивает ярусы поля, перед тем как засеять их ячменем или пшеницей; словом — он начинал чувствовать себя в родной стихии.

По мере того как автомобиль поднимался все выше, воздух становился холоднее и резче, на пологих склонах стали появляться кедры и дедары, и иллюзия родины рассеялась. Базар-Солон в современном стиле, с магазинами готового платья, с ресторанами и отелем, где миссис Мейнуоринг остановилась отдохнуть и выпить чаю, пробудил в нем ряд новых мыслей. Будь такой базар в его деревне — он бы и не думал обо всех этих больших городах.

Бесконечные цепи гор, далекие-далекие снеговые пики, нерушимость скалистых хребтов вызывали в нем то же чувство, как и в детстве, то же желание сказать, что бог, верно, ужасный глупец, если, облегчившись, наделал горы, горы и горы, и, помочившись, напрудил реки, широкие-широкие реки.

Впрочем, особенно смеяться над богом он не решался, ибо видел немало кули и горцев, которые плелись в Симлу пешком, согнувшись до земли под мешками с провизией, а он, спасибо Всемогущему, удобно ехал в автомобиле. Было так приятно мчаться мимо домов и деревьев, коней и людей, выше, все выше, к заоблачным вершинам.

И когда «шевроле» проехал мимо неприступного замка, — миссис Мейнуоринг указала на него дочери, пояснив, что это резиденция вице-короля, — мимо безжизненного массива

правительственных учреждений, мимо бунгало и хижин, разбросанных на широком плато, и Муну увидел себя затем спокойно и уверенно стоящим возле автомобиля, а вокруг сновали кули, вымаливая право донести багаж прибывших пассажиров, и когда рикша отвезла его в Аннандал, он почувствовал себя счастливым.

Должность слуги у мэмсахиб была для Муну вступлением в новую полосу жизни. Его обязанности не были точно определены. Он находился в постоянном распоряжении своей хозяйки, исполняя все, чего бы эта лэди ни пожелала в любую минуту. Однако, невзирая на все многообразие этих обязанностей, его жизнь в Бхуджи-хоус потекла по раз и навсегда проторенному руслу.

Он ночевал с поваром Ала Дадом в одной из темных комнатшек флигеля для слуг, служившей им двоим и кухней, и спальней, и жилой комнатой. Старик будил его на рассвете. Муну разводил огонь в примитивном очаге и ставил воду для чая мэмсахиб. Сам Ала Дад сидел, поглаживая белую бороду, и курил кальян, перед тем как отправиться в уборную.

Муну поспешно готовил чай, показывал поднос с прибором Ала Даду, чтобы тот проверил, все ли в порядке, и нес его в спальню мэмсахиб.

Цирцея уже была на ногах и бегала по дому в пижаме, требуя завтрак.

Миссис Мейнуоринг, которая ложилась во втором и третьем часу, бранила дочь за то, что та не дает ей спать, и торопила ее умываться и чистить зубы: иначе она не получит

завтрака. Но девочка была упряма и своевольна и требовала постоянного внимания к себе, так что миссис Мейнуоринг, выведенная, наконец, из терпения, давала ей шлепок и отсылала на некоторое время к слугам. Сама же набрасывала поверх пижамы и ночной рубашки грязную черную юбку и красный джемпер для поло и, углубившись в «Зеленую шляпу» Майкель Арлена, попивала чай.

В это утро Муну, как и всегда, принялся за уборку гостиной и веранды, чистил мебель и ковры, мел полы, а она, поглядывая на него, спрашивала себя, о чем он думает и думает ли вообще. Ей очень хотелось позвать его и поговорить. Но ведь он был только слугой. Что за мысли приходят ей в голову? Вместе с тем, она, конечно же, как Айрис Сторм у Майкеля Арлена — загадочная натура. Людям никогда не понять, размышляла она, как женщина может отдаваться через любовь, ненависть, жалость, нежность, шаловливость и сотнями других способов. «Кто имеет право осудить меня? Отчего не могу я отдаться этому мальчику?» Стройные очертания его тела, порывистые вспышки движений волновали какие-то тайные струны ее существа. А тут этот воздух Симлы, который будит желания.. Поднявшись, она принялась бродить по спальне, стала расчесывать длинные черные волосы с преждевременной сединой, пудриться и краситься.

Муну, интересовавшийся тайнами ее туалета, неслышно скользил по комнате, прибирая то одно, то другое, но держась все время в некотором отдалении от нее.

Сердце миссис Мейнуоринг трепетало от

пылких желаний, и, чтобы отвлечь себя, она усердно занялась своим туалетом.

— Принеси мне ножницы, — сказал она сурово, стараясь подавить охватывавшую ее нежность к этому подростку.

— Да, мэмсахиб, — ответил Муну и побежал исполнять приказание.

Когда он вернулся, она вместе с ножницами схватила и его руку, которая, как она знала, была грязной после уборки.

— Ах ты, неряха, взгляни на свои лапы! А ногти! Ты, наверно, целый год не стриг их! Пойди, вымой руки, я приведу тебе в порядок ногти!

Муну охотно исполнил приказание: он видел, как она накануне делала себе маникюр какими-то очень интересными пилками, которые хранились в бархатной коробке.

Мей занялась его руками; прикосновения мэмсахиб были мягки, она улыбалась ему; небрежно обнажив перед ним правую ногу, она взмахнула шелковым платком и обдала его запахом одеколона. Затем посмотрела на него странно вспыхнувшим взглядом и, заканчивая маникюр, заявила:

— Красавец мальчик! Прелестный мальчик! Теперь тебе надо только жену!

Муну улыбнулся, охваченный влюбленным трепетом. Он словно опьянел от ее кокетливых движений. Опустив голову, чтобы скрыть свои чувства, и все же не в силах справиться с вспыхнувшим в его крови пожаром, он вдруг упал к ее ногам, плача и целуя их. Она резко оттолкнула его и закричала:

— Какая наглость! Какая дерзость! Займись делом! Иди работать! Пора завтракать...

Муну убежал в комнату для слуг, он чувствовал себя страшно виноватым, не знал, как теперь покажется мэмсахиб на глаза. Но показаться пришлось, так как завтрак был готов. Цирцея еще больше смутила его, спросив, когда он накрывал на стол:

— Ты плакал? Мама побила тебя?

Все же он забыл о своем огорчении во время этого завтрака, который за последние три года стал торжественным ритуалом в хозяйстве миссис Мейнуоринг, где бы она ни жила.

Он начинался в восемь и кончался в двенадцать и в половине первого. Весь завтрак протекал по предписанию врача. Ибо миссис Мейнуоринг была перед тем больна, очень больна, у нее нашли камни в мочевом пузыре. Хирурги трех лондонских больниц рекомендовали вырезать камни. Но она отнюдь не была уверена, действительно ли в ней сидят эти камни, и она вовсе не желала, чтобы у нее вырезали что-нибудь в ее организме, хотя и уверяла, что готова отсечь всю нижнюю часть тела: ей слишком отвратительно все то, к чему бог эту часть тела предназначил.

Все же, считая себя больной и не желая оперироваться, она отправилась к доктору Стивенсону, лечившему пищевым режимом. Он, конечно, заявил, что все эти пилюли и микстуры, которыми ее пичкают в больницах, — сущий яд, и он вылечит ее своим методом в один день. «Ешьте больше фруктов, — сказал он, — ешьте каждое утро яблоки, персики, виноград и по восьми очищенных миндалин. Но ни в коем случае не апельсины. Выполняйте каждое утро мои предписания, и вы будете здоровы». Мей отличалась чрезвы-

чайной впечатлительностью, и если ею овладевала какая-нибудь идея или намерение, она превращала их в закон для себя и других.

Диета пошла ей на пользу, так как она до того постоянно объедалась. Отпущенное меню ее утреннего завтрака состояло из яблок, груш, винограда, миндаля. Смакуя фрукты, она уже чувствовала себя здоровой, хотя на самом деле и не болела вовсе, а только вообразила себя несчастной, беспомощной бедняжкой, чтобы друзья жалели ее и сочувствовали. Обильный завтрак из фруктов нравился ей главным образом потому, что за таким завтраком нельзя было спешить и он являлся одним из способов убить время. И вот она чистила яблоки, персики и даже виноград, медленно, бережно, со всякими предосторожностями, нагромождая кожуру на блюдечки, на тарелки и просто разбрасывая по столу, так что, в конце концов, на него смотреть было противно. Она завтракала в той же юбке и красном джемпере, являя собой картину крайней неряшливости. К концу завтрака бутылки с бранди и джином на буфете начинали соблазнять ее.

Сейчас же после аперитивов начинался лэнч.

Ибо повар Ала Дад отличался необычайной пунктуальностью. Он утверждал, что «точность до одной минуты» — в интересах самой мэмсахиб, хотя хитрый старик отлично понимал, что она в его интересах: если второй завтрак откладывался, хозяйка сама предлагала сделать закупки, она узнавала рыночные цены, и он лишался комиссионных, которые получал от различных торговцев. Жалования в тридцать рупий, которое ему платила хозяйка,

нехватало даже на то, чтобы прокормить жену и дочь и учить сына в школе. Из чего же откладывать про черный день, если не будет этих нескольких рупий за комиссию? Да и красть у богатых — не преступление: у этих сахибов пропасть денег, бедны только индусы.

Но эта мэмсахиб знала то, что ей не полагалось знать. Она «кали» (черная), она «нату» (туземка); настоящие сахибы не знают цен на рынке. Если бы он знал, что у сахиба Мейнинга черная мэм, он не взял бы этого места. Все же надо удержаться как можно дольше и посмотреть, многое ли она знает, ибо даже всезнающий не знает всего, что знает он.

— Пошлите мальчика за рикшей, — приказала миссис Мейнуоринг. — Мне нужно только трех кули, — продолжала она, — мальчик пойдет четвертым.

— Да, хузур, — поклонился Ала Дад, и его обычно тусклые глаза злобно блеснули.

Пока миссис Мейнуоринг одевалась, Муну и три нанятых им кули дожидались с рикшей у подъезда.

Как хорошо бы к рикше привязать мотор, мечтал мальчик: его отнюдь не привлекала перспектива тащить свою хозяйку в гору.

Но рикша — единственный вид экипажа, разрешенный в Симле, и только три властителя этой горы, их сиятельства вице-король Индии, командующий войсками и губернатор Пенджаба разъезжают в автомобилях или экипажах, запряженных лошадьми. Помимо этих лиц, каждому, будь он хоть махараджей или членом парламента, приходится довольствоваться рикшей, которую везут люди.

Когда Муну впервые тащил рикшу, он ис-

пытал немало затруднений. Хотя миссис Мейнуоринг не приходилось слышать о том, что этому делу надо учиться, Муну нашел, что здесь необходима большая сноровка.

Мохан, молодой кули, говорил ему, что возить рикшу — особое искусство и что оно приобретает только опытом. Он говорил, что надо развивать большую скорость и притом держать рикшу в равновесии, и что всегда нужно уметь найтись и не растеряться. Это особенно важно на поворотах и крутых спусках. Муну тогда не обратил внимания на его советы. Теперь он начинал понимать, что Мохан был прав.

Когда мальчик пыхтел и задыхался, другие кули ободряюще восклицали: «Шабаш, шабаш!» А когда они находили, что гора слишком крута и он перенапрягается, они тянули и толкали так, чтобы облегчить ему подъем. Они были добры к нему.

Рикша миновала военные бараки, где была расквартирована гвардия вице-короля, и продолжала подниматься к железнодорожным строениям, а затем к Главной аллее и почте. Отсюда стало легче, так как дорога стала более пологой. Когда экипаж поравнялся с почтой, где верхний, Английский базар ответвляется от нижнего, Индусского базара, Муну даже поздравил себя с этой новой работой.

Ему всегда нравились изысканные английские магазины, а тут он увидел себя и рикшу отраженными в самых разнообразных витринах, где красовались товары, удовлетворяющие самым требовательным европейским вкусам.

Когда миссис Мейнуоринг разок пронесли по Главной аллее, так что каждый мог ее ви-

деть, она приказала кули везти себя к ресторану Давико, куда пригласила миссис Стюарт пить чай.

Кули отвели фикшу на стоянку против Христианской ассоциации молодых женщин и стали ждать, когда их опять позовут.

Муну очень хотелось посмотреть, как англичане ведут себя в своей среде, и он заглядывал в залу роскошного ресторана, где конфеты лежали в огромных стеклянных клетках и тесно стояли бамбуковые столики и стулья.

— О! посмотри-ка, мамуся, вон наш кули! — воскликнула Цирдея именно в ту минуту, когда ее мать знакомилась с изысканным обществом.

Кое-кто из кули, сев в кружок, курили кальян, другие лежали на самом краю шоссе, третьи — на жестяной крыше навеса; вид этих грубых, грязных, голоногих существ был истине испытанием для долготерпенья лэди и джентльменов, пивших чай у Давико. Но самим кули, за исключением такого новичка, как Муну, на это было в высокой степени наплевать, и они отнюдь не собирались менять своих поз — затихшие, обессиленные, оцепеневшие, опустошенные, словно мертвые.

Когда Муну вернулся после первого дня работы с фикшей, у него была лихорадка.

На обратном пути его ноги подкашивались от усталости. Добравшись до своей комнатухи, он свалился. Все тело ныло. Он вытянулся, но легче не стало. Руки его сводило, ноги дрожали. Мальчика охватило глубокое бессилие. А кровь кипела, как кипяток.

Он сел в кухне перед огнем и старался уве-

рять себя, что просто немного устал, но голову ломило и тянуло *лечь*.

Тогда он свернулся калачиком, чтобы пламя как можно больше грело, так как его начинало знобить.

Ала Дад, вернувшись с базара, чуть не упал, наткнувшись в темноте на тело Муну. — Кто тут? — спросил он. И, вместо ответа, услышал тихие стоны и вздохи мальчика. Он понял, что Муну в бреду, и побежал сообщить миссис Мейнуоринг о случившемся.

Миссис Мейнуоринг очень растроужилась. Она была матерью и почувствовала к этому мальчику то же, что и к Ральфу, когда тот болел. Она приказала перенести его наверх и положить на кровать, где спала бэби, хотя Муну и протестовал: ведь он только слуга и не может спать наверху. Она вызвала врача — самого майора Марчанта, санитарного инспектора Симлы, жившего близ Аннандала.

Майор Марчант приехал, смерил Муну температуру, прописал аспирин и, со словами: «Ты скоро поправишься» — покинул его, чтобы удовлетворить свое любопытство в отношении миссис Мейнуоринг. В этой смуглой даме, уложившей слугу в своих комнатах, ему чудилось что-то странное.

Марчант был молодой крещеный индус. Как большинство обращенных в христианство индусов, он был по происхождению бедняк, сын чеботаря. Английские миссионеры его воспитали и дали ему образование. Во время этой его авантюры под эгидой патеров ему втайне льстило общение с англичанами. Когда он переехал в Англию и уже встречался с ними как равный, он и себя начал считать анг-

личанином, чему весьма способствовали усвоенный им безупречный выговор, хористка, на которой он женился, и быстрое приспособление к европейским условиям, давшееся ему, впрочем, без труда. Он переименовал свое имя Мочи (чеботарь) на Марчант. Вычеркнув из своей памяти мальчика, принадлежавшего к низшей касте, каким он был, когда попал в руки миссионеров, он помнил только о преуспевающем молодом чиновнике, которым стал. Единственной данью за это возвышение от пария до имперского чиновника было то, что он регулярно выплачивал половину жалованья жене, которая предпочла остаться в Англии. Так как он жил ребенком в большой бедности, то лишиться этих семисот рупий в месяц было для него жестоким огорчением. Он был скуп и мало тратил; его положение санитарного инспектора Симлы давало ему возможность широко пользоваться чужим гостеприимством. Но, помимо этих сожалений о деньгах, которые вечно грызли его, вызывая в нем желание развестись со своей хористкой и толкая в объятия чужих жен, он был в высшей степени доволен собой. Он заметил, что цвет кожи миссис Мейнуоринг скорее приближается к его или, вернее, к тому, какой он желал бы иметь — та особая дымчатая смуглость, которую можно, растирая щеки полотенцем, довести до румянца. Мэмсахиб, вероятно, евразийка, решил он; а он знал, что крещеному индусу легче найти точки соприкосновения с евразийцами, чем с туземцами или с чистокровными англичанами.

— Что это за мальчик, миссис Менинг? — спросил он, входя в гостиную.

— Слуга, я подобрала его в Бомбее, — ответила она и продолжала: — Между прочим, моя фамилия — Мейнуоринг, миссис Мейнуоринг.

— О, простите, ваш повар сказал Майна или что-то в этом роде, ну я и решил, что Менинг.

— Нет, Мейнуоринг, — повторила она. — Трудно произнести, не правда ли?

— Да, но я рад, что вы не капризная. В англо-индийской колонии Симлы есть такие, что, знаете, дальше итти некуда.

— Верно, — сказала миссис Мейнуоринг, хотя ей не хотелось критиковать эту колонию, членом которой она мечтала стать.

Майор Марчант тоже не был склонен отделять себя от английской колонии, он просто старался завязать разговор.

— А вы давно здесь, миссис Мейнуоринг? — спросил Марчант.

— О, я была «дома» и приехала сюда всего несколько дней назад.

— Вот как, — заметил Марчант.

— Садитесь, доктор, не хотите ли виски? — предложила миссис Мейнуоринг, заметив восхищение в глазах майора.

— Благодарю, — отозвался тот и сейчас же уселся. — Расскажите же, как там все, «дома»?

И они поболтали об Англии, пока не настало время для миссис Мейнуоринг итти вниз обедать со Стюартами. Но Марчанту и Мей надо было сказать друг другу гораздо больше, чем можно сказать в четверть часа. Поэтому миссис Мейнуоринг пригласила доктора на другой день пить чай, под тем предлогом, что хочет посоветоваться с ним относительно собственного здоровья, и майор Марчант, разумеется, поспешил принять приглашение.

Тем временем Муну лежал в соседней комнате, радуясь, что будет шочевать здесь, хотя кровь лихорадочно стучала ему в виски.

Но когда дрожь усталости поползла по его ногам, когда тело покрылось липким потом и он стал тревожно метаться в постели, призывая свою мать, эта радость поблекла.

Вернувшись после обеда, миссис Мейнуоринг вытерла ему лицо одеколоном, погладила по голове. Она даже сделала ему массаж. Словом — была очень добра к нему.

Когда лихорадка Муну вышла из него потом и он оправился, ему снова пришлось вернуться к своему положению слуги и кули-рикши. Он безропотно подчинился, так как в нем все еще жило привитое с детства и пустившее глубокие корни чувство своей неполноценности в сравнении с этой высшей породой людей, живших в бунгало и носивших платье ангрези.

Изо дня в день неукоснительно исполнял он свои обязанности слуги при миссис Мейнуоринг, которой, наконец, удалось войти в тот круг общества, где люди вели беспечную жизнь, полную развлечений.

Муну не только убирал и подметал бунгало и бегал по поручению мэмсахиб и повара — он возил рикшу вместе с тремя другими кули, когда его госпожа делала покупки или выезжала на ежедневную прогулку.

Ибо миссис Мейнуоринг теперь убедилась, что Индия — настоящий рай для белой женщины. Недаром потрудилась она в Англии над тем, чтобы отбелить свою кожу.

Свободного времени у нее здесь было пропасть, так как Индия — единственная страна в мире, где слуги еще оставались слугами, и

можно было все утро бездельничать, а вторую половину дня — дремать в успокоительной уверенности, что повар и «бой» сами позаботятся о завтраке, лэнче, чае и обеде.

Да, Индия — это единственная страна в мире, где еще можно было, переодевшись, бросить на полу кучу снятых вещей, зная, что слуги все приберут, зачинят каждую дырку и мастерски поднимут спустившиеся на чулке петли!

Здесь можно было нанять пони для утренней прогулки в Аннандал, и это обходилось меньше шиллинга.

Здесь можно было нанять рикшу за четыре пенса в час.

Яйца стоили здесь шесть пенсов дюжина.

Прачки превосходно стирали по фартингу за штуку.

В больших магазинах можно было купить последние модели белья и платьев.

Здесь имелись шикарные рестораны, танцевальные залы, ночные клубы и кино, получавшие последние новинки из Холливуда раньше Лондона.

И можно было быть членом двух-трех клубов, пить бесконечные коктейли на чужой счет и курить папиросы дюжинами, так как в Индии нет пошлины на табак и коробка лучших папирос стоила всего рупию.

Здесь можно было найти все предметы роскоши и приманки Запада, но по невероятным сниженным ценам Востока, так что даже Голдерс-Грин и Иллинг жили здесь жизнью Мейфэр и Пикадилли¹.

¹ Улицы и кварталы Лондона, представляющие различные социальные слои населения.

Не удивительно поэтому, что строители государства, проживавшие на покое в Бейсуотере и Найтсбридже, взирая на то, что делалось «дома», покачивали головами, недовольные экономией, которую наводила «бедная старая Англия», и вздыхали о «мясных горшках» Индии.

Правда, миссис Мейнуоринг не могла пользоваться всеми удовольствиями этой жизни. Ей снова напомнили об ее «кельтской смуглости», не приняв в клуб «Юнион-Джэк». Да и сплетничали на ее счет, повидимому, немало. Но, хотя она чувствовала себя весьма неуверенно и вследствие этого была настроена воинственно, она продолжала выезжать, падкая на любые развлечения и стремясь насладиться ими до того, как англо-индийское общество решит — исключить ли ее из своих рядов окончательно, или принять. И право же, ей было очень весело.

Тем временем свыкся с этой жизнью и Муну, и она даже стала нравиться ему.

Он бывал очень доволен, когда мэмсахиб приказывала везти рикшу медленнее; они проезжали мимо лавок, и она не могла отвести глаз от ярких бенаресских шелков, от удивительных ожерелий у Кьюрио, от серебра братьев Перкинсов; он тоже рассматривал витрины с восхищением.

Остальные кули, казалось, были равнодушны, и Муну раздражало отсутствие интереса к тому, в чем, по его мнению, отражалось величие Европы.

— Бой, пойдн сюда и возьми вот это, — раздавался голос его госпожи. И Муну бросался за покупками в аптеку, с удовольствием

касаясь нарядных флаконов, гордый тем, что именно ему, а не другим кули доверила хозяйка эти хрупкие предметы.

Затем он уверенно и весело принимался подталкивать рикшу, в своем увлечении даже подбивая остальных кули состязаться с другими рикшами. Под влиянием той же легкомысленной радости он затягивал вместе с товарищами песнь горцев, своим ритмом словно окрылявшую его тело и возносившую его сердце на вершину веселья.

Но когда он вечером возвращался с таких прогулок, ему становилось грустно и одиноко: спина, казалось, одеревянела, он не мог ни сесть, ни встать — и самое странное было то, что когда он сплевывал, плевки за последнее время были багряными.

Он старался не раздумывать над этим и принимался вместе с Ала Дадом накрывать на стол и подавать обед. За последнее время майор Марчант обедал у миссис Мейнуоринг каждый день.

А когда сам сахиб Мейнуоринг приехал в отпуск на неделю с северо-западной границы, эта неделя прошла для Муну особенно приятно.

Сахиб понравился ему, он казался «совсем молоденьким»: такое впечатление произвел он на Муну — рослый, светловолосый, голубоглазый капитан Мейнуоринг, приветливый и скромный, постоянно улыбающийся. Все встречи Муну с англичанами оставляли до сих пор впечатление не в их пользу; эти люди представлялись ему страшными существами с вечной кислой гримасой на лице. Но сахиб Мейнуоринг был хороший. Почему не все сахибы такие? И разве Муну не готов на все ради

этого сахиба? Не только потому, что сахиб Мейнуоринг велел Ала Даду дать ему половину одной из трех громадных дынь, привезенных им из Пешавара, а потому, что сахиб был добр. Муну готов был промчать рикшу вокруг всего города, если бы в ней сидел хозяин, но тот никогда не ездил в рикше, а всегда шел рядом, когда в ней сидела мэмсахиб. Все же Муну попытался показать свою благодарность сахибу, с величайшим рвением исполняя свои обязанности. Впрочем, сахиб пробыл всего неделю. В последние три дня перед отъездом лицо у сахиба так осунулось и стало таким грустным, что Муну никак не мог угадать — заметил хозяин, как маленький слуга старается угодить ему, или нет. Но на вокзале сахиб дал ему пять рупий, и тогда Муну понял, что тот им доволен.

После сахиба Мейнуоринг майор Марчант показался мальчику мелким и ничтожным. Обедая каждый день у мэмсахиб, он ни разу не принес ей хотя бы фруктов, не говоря уже о том, чтобы дать какую-нибудь мелочь Ала Даду или ему. Этот сахиб, видимо, страшно жадный. Муну начал весьма недолго любить его, особенно за то, что он всякий раз выгонял его из холла, когда Муну играл с маленькой мисс сахиб. И он же уговорил мэмсахиб отдать девочку в закрытую школу. Помимо того, майор сахиб всегда изобретал для слуг какие-то особенно трудные дела. А однажды, в воскресенье, задумал устроить на рикше выезд в Машобру. Правда, Муну самому хотелось посмотреть Машобру, но туда было десять миль, а ему предстояло быть пятым кули, а то и четвертым.

Все же, когда настало воскресенье, Муну оживленно принял участие в приготовлениях к путешествию. Выехали ранним утром, пока было еще прохладно. Когда выяснилось, что мэмсахиб наняла четырех кули, а он должен служить в качестве резерва, Муну почувствовал себя легко и радостно, словно уезжал в отпуск.

И действительно, мимо рикши проплывали разнообразнейшие виды: церковь Христа, Лаккар-базар, где продавались исключительно гималайские трости и деревянные игрушки; Сноудон — резиденция командующего войсками, сиротская школа, Санджаули-базар, где ювелиры изготавливают серебряные кольца, целующие губы горянок; затем рикша въехала в длинный туннель, где колокольчики мулов позванивали на голубых стеклянных ожерельях, а выдолбленные в стене стойла рождали призрачную музыку странного эха, проехала строящуюся плотину, густую рощу хвойных деревьев, в тени которой проходила «витая» дорога в Налдеру, поле для гольфа вице-короля и, наконец, достигла горячих ключей Бхуджи на берегах Сэтледж. Вдали простирался Тибет.

Когда Муну охватил свежий горный воздух, ему показалось, что его тело погрузилось в прохладную воду, и он без труда шел вместе с другими кули, вдыхая аромат свежей смолы.

Так как майору непременно хотелось ехать рысью на своей голенастой лошади, то бежать пришлось и кули, и когда они прибыли в Машобру, Муну задыхался больше других. Но мэмсахиб была настолько увлечена разговором с майором, что медлила вылезть из рикши, даже когда они уже прибыли к месту назначе-

ния. Затем Муну пришлось прислуживать сахибу и мэмсахиб за столом.

Когда кули получили разрешение отдыхать на остановке для рикшей, пока они снова не понадобятся, сердце Муну упало. Однако он молчаливо подчинился, делая жестокие усилия, чтобы скрыть свое уныние и досаду, утешая себя мыслью, что он все-таки личный слуга мэмсахиб и находится, сравнительно с остальными кули, в привилегированном положении. Как бы в подтверждение, он получил дымящую ножку, белого хлеба и другие остатки от обеда.

Он поел возле водокачки, а затем направился к стойке для рикш, чтобы ждать сахиба и мэмсахиб.

Его приход был встречен насмешками.

— Твоя мэмсахиб вовсе и не мэмсахиб, — заявил один из кули. — Ни одна мэм и ни один сахиб в Симле за нее пайсы не дадут.

— Это меня не касается, — ответил Муну. — А вы это говорите только потому, что она не вылезала всю дорогу из рикши.

— Нет, ради твоего блага говорим, — сказал старший кули.

— Тебе надо бросить службу у нее. Ведь ты и прислуживаешь ей и работаешь рикшей.

Муну промолчал.

— А почему бы ему не стать настоящим рикшей? — спросил один. — Тогда ему незачем комнаты мести.

— Потому что он умирает от чахотки, — сказал Мохан. — Посмотрите, какой он бледный и как у него глаза ввалились!

— А ну-ка, покажи мне свой пульс, Муну, — сказал третий кули, смеясь.

Муну кашлял всю ночь и мешал спать Ала Даду.

— Это я в Машобре накурился проклятого бири, — говорил он виновато в ответ на брань старика.

Однако на другой день, когда Муну, вычистив зубы, прополоскал горло, он выплюнул сгусток крови. Поспешно засыпал он плевков золой, чтобы скрыть кровь и от Ала Дада и от самого себя. Но как ни старался он забыть об этом за работой, он был напуган и угнетен мрачным облаком, вызванным в его душе этим первым кровохарканьем. «Неужели я правда умираю, как сказал Мохан?» — думал Муну. Он не знал, что такое чахотка, но боль в груди, которую он чувствовал давно, и эта кровь могли быть признаками болезни. «Да, конечно, — вдруг подтвердило его сознание. — Нет, это просто горло раздражено курением», — не соглашалась его воля. Хотя за последние три года он не раз желал умереть, все же сейчас, когда возможность смерти встала перед ним совершенно реально, грозя остановить его дыхание, он вовсе не хотел умирать. Он решил написать Ратану и посоветоваться с ним. Его наполнило мучительное ощущение одиночества, он готов был схватиться за самую призрачную надежду. Написать старому другу, которого он давно считал мертвым, — какой в этом смысл? Но если Ратан действительно погиб, то пусть умрет и он, а если борец жив, так уж наверное придумает, как ему помочь.

Мэмсахиб, которая была в это утро чрезвы-

чайно оживлена (повар уверял — потому, что она собиралась на бал вице-короля), послала Муну с поручениями к своим портным, к китайцу Хо Вангу, сапожнику, и к майору Марчанту. Мальчик воспользовался этим и, зайдя по пути в маленькое почтовое отделение против вокзала, написал Ратану открытку, рассказал вкратце, как попал в Симлу на службу к мэмсахиб, как он одинок и как ему хотелось бы, чтобы Ратан приехал к нему в горы, а если это невозможно, то он сам вернется в Бомбей.

Майор Марчант, в свою очередь, послал Муну с письмом к мистеру Дасу, чиновнику из департамента иностранных дел и политики.

Когда мальчик прибежал в департамент, за три мили от санитарного управления, ему сказали, что мистер Дас ушел домой в Тара Деви обедать.

Муну пришлось протопать еще две мили. Он, наконец, поймал сахиба за столом.

— Скажите пожалуйста! — возмутилась его жена. — Этот саркар даже поесть не даст покойно!

— О, это не саркар, — сказал бабу, — все эти пролазы! У меня сегодня утром двенадцать человек просили достать им билеты на бал вице-короля. Тринадцатый — майор Марчант, санитарный инспектор, он просит два билета — для себя и для этой евразийки, которую повсюду таскает за собой. Но он лечил нашего ребенка, и я думаю, что ему-то придется оказать эту услугу. Хорошо, мальчик. Мои саламы сахибу.

Начинался период дождей, и Муну шел обратно под тяжелыми тучами, собравшимися

над высокими хребтами Симлы. Когда ему осталось ярдов сто до бунгало и он остановился, чтобы полюбоваться пастбищами вокруг Аннандала, забормотал гром, и небо над его головой грозно почернело. Не успел он войти на веранду бунгало, как тучи прорвались ливнем.

Дождь продолжался несколько часов, то и дело гремел гром, рождая между высоких гор гулкое эхо, и сверкали молнии, зажигая волшебным блеском капли влаги, висевшие на густой растительности.

Затем легкий бриз угнал тучи к равнинам, где разлившаяся Сэтледж сияла как серебряное море.

Эта погода продолжалась с перерывами три дня. И в эти облачные дни Муну испытывал все растущую физическую усталость, оживляясь только, когда мэмсахиб посылала его к портному или сапожнику.

Однажды вечером Муну отправился в поселок кули, чтобы поискать утешения у Мохана.

Поселок представлял собой кучу деревянных хибарок, за Нижним базаром, по дороге к шоссе. Между ними тянулась грязная речушка, видимо служившая стоком для базаров.

Муну не знал, в какой хибарке живет Мохан, ибо в каждой кули сидели вокруг кальяна, среди мрака, едва освещенного коптящими фитилями глиняных светильников. Войдя наугад в одну из хижин, Муну смутился; здесь кули в большинстве были горцы — из горных областей Симлы и Кангры.

В другой хижине кучка кули пела песни горцев под аккомпанемент «дхолки», и его потянуло к ним. Но когда он вошел, то чуть не

задохнулся от дыма очага, на котором кули жарили сладкие оладьи. Клубы дыма стояли над головами кули, точно свисавшие с потолка змеи и пифоны. Дым попал Муну в легкие; однако, привлеченный музыкой, он не уходил, и только когда почувствовал боль в гортани, выбежал на воздух, кашляя и сжимая горло рукою.

Наконец он разыскал и Мохана, который ужинал в дверях маленькой веранды: в глубине хижины находилось еще человек двенадцать, они ели, разговаривали, кое-кто уже спал на полу.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — крикнули двое из них, знавшие Муну.

Мохан молча принес Муну джутовую цыновку и усадил его. Кули смотрели на Муну, и он чувствовал насмешку над тем, что он такой «молокосос».

— А почему у всех сегодня пекут сладкие оладьи? — спросил он Мохана.

— Ты, видно, забыл даже наши праздники у своей мэмсахиб? — сказал кули, не дав Мохану ответить. — Мы празднуем дожди.

— Не обращай на них внимания, — сказал Мохан. — Они приходят сюда год за годом, а не знают даже своих праздников, хотя и считают себя очень бывалыми. Они глупцы. Сбегаются сюда задолго до начала сезона, чтобы заполучить рикши понаряднее. Они не умеют ни читать, ни писать, и детей они тоже не могут родить — совсем обессилели, таская свои рикши в гору да под гору; вот им ничего и не осталось, как над другими смеяться.

— Ну, ладно, ты ученый, так нечего злиться на шутку, — сказал первый кули. — И, пожа-

луйста, завтра на восходе солнца подними меня, мне надо в Санджаули!

— Ладно, — отозвался Мохан и закурил бири.

— И не забудь раздобыть для меня денег у ростовщика, они нужны мне к свадьбе. — сказал кули задорно.

— Обязательно забуду, — отозвался Мохан. — Ростовщик сделает тебя своим рабом. И какой толк от твоей женитьбы, если ты так и будешь приходить сюда каждый год? У тебя сердце слабое, ты можешь в любую минуту упасть замертво.

— И потом, ты говоришь, — подхватил дружкой, — что из него вся сила вышла, так зачем ему жена?

Все засмеялись.

— А что же мне делать? — продолжал тот.

— Возвращайся на родину, друг, — сказал Мохан. — Вот мой совет тебе. Возвращайся и работай на земле.

— Моя земля заложена.

— Тогда пойдем вместе, прикончим помещика и получи обратно свою землю. Я ведь стараюсь объяснить вам, — продолжал Мохан, — что если вы работаете, так и долю должны иметь в продуктах вашего труда, вашего пота и крови.

— О, побереги свои глупости для других, — отозвался кули. — Я хочу одного: жить здесь, курить мой кальян, иной раз перекинуться в карты с приятелем и быть в силах после одной поездки сейчас же взяться за другую.

— Дураки вы, — рассердился Мохан. — Они же убьют вас! Невежественные рабы! Как мне это вбить вам в башку?

— Отлично, завтра же и начнем урок, — сказал кули шутливо, заворачиваясь с ног до головы в одеяло и делая вид, что засыпает.

— Я сейчас вернусь, — обратился Мохан к Муну и направился к выходу.

Муну вдруг почувствовал себя чужим в этой лачуге. С уходом Мохана словно свет погас — так сильна была молчаливая симпатия между Муну и его товарищем.

Кули, притворившийся спящим, поднял голову и сказал:

— Скажи-ка мне, учитель Мохан... — но Мохана не было.

— О, значит, он ушел все-таки, — сказал кули. — Очень чудной парень. Никак не поймешь его. Если он побывал в Виляете и такой ученый — зачем же он возит рикшу и живет среди нас?

— Он из хорошей семьи, — сказал старик-кули, кашляя над своим кальяном. — В детстве и юности он жил богато. А теперь он вроде как искупает грехи своего богатства. Он рассказывал мне, что чувствовал себя очень одиноким, оторванным, никак не мог сблизиться с людьми. Он хочет научиться быть человеком среди людей.

— Вон что, — заметил Муну, — как странно.

— Чудачок, — сказал кули, который опять улегся.

— Да, странный, — продолжал старик, — верно, чудачок, а то сидел бы давно в тюрьме. У полиции есть шпионы, и они ловят всякого, кто ведет такую работу, как Мохан. Он еще тебе не говорил о ней?

— Нет, — прошептал первый кули удивленно и испуганно.

— Ну так в один прекрасный день заговорит...

Но тут вернулся Мохан, он держал в руке маленький пакет.

— Вот, охе Муну, — сказал он, — здесь фрукты, поешь. Ничем особенным мы тебя угостить не можем. Тебе нужно есть много фруктов и выпивать каждый день два стакана молока. Ты очень худенький. А теперь тебе пора! Дождь как раз перестал. Да ляг пораньше!

Муну сказал «джай дэва» всем кули и поспешил прочь; он и боялся Мохана и чувствовал к нему благодарность. Идя домой, он обдумывал разговор между обоими кули. Он перенесся мыслью к тому вечеру в Бомбее, когда Ратан был уволен и к кули приходили поговорить три сахиба. Интересно, что Мохан такой же, как эти три сахиба. И Муну продолжал свой путь, словно укутанный теплом, которым согрел его Мохан.

В пятницу, в день бала, мэмсахиб словно заразила Муну бальной лихорадкой, и он весело суетился в лучах солнца, сменивших ливни, вдыхая аромат цветов, которым был полон прозрачный воздух, и слушая звон водопадов, падавших с горных склонов.

А когда, наконец, его госпожа после бесконечного одевания вышла из дома и села в рикшу, чтобы ехать в отель Сесиль и пообедать там перед балом, он почувствовал прилив гордости и радости, так как мэмсахиб простодушно спросила его, красива ли она, ущипнула его щеку и захихикала. когда он ответил: — Да, мэмсахиб, очень!

С новой силой повлек он рикшу, нетерпеливо ожидал в толпе других кули конца обеда и сушил одежду, промокшую от пота и липнувшую к телу. А когда он бежал мимо огней, мерцавших на горных склонах, путь от отеля Сесиль до резиденции вице-короля казался ему слишком коротким, так жаждал он быть в обществе мэмсахиб.

Сидя среди сотни других кули, смотревших, как шарядная и счастливая знать Симлы подъезжает в рикшах и входит в длинный тронный зал, двери которого были распахнуты настежь и отражали в своей блестящей поверхности огни громадных канделябров, стоявших по обе стороны портала, Муну дошел до небывалого возбуждения.

На всех мэмсахиб были легкие шелковые платья, которыми они сзади мели пол, меха и шарфы, едва прикрывавшие шеи и плечи от холода и от беззастенчивых взглядов кули.

Сахибы же, в длинных сюртуках с тугими белыми воротничками и в куртках с медалями, казались Муну перегруженными одеждой.

Некоторые оделись так, что он не мог понять, как они влезли в свое платье, настолько плотно прилегали к телу атласные бриджи и так высоки были воротники их коротких, расшитых золотом мундиров.

Время от времени подъезжали индусские махараджи во всем блеске покрытых драгоценными камнями праздничных одежд, и Муну завидовал их безукоризненно одетым сыновьям, входившим вместе с ними в танцевальный зал.

Появление нескольких капелланов вызвало смех среди кули, которые не могли себе представить, чтобы эти бородатые жрецы в длин-

ных балахонах тоже пожелали танцовать. Оркестр уже заиграл «Боже, храни короля», а гости все еще прибывали.

— Прямо представление — эти балы, — сказал один кули.

— Да, — заметил другой, — а каких денег стоят! Моему сахибу его алый плащ, бархатный жилет и атласные бриджи стоили две тысячи рупий!

— Моя мэмсахиб заплатила за свое платье триста рупий, — заявил Муну с гордостью.

— А сколько хлопот с доставанием билета, — добавил Мохан насмешливо.

— Тебе, видно, не нравится это представление, — заметил первый кули.

— Я думаю, не нравится, насмотрелся я на них, — отозвался Мохан.

— Удивительно, как эти люди могут находить удовольствие в том, чтобы тратить такие деньги только ради встречи с людьми, с которыми они на деле вовсе не хотят встречаться. Ведь у них кастовое деление еще строже, чем у нас. И женщина, муж которой получает пятьсот рупий, смотрит сверху вниз на ту, чей муж получает триста. У богатых нет любви. Они на самом деле не ищут общества людей. Эта церемония устраивается для того, чтобы тунда лат (хромой лорд), который правит нами, мог показать славу и пышность саркара. А затем они заявляют, что было замечательно, и пьют чай у Давико, а вы околеваете с голоду...

— Как ты можешь так говорить? Что ты знаешь про жизнь сахибов?

— Как я могу говорить? — отозвался Мохан. — Что я знаю про жизнь сахибов? Я знал слугу одной женщины, жены полковника

из гарнизона, она жила на холме. Светловолосая хорошенькая женщина лет двадцати пяти, а полковнику было уже все сорок пять. Она, видимо, вышла за него ради положения и денег; и этот слуга видел не раз, что когда полковник прикасался к ней, она так и отскакивала от него. Это был плотный мужчина средних лет с широким расплывшимся лицом, по-своему добрый, но ей он был отвратителен.

Ну, она была несчастлива с ним, и как только он утром уходил на службу, она напивалась. Придет в гостиную и смотрит, как Гхулам убирает; смотрит на него и смущает, так как надет у нее на голом теле только халат. И начинает задавать всякие вопросы: женат ли он, любит ли женщин и все в таком роде.

Он рассказал ей, что любит девушку из своей деревни, родители не хотят выдавать ее за него, но он надеется, что когда-нибудь вернется, отыщет ее и сойдется с ней. Однажды хозяйка приходит в холл очень пьяная, вдруг вцепляется в Гхулама и говорит: «Я лучше этой женщины, которую ты любил в своей деревне, и смотри, я белая женщина, я жена полковника. Я любила поэта и он любил меня, но я не вышла за него, так как у него было слишком мало денег. А теперь жалею. Но я хочу тебя».

«Мне все равно, что вы жена полковника, и кто бы вы еще там ни были, мэмсахиб, — говорит Гхулам, — мне вас очень жалко, но я не люблю вас». — И он оттолкнул ее.

Он боялся, что она может донести на него и его посадят в тюрьму, если он не будет с ней ласков. Но ему не хотелось. Он бросился вон из комнаты. А она побежала за ним,

крича: «О, не уходи, не уходи от меня, вернись».

Потом ему стало жалко ее, по-настоящему жалко, она понравилась ему, он и хотел бы сойтись с ней. Он возненавидел полковника за то, что тот сделал бедняжку несчастной. Но он все-таки убежал.

С тех пор Гхулам никогда не попадался на удочку этих людей и не верил, что они счастливы. А я побывал в Европе и знаю, что богатые ищут только возбуждения и удовольствий.

— И танцуют они чудно как-то, — сказал первый кули, поколебленный рассказом Мохана в своем восхищении перед сахибами и раджами. — Зачем они толкают женщин то туда, то сюда, а сами как каменные?

— Это все вроде фальшивой любовной игры, — сказал Мохан, — но теперь осталась одна игра, любви нет и в помине, танцы только горячат этих холодных людей, и они по углам целуются и обнимаются и готовятся выйти замуж или переспать вместе. Вам, простым людям, не нужно сначала потанцевать, чтобы лечь с женщиной. Вы лучше всех этих полковников, генералов и махараджей. Но вы все еще возите их в рикшах.

— Но ведь и ты возишь? Правда? — сказал кто-то из кули.

— Да, иначе я не имел бы возможности беседовать с такими людьми, как вы.

— Смотри! вот они гуляют парочками по саду, — сказал Муну.

— Да, но ты не очень-то рассматривай сад, а то увидишь то, что тебе не понравится.

— А мне все равно, что она делает, — наивно заметил Муну. — Я только ее слуга.

Он сел и стал слушать причудливые мелодии, которые играл оркестр вице-короля. Их томность раздражала его. Он чувствовал усталость и зевал. Мохан завернул его в свой плащ и сказал:

— У тебя совсем больной вид. Тебе следовало бы давно быть в постели.

— Нет, нет, — запротестовал Муну. — Я здоров. — Но тут скопившаяся в горле мокрота стала душить его и он закашлялся жестким, бесконечным кашлем, который, казалось, приводил его в отчаянье. Затем выплюнул кровь.

— Дуралей! Дуралей! — бранился Мохан. — Я уже в Машобре сказал тебе, что ты болен. У тебя, наверно, не первый раз кровь идет горлом.

Муну кивнул.

— Так отчего же ты не сказал своей мэм, что не можешь возить рикшу? Ты говорил ей, что кашляешь кровью?

Муну молчал.

Голос Мохана пробудил кули от их апатии, и они столпились вокруг мальчика.

Седой сержант, стоявший на часах у входа в подъезд вице-короля, заподозрил беспорядок.

Он промаршировал к ним четким шагом, раз-два, раз-два, не меняя позы, в какой стоял, и хмуро спросил:

— Кто идет?

— Тут мальчишка заболел, саркар, — пояснил один из кули.

— Уберите его, пока не пришел адъютант, — приказал он.

Мохан поспешно взвалил Муну себе на

плечи, бросил товарищам: — Вам теперь под гору, мы не нужны, — и понес мальчика домой.

Миссис Мейнуоринг была очень расстроена, когда, выйдя из бального зала с майором Марчантом, узнала, что мальчика отправили домой, так как у него кровь пошла горлом. Ее усилия подняться вверх по социальной лестнице не были особенно успешны, она была отгиснута в угол вместе с толпой индусов и только один англичанин, кавалерийский офицер, танцевал с ней. Поэтому она намеревалась увезти к себе майора и забыть о бале за бутылкой брэнди и за ужином, который заказала заранее. Но теперь она расстроилась.

По указанию санитарного инспектора Муну был увезен на следующий день в уединенное бунгало на склоне Чота Симла. Там было три комнаты, и в них жили еще два кули, больные туберкулезом. Приходил Мохан, ухаживал за ним.

Муну был предписан полный покой. После нового приступа кашля и еще одного кровохарканья он стал чувствовать себя хорошо. Его заботило только то, что он не может ни ходить, ни вставать и не выдерживает ни малейшего напряжения. Он проводил целый день на веранде, куда выносили его низкую койку, укутанный теплым одеялом.

В первые дни миссис Мейнуоринг навещала его, она приносила ему фрукты и цветы, и даже ходила за ним с лицемерной снисходительностью, стараясь ободрить упавшего духом мальчика такими фразами, как: «Ты по-

правишься! Никакой болезни у тебя нет! Ты просто утомился». — Она действительно была добра к нему и даже испытывала муки совести оттого, что злоупотребляла «бедняжкой». Но ей не разрешили быть доброй и ласковой.

Майор запретил ей ходить за Муну, грозя, что окажется вынужден изолировать и ее, если она будет продолжать ухаживать за слугой. И ей пришлось отстраниться.

Ее дружба с майором Марчантом всегда вызвала у Муну обиду. А когда у него началось кровохарканье и он понял, что ему грозит смерть, он даже одно время ненавидел ее. Но теперь, когда он лежал больной в постели, смутно волнуемый то страхом смерти, то надеждой на жизнь, что-то произошло с ним. Он стал кротким, покорным и снисходительным и к ней, и ко всем. Точно его душа, постепенно ослабевая, примирилась с теми унижениями, которых в расцвете своих сил не хотела признавать.

Странно кротким было теперь лицо его — заострившееся и бледное; глаза ввалились, окруженные глубокими темными тенями, он с трудом водил взглядом по далеким ущельям, и его тело, казалось, ощущает, как струится песок в часах времени.

Когда начиналось кровохарканье, он страшно пугался. Но когда сияло солнце и он дышал немного лучше, он становился задумчив и погружался в себя.

Он хотел поправиться. А если не только дыхание становилось ровнее, но пропадал и кашель, он мечтал окончательно выздороветь.

И он строил планы. Ратаң написал ему и звал вернуться в Бомбей, предлагая место в

профсоюзе, который был сейчас занят организацией борьбы с ростовщиками, старшими мастерами и заводскими стражниками. Муну охотно поехал бы. С тех пор как установилась теплая погода и мухи и москиты не так докучали, он начинал себя чувствовать сильнее с каждым днем и, мечтая об отъезде в Бомбей, он решил испытать свои силы в продолжительной прогулке.

Однако снова пошла кровь горлом, и не было никакой надежды встать с постели. Его терзали сомнения и страхи. Каждый, самый легкий, приступ кашля уже повергал его в безнадежность. Теперь он старался только об одном: чтобы не стало еще хуже.

Страдания не оставляли его, хотя стали менее острыми. Часы, когда светило солнце, были благословением.

Лицо доктора, посещавшего его еженедельно, обещало мало хорошего. И Муну угадывал это за величественной строгостью неизменно равнодушного майора Марчанта.

Казалось, ничто не существует, кроме его самого и памяти о его странствованиях. Радостью бывал только приход Мохана; друг садился на его кровать и брал его голову в свои руки.

А тут пошли дожди, и тучи грозно катились над ближними горами.

Но вот ненастье кончилось. Муну лежал и смотрел на ковры голубого шалфея и ячменя, ярусами поднимавшиеся перед ним. Он чувствовал порывы ветра и следил за тем, как распускаются почки его воспоминаний, бесвязных и странных, точно сновидения.

Мягкое трепетание полдня к вечеру превра-

щалось в бурю. Грудь Муну судорожно вздымалась.

Затем напряжение спадало. Несколько дней он чувствовал себя хорошо. «Видимо, я все-таки не умру», — говорил он себе.

Но вот снова разразилась ливень, и Муну стал сомневаться, встанет ли когда-нибудь. Он обессилел и лежал измученный, в глубокой апатии, не отводя от Мохана беспомощно-вопрошающих глаз, и прижимался к нему, словно одно прикосновение к телу друга уже могло спасти ему жизнь.

— Ничего, Муну, брат, ты славный мальчик, — успокаивал его Мохан.

Муну цеплялся за его руку и чувствовал, как горячая кровь в его жилах поднимается словно прилив и уходит к тем пределам, где он никогда еще не был до тех пор.

А на рассвете одной призрачной белой ночи Муну умер, — и прилив его жизни снова отступил в глубину.

СЛОВАРЬ ИНДИЙСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Алла́х-о-акба́р — Бог велик! — Восклицание мусульман.

Ангрéзи — искаженная форма слова «english» — английский.

Ангрéзи сарка́р — английское правительство.

Анна — см. *Рупия*.

Ба́бу. — На западе Индии, особенно в провинции Бенгал, это слово, присоединенное к имени, равнозначно английскому «сэр» или русскому «господин». Среди англичан слово «бабу» употребляется с оттенком пренебрежения для обозначения индийского интеллигента, а в более узком смысле относится к индийским клеркам, владеющим английским языком.

Бабуджи — то же, что «бабу»; частица «джи» приставляется к имени или прозвищу в знак уважения.

Банде матра́м — Да здравствует родина мать! — Лозунг и приветствие индийских националистов.

Ба́ра бабу — старший бабу.

Ба́ра са́хиб. — В некоторых частях Индии это слово служит для обозначения главы семьи, а также важных особ из англо-индийского бюрократического мира.

Ба́би — госпожа.

Бибиджи — то же, что «биби».

Ба́ри — индийская сигарета.

Брахмачáрия — буквально: «приближение к божеству»,
Человек праведной жизни.

Браман — член касты жрецов, высшей среди индийских каст. В настоящее время лишь меньшинство браманов является профессиональными служителями культа.

Вах Гуру — дословно: О боже! — Обычное восклицание сикхов (см. *Сикхи*).

Вилдэят — в данном случае — метрополия, Англия.

Гуляб джамán, рáсгулла — мучнистые сладости, густо пропитанные сиропом.

Гуру грант — священная книга сикхов.

Дал — похлебка или каша из бобов, а также и других стручковых.

Джай дэва—дословно: «Да здравствуют боги!» Восклицание, обычное между индусами.

Джоухáр — сопротивление врагу до конца, вплоть до самоуничтожения.

Дхоти — повязка вокруг бедер, состоит из куска ткани, охватывающей тело мужчины от пояса до колен, причем свободный конец, пропущенный между ног, закрепляется у пояса.

Ека, два — один, два.

Ёкка — повозка.

Иззат — честь, достоинство.

Иог — индийский отшельник, аскет; многие из них странствуют по Индии в качестве фокусников-защитителей.

Кáддар — хлопчатобумажная ткань, вытканная на ручном станке из пряжи кустарного производства. Индийские националисты считают ношение таких

материй одним из обязательных условий для проведения бойкота импортных английских текстильных изделий.

Кали май ки джай — Да здравствует мать Кали! — Кали—богиня, соединяющая в себе черты кровожадной воительницы и матери-земли.

Карá паршáд — сладкое кушанье из муки и сахара.

Киáтрий — член касты кшатриев (воинов), второй, после браманов, высшей индийской касты. В настоящее время она распалась на ряд кастовых подразделений.

Кулá — коническая шапка, вокруг которой повязывается чалма.

Лáла — в Северной Индии обычно приставка к имени клерка или купца, выражающая уважение. Употребляется и самостоятельно.

Ла хол валла! — восклицание индусских мусульман.

Ман, маунд — индийская мера веса, не одинаковая в различных частях Индии. Чаще всего равняется 40 кгр.

Махарадж, Махарáджа — дословно: великий царь; в обычном значении княжеский титул. Нередко слово махарадж, наряду со многими другими титулами, используется в разговоре как преувеличенный знак уважения к собеседнику.

Махáтма или Махáтмаджи — дословно: «великая душа», «святой». Так в Индии зовут Ганди.

Мэмсáхиб — так индийский слуга обычно именуется хозяйку дома—англичанку. В более широком смысле слово это не лишено иронии.

Миáн сáхиб — титул, присвоенный сыновьям мусульманских князей в Индии.

Охе — эй.

Пайса — см. *Рупия*.

Пард́а — дословно: «занавес», «полог». Под этим словом подразумевается сумма правил и обычаев затворничества, которые обязаны соблюдать жены индийских мусульман, а отчасти и индусов.

Патаны — собирательное название афганских племен, живущих как в Афганистане, так и в горах Северо-западной провинции Индии. В числе племен, среди которых английские власти вербуют полицейскую охрану для заводов, находятся и патаны.

Раджпут — дословно: «сын царя». Раджпуты Пенджаба — многочисленная сословно-кастовая группа, ведущая свое происхождение от касты кшатриев и считающая своей традиционной профессией военное дело. В настоящее время большинство раджпутов превратилось в нищих крестьян.

Рай бахадур — дословно: «царь-герой». Титул, жалуемый индийцам за заслуги перед английской колониальной властью.

Рам ре Рам — обычное между индусами взаимное приветствие; является также формой обращения к божеству.

Рупия — основная монетная единица в Индии, равняется примерно 64 копейкам. В рупии 16 анн, в анне 12 пайс.

Салям, хузур — приветствие, обращенное к высокопоставленной особе.

Сари — длинная полоса легкой ткани, составляющая главную часть наряда большинства индийских женщин. Сари окутывает тело и свободным концом закидывается на голову.

Саркар — слово персидского происхождения, равнозначно русскому «правительство».

Сати — средневековый обычай самосожжения жены

после смерти мужа. Был распространен среди женщин, принадлежащих к касте кшатриев.

Сахиб — в Индии слово сахиб означает примерно то же, что русское «господин».

Сет, сетжи — слово это приставляется к имени купца в знак уважения. Употребляется и самостоятельно.

Сикхи — национально-религиозная группа, насчитывающая около 4 млн. и живущая в провинции Пенджаб, на севере Индии.

Сир — мера веса, не одинаковая в различных частях Индии. Часто равна 1 кгр.

Тонга — крытая повозка.

Тханедар — начальник полицейского участка.

Хаким — врач, лекарь.

Хатам Тай — герой одной из арабских повестей, очень популярной на Ближнем и Среднем Востоке.

Чампак — вид магнолии.

Чанраси — посыльный.

Чарпай — индийская кровать из резного и раскрашенного дерева.

Шабаш — «молодцом!», «браво!»

Шанти — мир, спокойствие.

Шива джи ки джай! — Да здравствует Шива! — Шива — один из главных богов индийского пантеона.

Эблис — дьявол.

Н. М. Гольдберг

Редактор *Р. М. Гальперина*

Тираж 50 000

Подписано к печати 15 II 1941 г.

A35208. 13¹/₄ печатн. листов

15,57 авт. л. 47 232 зн. в п. л.

Цена в переплете 4 р.

Набрано на ф-ке юношеской книги

изд-ва ЦК ВЛКСМ

«Молодая гвардия».

Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46.

Отпечатано в Полиграфкомбинате

им. В. М. Молотова.

Москва, Ярославское шоссе, 99.

Зак. 5042.